

# ОБЪ УМОЗРѢНИИ И ОТНОШЕНИИ УМОЗРИТЕЛЬНАГО ПОЗНАНИЯ КЪ ОНЫТУ (теоретическому и практическому).

П. Линицкаю.

—



КІЕВЪ.

—  
Типографія Г. Т. Корзакъ-Новицкаго, на Михайловской ул. соб. л.  
1881.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	ст.
О законахъ мышленія . . . . .	1
Опытъ и умозрѣніе . . . . .	39
Логика и дialectika . . . . .	72
Познаніе и бытіе . . . . .	111
Свобода и необходимость . . . . .	159
Религія и нравственность . . . . .	227
Вместо заключенія . . . . .	291

# О ЗАКОНАХЪ МЫШЛЕНИЯ.

(Наука и религія Б. Чичерина. Москва 1879 г.).

—

Жалобы на отсутствіе критики у насъ давно уже сдѣлались общимъ мѣстомъ. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя признать критикою выраженіе личныхъ мнѣній по поводу какого-либо литературнаго или научнаго произведенія. О вкусахъ не спорятъ, а судить на основавіи личныхъ впечатлѣній не значитъ ли свой вкусъ выставлять въ значеніи нормы? И таково нынѣ господство личнаго элемента, что критика нерѣдко сводится на личности; взаимные укоры, запальчивыя выходки и даже брань составляютъ обычное явленіе. Иначе и быть не можетъ, колѣ скоро на первомъ планѣ ставится принадлежность къ той или иной партії,—интересъ не истины, а направленія. Впрочемъ нападки на личности всякихъ готовы осудить; для каждого совершенно ясно безъ дальнихъ разсужденій, что ничего подобнаго не должно быть въ дѣлѣ столь серьезному и важному какъ наука и литература. Но не для всѣхъ ясно, что выраженіе личныхъ мнѣній, хотя бы и безобидное, также показываетъ неумѣстную личную притязательность, колѣ скоро такія мнѣнія высказываются догматически,—такомъ не допускающимъ возраженій. Самоуверенность, съ какою иногда высказываются сужденія ни на чёмъ не основанныя, нерѣдко опирается единственно на томъ, что сужденія эти согласны съ общепринятыми, т. е.

Наука и религія.

1

распространенными въ обществѣ понятіями и взглядами, но при этомъ забываютъ, что мнѣнія общепринятые являются такими, главнымъ образомъ, потому, что усердно распространяются въ обществѣ посредствомъ популярныхъ сочиненій и журнальныхъ статей. Не въ общепринятыхъ мнѣніяхъ, а прежде всего въ природѣ нашего ума слѣдуетъ искать и находить тѣ руководственные начала, съ которыми и должно сообразоваться при обсужденіи вопросовъ научныхъ и литературныхъ. Начала эти давно найдены и определены наукой, но это еще не значитъ, что они для всѣхъ ясны и понятны; напротивъ, менѣе всего принимаютъ ихъ во вниманіе, и если слѣдуютъ имъ, то большою частію случайно и безсознательно.

Всякое дѣло требуетъ порядка и правильности въ его исполненіи. Даже низшія потребности не какънибудь удовлетворяются нами, но подчиняются известному порядку, который мы признаемъ наиболѣе для себя цѣлесообразнымъ, и удовлетворяются согласно съ этимъ порядкомъ. Въ этомъ и состоить такъ назыв. цивилизациѣ. Но правила, опредѣляющія порядокъ жизни, зависимы болѣе или менѣе отъ измѣнчивыхъ условій жизни, отъ прихотливыхъ требованій моды и вкуса. Если же необходимъ во всякомъ случаѣ известный порядокъ жизни, который бы регулировалъ удовлетвореніе низшихъ потребностей, то тѣмъ болѣе должны поддѣжать известнымъ правиламъ и согласоваться съ ними вышшія проявленія нашей природы. Но только на эти правила уже никакъ не должна простиаться власть случайныхъ измѣнчивыхъ требованій моды и вкуса; это потому, что такія правила даны въ самой природѣ человѣческаго духа, и стоитъ лишь уяснить себѣ эти правила, чтобы сознательно сообразоваться съ ними и по нимъ обсуждать произведенія мысли и слова. Только такое отношение къ себѣ и другимъ, основанное на познаніи правилъ, начертанныхъ въ нашей духовной природѣ, должно быть признано

имѣющимъ обязательную силу и необходимое для нась зна-  
ченіе.

Всегда люди дорожили правомъ разсуждать и обсу-  
ждать все, что только могло такъ или иначе ихъ интересо-  
вать. Потребность мыслить и обсуждать безспорно есть од-  
изъ высшихъ и драгоцѣнѣйшихъ преимуществъ человѣка. Потому и неудивительно, если во всѣ времена мы видимъ  
стремленіе устранить всякаго рода препятствія къ свобод-  
ному развитію и выраженію мыслительной силы. Но свобо-  
дное выраженіе мышленія легко можетъ выродиться въ  
анархію и произволъ, коль скоро недостаточно ясно созна-  
ются границы, опредѣленныя самою природою для человѣ-  
ческой мысли, и если не заботится о томъ, чтобы сообразо-  
вать свое мышленіе съ правилами, лежащими въ самой его  
природѣ. Тѣ, которые домогаются свободы мышленія, нерѣдко  
подъ свободою мысли разумѣютъ право во что бы то ни стало  
проводглашать извѣстную систему мнѣній. Между тѣмъ оче-  
видно, что первое и основное требованіе человѣческой мысли  
и вмѣстѣ существенное условіе свободного ея развитія есть  
стремленіе, любовь къ истинѣ. А отсюда вытекаетъ необхо-  
димость знать, при какихъ существенныхъ условіяхъ и въ ка-  
кой мѣрѣ достижимо для человѣческаго ума познаніе истины.

По всему этому нельзя кажется не признать не только  
важнымъ, но и своевременнымъ всякой опытъ изслѣдованія  
и разясненія вопросовъ, касающихся основныхъ понятій,  
законовъ и формъ духовной жизни. Такой именно опытъ  
мы имѣемъ въ книгѣ г. Чичерина: *Наука и ремесла*. Книга  
эта вполнѣ заслуживаетъ серьезнаго вниманія и по важ-  
ности предметовъ, о которыхъ въ ней трактуется, и по  
характеру и направленію излагаемыхъ въ ней воззрѣній.  
Нельзя не почувствовать глубокаго уваженія и призна-  
тельности къ автору за то особенное отношеніе его къ  
задуманному имъ дѣлу, которое представляетъ явленіе не  
совсѣмъ обычное въ наше время. Онъ смотритъ на свое со-  
чиненіе, какъ на исполненіе долга, и потому нельзя сомнѣ-

ваться въ томъ, что онъ имѣлъ въ виду лишь способствовать разъясненію истины. Это именно отношеніе автора къ своему труду и было для насть побужденіемъ высказать тѣ замѣчанія и размышленія, къ которымъ подаютъ по-водѣ представленные авторомъ въ его книгѣ взгляды и доказательства. Пусть эти замѣчанія послужатъ нѣкоторымъ пособіемъ къ достижению той цѣли, для которой трудился авторъ.

Въ первыхъ главахъ своей книги г. Чичеринъ доказываетъ, что невозможно вывести изъ опыта важнѣйшихъ коренныхъ понятій, составляющихъ необходимыя условія нашего познанія вещей, что слѣдовательно органомъ для приобрѣтенія такихъ понятій нужно признать умозрѣніе, которое онъ поэтому противополагаетъ опыту или наблюдѣнію. Но если умозрѣніе имѣть столь важное значеніе, то ясно, что требовалось выяснить, какъ понимать самое умозрѣніе, что должно разумѣть подъ умозрѣніемъ. Если говоря объ опыте, нерѣдко злоупотребляютъ понятіемъ опыта, слишкомъ расширяя это понятіе и усвояя опыту много такого, чего нельзя прямо вывести изъ опыта, то въ свою очередь и умозрѣніе также можетъ подвергаться различнымъ толкованіямъ; ибо и мистики и рационалисты ссылаются на умозрѣніе, но мистицизмъ и рационализмъ далеко не одно и тоже. Поэтому установить правильный взглядъ на умозрѣніе, по крайней мѣрѣ, не менѣе важно, какъ и определить границы опытного познанія. Противополагая умозрѣніе опыту, авторъ рассматриваетъ одно за другимъ умозрительныя понятія, доказывая относительно каждого изъ такихъ понятій, что оно не можетъ быть выведено изъ опыта, но при этомъ не показываетъ, какую связь между собою имѣютъ эти понятія и каково значеніе ихъ для нашего познанія. Тѣ, которые отрицали умозрѣніе, какъ напр. Локкъ и его послѣдователи, вообще эмпиріки, имѣли въ виду то крайнее мнѣніе, которымъ умозрѣніе признавалось совершенно самостоятельнымъ источникомъ познанія, имен-

но такимъ, изъ котораго мы заимствуемъ будтобы особаго рода знанія и о предметахъ совершенно недоступныхъ для опыта. Но отрицаю умозрѣніе въ смыслѣ самостоятельнаго источника знаній, доказывая, что мы имѣемъ одинъ только источникъ познанія,—опытъ, эмпирики въ тоже время не отрицали и не отрицаютъ того, что при этомъ разсудокъ нашъ или дѣятельность мышленія имѣетъ иѣкоторое самостоятельное значеніе, и только ограничиваютъ это значеніе мышленія тѣмъ, что посредствомъ мышленія мы образуемъ такъ или иначе матеріалъ, заимствуемый изъ опыта, даемъ ему опредѣленную форму, и чрезъ то получаемъ извѣстное знаніе, понятіе, сужденіе. Даже Кантъ, какъ извѣстно, утверждалъ, что наше познаніе ограничивается предѣлами опыта, не смотря на то, что именно онъ доказалъ съ наибольшою убѣдительностію существование въ нашемъ познаніи элементовъ независимыхъ отъ опыта. Если, какъ можно предполагать съ наибольшою вѣроятностію, познаніе наше условливается частію наблюденіемъ, частію мышленіемъ, то очевидно умозрительные понятія, перечисленные авторомъ, должны быть выведены изъ законовъ нашего мышленія; поэтому необходимо установить, по возможности, правильный взглядъ на эти законы, чтобы мы и попытаемся сдѣлать въ настоящей статьѣ<sup>1</sup>).

Что въ мірѣ физическомъ все совершаются по необходимымъ законамъ, и что человѣкъ, насколько онъ есть физическое существо, также не изъять отъ этихъ законовъ,—это общеизвѣстно и давно признано. Но сверхъ физическихъ, есть законы моральные,—это именно тѣ законы, о которыхъ еще въ древности выражались, что они начертаны въ духовной природѣ человѣка. Существенное различіе

1) Въ ънитѣ г. Чичерина посвящена особая глава (III-я) разсмотрѣнію законовъ мышленія, гдѣ онъ доказываетъ, что законы эти не могутъ быть выведены изъ опыта (противъ Милля), но онъ не разъясняетъ, какую связь имѣютъ съ этими законами тѣ понятія, относительно которыхъ онъ также доказываетъ ихъ сверхъопытное происхожденіе.

этихъ законовъ отъ законовъ физической природы состоить въ томъ, что мы можемъ нарушать ихъ, тогда какъ физические законы, знаемъ ли мы ихъ или не знаемъ, никогда не нарушаются. Сила физическихъ законовъ непреодолима; мы не можемъ себѣ представить такого случая въ природѣ, когда бы законъ физической, напр. законъ тяготѣнія, не дѣйствовалъ. Поэтому повиновеніе законамъ физической природы нимало не зависитъ отъ нашего познанія этихъ законовъ; и если мы ихъ изучаемъ, то не ради исполненія; и безъ того законы эти дѣйствуютъ въ насъ, ибо дѣйствіе ихъ непреодолимо. Не таковы законы нравственные. Осуществленіе этихъ законовъ не есть необходимое, ибо законы эти выражаютъ не то, чѣмъ мы являемся въ дѣйствительной жизни, но то, чѣмъ мы должны быть; законы моральные не необходимы, а только обязательны. Вотъ почему для исполненія этихъ законовъ важное значение имѣть и самое познаніе ихъ. Для выраженія этого отличительного характера моральныхъ законовъ ихъ называютъ обыкновенно нормативными законами, или правилами. Въ собственномъ смыслѣ моральными законами называются правила, имѣющія безусловно обязательную силу для насъ во всѣхъ безъ различія жизненныхъ положеніяхъ, при вскихъ обстоятельствахъ, и которыхъ повелѣваютъ такой, а не иной образъ дѣйствій; слѣдоват. моральные правила относятся къ практической нашей дѣятельности, а не къ умственной. Но и тѣ правила, которыхъ опредѣляютъ нашу умственную дѣятельность, имѣютъ то общее съ нравственными правилами въ собственномъ смыслѣ, что они также могутъ быть нарушаемы, и хотя нарушеніе этихъ правилъ не есть вина или преступленіе, какъ нарушеніе правилъ моральныхъ, а только заблужденіе, несовершенство, далеко менѣе заслуживающее порицанія, чѣмъ нарушеніе нравственного долга, тѣмъ не менѣе человѣкъ любящій истину не можетъ пренебрегать правилами, которыми должна управляться умственная дѣятельность. Въ самомъ дѣлѣ если трудъ ученаго, мыслителя неменѣе достоинъ похвалы и

одобренія, какъ и всякое дѣяніе человѣка, одушевленнаго любовью къ добру, т. е. можетъ быть обсуждаемъ и оцѣниваемъ съ точки зреінія моральной, то при такомъ обсужденії умственной дѣятельности берется во вниманіе не только согласіе цѣлей и мотивовъ означенной дѣятельности съ требованіями нравственными, но также согласіе ея съ требованіями науки, которое свидѣтельствовало бы о любви къ истинѣ, какъ отличительномъ характерѣ этой дѣятельности. Итакъ умственная дѣятельность имѣть собственно ей принадлежащіе законы, или нормативныя правила. Пренебреженіе ими конечно можетъ быть неумышленное, а потому болѣе или менѣе невинное, но оно можетъ быть и злонамѣренное,—съ цѣлью провести и отстоять во что бы то ни стало ложную идею.

---

I.

Основной законъ человѣческой мысли требуетъ, чтобы каждый предметъ мы мыслили и обсуждали именно какъ этотъ, а не какой либо иной. На первый взглядъ требование это представляется страннымъ по своей крайней простотѣ, слишкомъ очевидной для того, чтобы его высказывать. Скажутъ, что развѣ въ головѣ сумашедшаго можетъ возникнуть мысль, что этотъ предметъ есть не этотъ, а другой, что напр. человѣкъ не человѣкъ, а лошадь. Требование мыслить всякий предметъ какъ таковой до такой степени просто и очевидно, что всякий здравомыслящий человѣкъ, и незная даже о существованіи такого требования въ наукѣ, безъ сомнѣнія вполнѣ слѣдуетъ ему и не можетъ не слѣдовать, если бы даже хотѣлъ. Да и можно ли считать означенное требование закономъ мысли человѣческой? нужно кажется имѣть только глаза, чтобы не смѣшивать одиаь предметъ съ другими. На самомъ же дѣлѣ исполненіе указанного требованія далеко не такъ просто, какъ кажется. Невыдержанность основной мысли, отсутствіе единства въ

построеніи цѣлаго, смѣшевіе разнородныхъ представлений— эти недостатки, нерѣдко встрѣчающіеся въ литературныхъ и научныхъ произведеніяхъ, что иное означаютъ, какъ не нарушение описанного требования? А что требование это именно есть законъ мысли,—въ этомъ не трудно убѣдиться. Бываетъ напр., что при встрѣчѣ съ человѣкомъ, который былъ когда то близокъ намъ, но котораго мы давно уже потеряли изъ виду, съ трудомъ узнаемъ его, и когда узнаемъ, то не смотря ни на какія перемѣны, происшедшія съ нимъ, мы никако не сомнѣваемся, что это тотъ же самый человѣкъ, котораго мы никогда знали при иныхъ условіяхъ, въ иномъ положеніи и въ иномъ видѣ. Перемѣна не ограничивается наружными признаками, но простирается и на внутреннюю жизнь; убѣжденія и мнѣнія человѣка и самый характеръ его могутъ значительно измѣниться; онъ самъ сознается, что сдѣлался другимъ человѣкомъ, и при всемъ томъ мы не можемъ усомниться, что этотъ такъ измѣнившійся человѣкъ, не смотря ни на какія перемѣны, остается все тѣмъ же. И дѣйствительно для нашихъ глазъ, вообще для чувствъ, это другой человѣкъ, но для мысли онъ тотъ же. Скажутъ: все же мы можемъ уловить какія либо черты, напоминающія образъ того же человѣка, какимъ мы знали его прежде; сдѣловатъ признаніе человѣка тѣмъ же въ разные періоды его жизни, не смотря ни на какія перемѣны, происшедшія съ нимъ, имѣть практическое основаніе въ непосредственномъ чувственномъ наблюденіи. Но на какомъ основаніи мы думаемъ, что всякая вещь, всякий предметъ во все время своего существованія, слѣд. не только теперь и прежде, но и въ послѣдствіи, долженъ оставаться тѣмъ же при всѣхъ перемѣнахъ? Мы убѣждены, что есть граница измѣняемости вещей, что во всемъ необходимо должно быть нѣчто неизмѣнное. Мы не можемъ ни на минуту допустить мысли, чтобы нѣчто уничтожилось, и это единственно потому, что измѣненія, по нашему натуральному убѣжденію, не могутъ простираться на самое *существо* вещи, которое

всегда остается тѣмъ же. Такимъ образомъ законъ тождества, основной законъ мысли, неизбѣжно приводить наскъ къ понятію *сущности*, и насколько необходимо означеный законъ, настолько же необходимо для нашего ума и это понятіе; ибо въ понятіи сущности именно мы мыслимъ то равенство или тождество вещи, въ силу котораго она при всѣхъ возможныхъ перемѣнахъ остается этою, а не иною вещью.

Философія различно рѣшала вопросъ о сущности. Она различно опредѣляла сущность вещей въ зависимости отъ того, что понятіе сущности допускаетъ различные примѣненія и въ отношеніи къ объему этого понятія и относительно содержанія. Что касается объема, въ какомъ можетъ быть мыслимо понятіе сущности, то были такія философскія ученія (въ древности алеатская школа, въ новое время Спиноза), которые понятіе сущности, простирая на все существующее, вслѣдствіе этого, приходили къ тому выводу, что сущность всѣхъ вещей, всякаго бытія, должна быть одна. Въ самомъ дѣлѣ, понятіе сущности означаетъ равенство, тождество, слѣдоват. единство того, что мыслится посредствомъ этого понятія. Но въ дѣйствительности всѣ вещи имѣютъ между собою связь, единство; всѣ онѣ образуютъ единый міръ, слѣдоват. и сущность всего должна быть одна. Съ этой точки зренія все отдѣльное, частное не обладаетъ самостоятельнымъ бытіемъ; такое бытіе принадлежитъ лишь единой и всеобщей сущности; она только есть въ собственномъ смыслѣ самостоятельно существующее, т. е. *субстанція*.

Однакожъ, съ другой стороны, если и есть связь между всѣми вещами, то эта связь не такова, чтобы ею уничтожалась самобытность отдѣльныхъ вещей и существо, а потому необходимо признать, что каждая отдѣльная вещь, каждое отдѣльное существо обладаетъ самостоятельной сущностію (Аристотель). Можно и дальше идти въ этомъ направлениі:—такъ какъ каждая вещь дѣлами

и состоитъ изъ множества отдельныхъ частей, то можно утверждать, что самостоятельность существованія принадлежать въ собственномъ смыслѣ не сложному, а простѣйшимъ, недѣлимымъ частямъ сложнаго. Такимъ образомъ самостоятельность существованія оказывается признакомъ сущности не довольно опредѣлительнымъ, ибо самостоятельность существованія (субстанціальность) можно усвоить и цѣлому миру въ его совокупности, и каждой отдельной вещи, и наконецъ малѣйшимъ частямъ всего сложнаго. Поэтому, въ особенности когда субстанціальность усвоется не цѣлому, но главнымъ образомъ элементарнымъ простѣйшимъ частямъ цѣлаго,—важнѣйшее значеніе получаетъ опредѣленіе сущности не со стороны объема этого понятія, а по содержанію. Въ самомъ дѣлѣ, признавая сущностію всего элементарныя части, можно противоположнымъ образомъ понимать саму природу этихъ частей, а именно: сущность всего полагаютъ или въ материальныхъ частицахъ, или въ нематериальныхъ живыхъ и дѣятельныхъ силахъ (материализмъ и спиритуализмъ или идеализмъ).

Въ виду этихъ различныхъ решений вопроса о сущности надлежало изслѣдоватъ происхожденіе и значеніе этого понятія.

Локкъ первый изъ философовъ вполнѣ опредѣленно поставилъ вопросъ о происхожденіи идей и рѣшилъ, какъ известно, этотъ вопросъ такъ: всѣ первоначальныя, т. е. элементарныя идеи, изъ которыхъ образуется за тѣмъ множество другихъ сложныхъ идей, происходятъ изъ опыта, частію вышняго, частію внутренняго, т. е. получаются чрезъ наблюденіе. А такъ какъ всѣ идеи, которыя мы заимствуемъ изъ опыта, суть представлениія свойствъ, состояній и дѣйствій наблюдаемыхъ нами вещей, а также представлениія различныхъ формъ собственной нашей дѣятельности, то отсюда понятіе сущности, субстанціи, по Локку, не что иное, какъ пустыя слова, не имѣющія никакого реальнаго значенія. Понятія субстанціи, "сущности, хотя возникаютъ

въ нашемъ умѣ по поводу фактовъ данныхъ въ опытѣ, однажды ни малѣйшаго рѣшенія не даютъ о томъ, о чёмъ повидимому научаютъ насъ; напротивъ, не давая положительного знанія, понятія эти открываютъ лишь границу и проблѣмы нашего знанія, т. е. указываютъ на то, чего мы не знаемъ и знать не можемъ; ибо внутреннее устройство вещей, силы ихъ производящія,—вообще то, что можно назвать сущностю, для насъ непознаваемо. Если же нѣть реальнаго основанія въ опытѣ для подобныхъ понятій, каковы субстанція, сущность, причина и др., то оно должно заключаться очевидно въ нашемъ сознаніи. Дѣйствительно, по мнѣнію Юма, понятія эти означаютъ не что иное, какъ известный порядокъ и связь идей въ нашемъ умѣ. Но что такое идеи, или представленія, если рассматривать ихъ просто какъ факты нашего сознанія? Такъ какъ идеи всегда являются послѣдствіями ощущеній (ибо источникъ идей, по Локку, есть чувственное наблюденіе), а ощущеніе есть нечто иное, какъ перемѣна, происшедшая въ чувственномъ органѣ, которая затѣмъ передается посредствомъ первовъ мозгу, то ясно, что идеи вообще суть состоянія или дѣйствія телесной организаціи человѣка. Не слѣдуетъ ли поэтому признать, что и вообще свойства, дѣйствія, состоянія вещей производятся первоначальными свойствами ихъ матеріального состава, или иначе, что сущность всего заключается въ матеріи? Таковы дальнѣйшіе выводы, къ которымъ привела философія Локка. Ясно, такимъ образомъ, что хотя Локкъ и признавалъ невозможнымъ никакое положительное рѣшеніе вопроса о сущности, однако его собственная философія въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи привела къ такому рѣшенію означенаго вопроса, именно къ рѣшенію материалистическому.

Послѣ Локка Кантъ пришелъ къ тому же выводу относительно сущности вещей, именно, что сущность вещей для насъ непознаваема, но основаніе этого заключенія у Канта иное. По Канту опытное познаніе, единственно воз-

можное для нась, слагается изъ чувственного наблюдения, дающаго материалъ для познанія, и независимо отъ всякаго наблюдения данныхъ въ нашемъ духѣ необходимыхъ формъ мысли и созерцанія. Такъ какъ, поэтому, познаніе наше опредѣляется субъективными формами, которые даны въ нашемъ духѣ независимо отъ опыта, то отсюда мы познаемъ вещи не такъ, какъ онѣ сами по себѣ существуютъ, но какъ являются намъ въ зависимости отъ субъективныхъ формъ нашего познанія. Слѣдоват. по существу, какъ онѣ существуютъ въ себѣ; вещи для нась непознаваемы. Но если для нась вещи непознаваемы, то какимъ образомъ мы можемъ различать бытіе вещей въ себѣ отъ ихъ являемости? Что означаетъ это различіе? Когда мы различаемъ вещи въ себѣ отъ явлений, то очевидно различіе это сводится къ противоположности познанія и бытія, ибо ясно, что являемость вещей тоже, что познаваемость; вещи являются такъ или иначе въ зависимости отъ субъективныхъ формъ познанія, т. е. являемость ихъ опредѣляется познаніемъ и состоять въ томъ, какъ мы познаемъ вещи. Итакъ, сказать, что вещи, какъ онѣ существуютъ въ себѣ, для нась непознаваемы, это тоже что раздѣлять бытіе вещей отъ познанія. Познаніе, поэтому, не имѣть никакого отношенія къ бытію вещей. Но такое раздѣленіе познанія отъ бытія вещей ведетъ къ отрицанію самаго познанія, ибо познаніе настолько именно и есть познаніе, насколько предметомъ его служить бытіе вещей познаваемыхъ. Кантъ утверждаетъ, что познаются только явленія, а не самое бытіе вещей. Но самое явленіе что такое, какъ не обнаруженіе бытія вещей? Или вещи являются для нась и слѣдовательно познаваемы, или онѣ не познаваемы, и въ такомъ случаѣ не являются; словомъ являемость вещей нераздѣльна обѣ бытія вещей; колѣ скоро вещи являются, то именно такъ, какъ существуютъ, т. е. самое бытіе ихъ, или, что тоже, сущность неотдѣлима отъ явлений. Итакъ, хотя мы и противополагаемъ познаніе бытію вещей, но въ основаніи этой противоположно-

сти должно быть ихъ нераздѣльное единство (тождество мышленія и бытія). Въ противномъ случаѣ мы не могли бы и противополагать, если бы, т. е., не существовало никакой связи между ними. А отсюда ясно, какъ должно понимать являемость вещей. Являемость вещей, какъ мы сказали, тоже что познаваемость. Познаніе есть дѣятельность духа познающаго. Априорные формы познанія—это способы познающей дѣятельности; отсюда очевидно, что являемость, или что тоже, познаваемость вещей должно понимать какъ *процессъ, постепенно развивающійся*; бытіе вещей является,—это значитъ что оно раскрывается въ явленіяхъ, или осуществляется для насть по мѣрѣ того какъ познается (въ силу тождества мышленія и бытія). Бытіе и познаніе—это двѣ стороны одного и того же разума, который постепенно раскрывается въ природѣ и духѣ человѣческомъ, слѣдя тамъ и здѣсь опредѣленному закону своего развитія; а самый этотъ законъ развитія разума, или что тоже, постепенного раскрытия сущности въ явленіяхъ, состоять въ томъ, что явление и сущность, познаніе и бытіе, будучи въ себѣ тождественными, являются затѣмъ какъ *противоположности*, дабы снова прийти къ единству. Такое опредѣленіе закона развитія сама собою вытекаетъ изъ предыдущаго. Итакъ вотъ выводы, къ которымъ философія въ лицѣ Гегеля пришла послѣ Канта, исходя изъ основаній, положенныхъ самимъ Кантомъ. Здѣсь мы снова видимъ, какимъ образомъ отрицаніе возможности для насть познать сущность вещей перешло въ утвержденіе этой возможности и даже необходимости для насть такого познанія.

Наконецъ въ новѣйшее время позитивизмъ не менѣе рѣшительно исключаетъ изъ области философіи всякия попытки къ изъясненію сущности вещей. Извѣстно, что позитивизмъ также ограничиваетъ наше познаніе явленіями, утверждая, что первыя и конечныя причины вещей для насть непознаваемы, и потому задачу познанія полагаетъ въ классификациіи изучаемыхъ нами явленій и въ опредѣленіи законовъ

управляющихъ ими. Относительно классификаціи явлений Конть, основатель позитивизма, требуетъ, чтобы сначала были изучаемы и опредѣлены законы явлений простѣйшихъ и наиболѣе общихъ, каковыя явленія тѣль неорганическихъ, подлежащихъ механическимъ законамъ, и затѣмъ уже—переходить къ явленіямъ болѣе сложнымъ и частнымъ, каковыя явленія біологическія. Такое требование основывается на томъ предположеніи, что явленія сложныя и частныя зависмы отъ явлений простѣйшихъ и общихъ, и что слѣдовательно законы явлений простѣйшихъ явлений, каковы именемъ законы механическіе, должны быть приложими и къ изъясненію сложныхъ жизненныхъ явлений. Этимъ предположеніемъ очевидно отрицается коренное различіе между природою неорганическою и органическою,—между явленіями механическими и жизненными. И дѣйствительно Конть наукамъ біологическимъ, каковы физіология и содіология, даетъ общее название физики. Само собою отсюда слѣдуетъ далѣе, что и въ явленіяхъ человѣческой жизни дѣйствуютъ исключительно тѣ же физическія и химическія силы, которыми изъясняются явленія природы физической, что слѣдовательно духовная жизнь, со всѣми ея проявленіями, есть продуктъ взаимодѣйствія матеріальныхъ силъ и элементовъ. Такимъ образомъ позитивизмъ ведетъ неизбѣжно къ матеріализму, т. е. къ положительному решенію вопроса о сущности вещей въ смыслѣ матеріализма. Справедливо поэтому замѣчаніе одного писателя относительно позитивизма, что позитивизмъ начинаетъ сомнѣніемъ (ибо утверждается, что независимо отъ опыта ничего знать нельзя: факты природы и человѣческія дѣйствія—единственные предметы знанія; причины же существующаго, цѣль, бесконечное, вѣчное, необходимое—это темная область), но это сомнѣніе скоро переходитъ въ отрицаніе: независимо отъ данного въ опытѣ ничто не существуетъ,—и затѣмъ отрицаніе снова переходитъ въ утвержденіе: идеи разума о единстве, вѣчности, бесконечности, необходимости прилагаются къ единственному предмету

опыта,—къ материі: матерія вѣчна, міръ безконечень, законы необходимы; итакъ снова является метафизика.

Такимъ образомъ ни кантовскій критицизмъ, ни позитивизмъ не только не были въ состояніи оградить науку отъ всякихъ попытокъ къ изъясненію сущности вещей, напротивъ и тотъ и другой сами приводятъ къ неизбѣжнымъ заключеніямъ относительно сущности вещей. И это понятно. Понятие сущности есть необходимая форма нашей мысли, такъ какъ оно обусловливается основнымъ закономъ нашего мышленія, и потому въ самой природѣ нашего разума лежить неискоренимая потребность мыслить что либо подъ формою означенного понятія, т. е. потребность признавать нѣчто сущностію, даже тогда, когда мы стараемся убѣдить себя въ томъ, что сущность непознаваема.

## II.

Другой законъ мысли состоитъ въ томъ, что какъ сущность каждой вещи едина и неизмѣнно тождественна, то поэтому и истина, каковъ бы ни былъ предметъ ея, въ отношеніи къ этому предмету можетъ быть только одна. Поэтому утвержденіе и отрицаніе одного и того же никакъ не могутъ быть вмѣстѣ истинными; коль скоро истинно извѣстное утвержденіе, то отрицаніе того же не можетъ быть истиннымъ. Въ этомъ состоитъ сущность такъ называемаго закона *противорѣчія*. Но единство истины не исключаетъ однако разнообразія ея содержанія, ибо хотя сущность всякой вещи должна быть едина и нераздѣльна, но какъ при этомъ каждый предметъ можетъ быть рассматриваемъ нами съ различныхъ сторонъ и открывается для нашего познанія различнымъ образомъ, въ многоразличныхъ явленіяхъ, то и единство сущности очевидно не должно мыслить какъ единство математическое, но какъ такое реальное единство, которое не только не исключаетъ, напротивъ предполагаетъ множество и разнообразіе проявленій. На этомъ именно по-

ниті о сущности, какъ мы видѣли, Гегель основывалъ свою критику Кантовскаго ученія о непознаваемости для нась сущности вещей. Такъ какъ сущность есть единство, которое раскрывается и получаетъ свою реальность въ много-различныхъ проявленіяхъ, то отсюда, по Гегелю, не должно раздѣлать сущности отъ явленій, и потому если явленія до ступны нашему познанію, то и сущность должна быть по-знаваема, ибо сущность иначе и не существуетъ какъ въ явленіяхъ, постепенно раскрываясь въ нихъ какъ живая, развивающаяся сила или же какъ идея, приводящая къ единству разнообразное. Однакожъ въ свою очередь и Гегель впалъ въ ошибку, составляющую коренное заблужденіе его философіи, когда моментами развитія сущности въ явленіяхъ признавалъ *утвержденіе*, т. е. простое положеніе сущности, *отрицаніе*, т. е. переходъ сущности въ явленіе, причемъ сущность чрезъ этотъ переходъ какъ бы отрицаеть себя, и потомъ новое *утвержденіе*, т. е. возвращеніе сущности къ себѣ,—утвержденіе, достигаемое будто бы чрезъ уничтоженіе прежняго отрицательнаго момента. Эти три момента, по Гегелю, составляютъ схему развитія всей познаваемой дѣйствительности. А какъ утверждение и отрицаніе того же (по Гегелю сущность утверждаетъ и отрицаеть себя) составляютъ противорѣчие, то поэтому, вопреки общепринятой логической теории, Гегель призналъ противорѣчіе основнымъ закономъ бытія вещей. Гегель смѣшалъ противоположность съ противорѣчіемъ. Ибо если онъ представлялъ развитіе дѣйствительности такимъ образомъ, что сущность, переходя въ явленіе, дѣлается чрезъ то чѣмъ-то инымъ, слѣдовательно перестаетъ быть собою и какъ бы отрицаеть себя, и это для того, чтобы въ дальнѣйшей ступени снова придти въ себя,—то очевидно, по Гегелю, развитіе дѣйствительности обусловливается двойствомъ сущности и явленія, безконечнаго и конечнаго, абсолютной идеи и ея ограниченій;—но эта двойственность, какъ понималъ ее Гегель, не есть противорѣчіе, а только противоположность. Противоположность



не тоже, что противоречие. Противоположность есть наибольшая степень различия, а где различие, там должно быть и единство. Такъ контрасты, украшающіе и оживляющіе ораторскую рѣчь, всегда относятся къ одному предмету. Такъ коллизіи мотивовъ и дѣйствій въ драмѣ, диссонансы въ музыкѣ тогда имѣютъ смыслъ, когда разрѣжаются и примиряются въ единствѣ общей идеи. На этомъ же основывается и то, что крайности обыкновенно сходятся. Но где противоречие, тамъ не можетъ быть никакого примиренія и соглашенія, ибо ничего не можетъ быть средняго между противорѣчащими положеніями; между утвержденіемъ и отрицаніемъ, воль скоро то и другое относятся къ одному и тому же, не мыслимъ никакой выходъ и никакое разрѣшеніе; одно уничтожается другимъ. Конечно въ формѣ противорѣчія можетъ быть представлено противоположное, чтоб допускаетъ примиреніе, но это будетъ кажущееся, а не дѣйствительное противоречие.

Смѣщеніе противорѣчія съ противоположностію имѣть впрочемъ давнюю и поучительную исторію. Еще Аристотель, отецъ Логики, причислялъ противоречие къ противоположностямъ, и какъ всякая противоположность имѣть два крайніе члена, то соответственно тому и противорѣчие, по Аристотелю, состоить изъ двухъ противоположныхъ членовъ,—изъ *утвержденія*, въ которомъ высказывается *бытие*, и *отрицанія*, которое выражаетъ *небытие* (есть и не есть). Пріурочивая, такимъ образомъ, отрицаніе (какъ одинъ изъ членовъ противорѣчащей противоположности) къ формулируя прямо выражющей небытие (не есть), Аристотель поэтому всѣ иные отрицательныя выражения (т. е. имена и прилагательные съ отрицательною частицею—не добрый, не человѣкъ и под.) признавалъ утвердительными, т. е. выражающими дѣйствительно существующее, и соответственно тому въ самомъ бытіи различалъ положительныя и отрицательныя качества (присутствіе и отсутствіе или лишеніе). По этой причинѣ въ средніе вѣка много злоупотребляли отрицательными понятіями, придавая такимъ понятіямъ осо-

бенное, имъ принадлежащее реальное значение. Такъ напр. Фредегизъ, ученикъ Алкуина, въ своемъ сочиненіи *epistola de nihilo et tenebris* рассматриваетъ вопросъ: *ничто есть ли что либо дѣйствительное?* и решаетъ этотъ вопросъ такъ: „*каждое имя означаетъ нѣчто дѣйствительное, ибо всѣ имена вмѣстѣ съ вещами созданы Богомъ; никакой вещи онъ не создалъ, не давъ имени, и никакого имени безъ соответственной вещи. Ничто—общее имя, означающее то безразличное бытіе, изъ котораго образовались всѣ вещи*”, т. е. матерія, которую еще въ древности опредѣляли какъ не сущее. Затѣмъ въ школѣ Декарта отрицаніе отождествлялось съ ограничениемъ (*omnis determinatio est negatio*). Подобнымъ же образомъ, очевидно, понималъ отрицаніе Гегель—т. е. какъ ограниченіе безконечнаго. Такимъ образомъ неудивительно, что могло явиться воззрѣніе, по которому противорѣчіе есть законъ бытія.

Смѣщеніе противорѣчія съ противоположностію составляетъ обычное явленіе и въ философскихъ теорій, въ особенности въ сужденіяхъ о философскихъ ученіяхъ. Говорить, что трудно найти гдѣ либо столько противорѣчивыхъ положеній, какъ въ исторіи философскихъ системъ и ученій. Сколько системъ и ученій выработано и пережито до настоящаго времени, и всѣ онѣ представляются рѣшительно не согласными между собою; что одна система утверждаетъ, другая тоже самое отрицаетъ. Однѣ названія, существующія для характеристики различныхъ философскихъ ученій,—каковы: идеализмъ, материализмъ, реализмъ, догматизмъ, скептицизмъ, мистицизмъ и т. д. уже сами по себѣ показываютъ, какое разнообразіе существуетъ во взглядахъ на вопросы, которые изслѣдуются философіею, а также и въ решеніи этихъ вопросовъ. Философы не могутъ согласиться даже относительно того, какъ понимать самую философію, что разумѣть подъ именемъ философіи. Но разнообразіе и противорѣчія философскихъ ученій поражаютъ лишь на первый взглядъ; при болѣе внимательномъ изуче-

вій и разсмотрѣніи философскихъ ученій оказывается между ними такая связь, такое единство, что всѣ они могутъ быть сведены къ некоторымъ основнымъ положеніямъ, которыхъ лишь видоизмѣняются различнымъ образомъ, въ зависимости отъ условій времени, отъ тѣхъ или иныхъ интересовъ господствующихъ въ науки и жизни. Въ древности существовала философская школа, известная подъ названіемъ эклектизма, которая руководилась тою мыслію, что въ каждомъ философскомъ уче ніи есть известная доля истины, и что поэтому слѣдуетъ изъ различныхъ ученій избирать то, что представляется наиболѣе вѣроятнымъ и близкимъ къ истинѣ, вместо того, чтобы держаться одного какого-либо ученія. Направленіе это однакожъ возникло во времена упадка философіи и потому оно означало уже скучность и непроизводительность философского мышленія; ибо, заимствуя изъ различныхъ философскихъ ученій тѣ или иные взгляды, философы означенной школы не заботились о томъ, чтобы привести эти взгляды къ единству основныхъ принциповъ, довольствуясь лишь механическимъ сочетаніемъ различного рода ученій, а вместо критического анализа руководились въ одѣнкѣ ихъ субъективными, иногда произвольными усмотрѣніями. Но замѣчательно, что аналогичное означеному направленію явление мы видимъ и въ системахъ величайшихъ философовъ, которые были выразителями цѣлой эпохи философского развитія. Таковы напр. системы Аристотеля, Лейбница, Канта. Каждый изъ этихъ философовъ въ своей системѣ обнималъ и объединялъ всѣ бывшія дотолѣ развѣтвленія философской мысли. Но такое объединеніе различныхъ ученій является у означеныхъ философовъ послѣдствіемъ ихъ широкихъ многостороннихъ воззрѣній и потому происходило само собою, а не было нарочитою цѣлью, результатомъ усилий во чтобы то ни стало примирять и соглашать разнорѣчивые взгляды. Такимъ образомъ и въ эпохи процвѣтанія, и во времена упадка философіи существовала увѣренность въ томъ, что разногласіе философскихъ ученій не таково, что-

бы одно совершенно исключалось другимъ, что они нестолько противорѣчивы, сколько противоположны и потому, при некоторомъ ограничении каждого изъ нихъ, взаимнаго исправляютъ и пополняютъ другъ друга. Иначе и быть не можетъ, такъ какъ и задачи и средства философіи всегда были тѣ же. Во все времена философія занималась изслѣдованіемъ вопросовъ о познаніи и о сущности бытія познаваемаго (о природѣ вещей и человѣка), а единственнымъ средствомъ для философіи къ решенію означенныхъ вопросовъ всегда было и будетъ мышленіе. Ибо хотя бы мышленіе и признавалось недостаточнымъ для решенія философскихъ вопросовъ, хотя бы при этомъ признавалось единственнымъ источникомъ познанія наблюденіе, опытъ, однакоже и къ этому взгляду на познаніе мы можемъ придти только путемъ размышенія. Съ другой стороны, какъ бы ни были важны для познанія вещей наблюденіе и опытъ, но пока мы только наблюдаемъ и констатируемъ наблюдаемые факты, до тѣхъ поръ нѣть еще философіи — Вотъ почему съ отрицаніемъ самостоятельного значенія мышленія отрицается и самая философія. А какъ законы мышленія неизмѣнны, то поэтому ничего въ томъ удивительного нѣть, что въ разныхъ эпохи, самые отдаленные одна отъ другой, повторяются тѣ же взгляды, тѣ же въ сущности понятія, измѣняются только формы выраженія и примѣненія ихъ, подобно тому какъ и въ области собственно моральной всегда были тѣ же страсти, тѣ же желанія и стремленія, свойственные человѣческой природѣ<sup>1</sup>). Итакъ мы приходимъ теперь къ слѣдующему понятію о сущности. Хотя сущность сама въ себѣ должна быть

<sup>1</sup>) Такъ напр. Каро въ своей статьѣ: „Diderot inedit, d'apres tes manuscrits de l'ermitage“, (появленной въ послѣд. половинѣ октябрьской и первой половины ноябряской книжекъ извѣст. франц. журнала: Revue des deux mondes за прошлый годъ) указываетъ на совершившее сходство натуралистическихъ воззрѣй Дидро, которыхъ онъ называетъ поэтому пророческими, съ известными ученіемъ Дарвина о преобразованіи видовъ. См. въ особенности стр. 833—835. Въ истории философіи много можно находить подобныхъ аналогій гораздо болѣе неожиданныхъ и поразительныхъ.

тождественна и неизменна въ своихъ основныхъ чертахъ или свойствахъ, но при этомъ необходимо также допустить множество и разнообразіе ея проявлений. Ибо если мы находимъ истину, которая должна быть также едина и неизменна, въ различныхъ и даже противоположныхъ взглядахъ на тотъ же предметъ, то это возможно лишь потому, что единство сущности каждой вещи не есть безразличное и не подвижное. Сущность есть нечто такое, что не просто существуетъ, но развивается, или же по крайней мѣрѣ есть нечто дѣятельное, живое.

### III.

Если истина, подобно тому какъ и сущность вещи, должна быть едина, то понятно, что истина должна основываться на познаніи существа вещи. Отсюда третій законъ мышленія требуетъ, чтобы всѣ наши сужденія имѣли достаточное основаніе. Требованіе, чтобы всякое положеніе утверждалось на извѣстномъ основаніи, само по себѣ ясно и понятно. Но основаніе можетъ быть или ложнымъ, или недостаточнымъ; въ первомъ случаѣ положеніе, если и можетъ быть вѣрнымъ, остается недоказаннымъ, неоправданнымъ; въ послѣднемъ случаѣ оно не вполнѣ доказано. Для того, чтобы положеніе было вполнѣ твердымъ и непоколебимымъ, оно должно быть основано на познаніи самой сущности, и только такое обоснованіе вполнѣ достаточно. Это требуетъ разясненія.

Выше мы видѣли, что подъ сущностю мы всегда разумѣемъ нечто устойчивое, постоянное, остающееся неизменнымъ, при всѣхъ возможныхъ перемѣнахъ. Теперь само собою очевидно, что если за основаніе нашихъ сужденій мы беремъ что либо измѣнчивое, непостоянное, то и самыя сужденія будутъ неустойчивы. Дабы наши сужденія были вполнѣ основательны, или что тоже, выражали твердую, непоколебимую истину о данномъ предметѣ, для этого мы должны прежде всего рѣшить, въ чёмъ заключается суть

данного предмета. Тогда будетъ ясно,—что слѣдуетъ признать относительно этого предмета истиннымъ, и что надлежить отвергнуть, какъ ложное. Принимая за основаніе нашихъ сужденій о предметѣ его сущность, мы очевидно въ этомъ случаѣ уже мыслимъ сущность какъ причину по отношенію ко всѣмъ явленіямъ и свойствамъ этого предмета. И если, какъ сказано, сужденія наши о предметѣ по необходимости будутъ нетверды, коль скоро основаніемъ ихъ служить не самая сущность, то это должно понимать такъ, что наши сужденія не могутъ быть вполнѣ истинными, когда въ качествѣ основанія, вместо дѣйствительной причины, мы принимаемъ какое либо изъ обстоятельствъ или условій, сопровождающихъ ея дѣятельность, такъ какъ бы въ этомъ обстоятельствѣ, въ этомъ условіи заключалась подлинная сущность вещи. Смыщеніе условій данного явленія съ дѣйствительной причиной его сплошь и рядомъ встрѣчаются въ нашихъ сужденіяхъ.

Такъ какъ понятіе причины, что видно изъ предыдущаго, имѣетъ необходимую связь съ понятіемъ сущности, то, поэтому, отрицая познаваемость сущности, вместѣ съ тѣмъ признаютъ также недоступными для нашего познанія причины вещей. Такъ позитивизмъ признаетъ единственно возможнымъ предметомъ познанія не причины, а законы явленій, т. е. ихъ неизмѣнныя отношенія. Юмъ доказывалъ, что мы на самомъ дѣлѣ познаемъ не причинную связь явленій, а только простую ихъ послѣдовательность во времени. Понятіе причинности, по объясненію Юма, означаетъ такое, постоянно повторяющееся, отношеніе явленій, которое состоитъ въ томъ, что одно явленіе сопровождается другимъ, или одно всегда предшествуетъ другому. Но познаваемы ли причины или непознаваемы, и какъ бы мы ни разумѣли понятіе причинности, во всякомъ случаѣ то несомнѣнно, что понятіе причинности есть столь же необходимая, требующая примѣненія, форма мысли, какъ понятіе сущности, и потому отъ употребленія этого понятія мы никакъ не мо-

жемъ освободиться, хотя бы и хотѣли. И сами эмпирики, отрицающіе всякое дѣйствительное значеніе понятія причинности въ нашемъ познаніи, пользуются этимъ понятіемъ и даже выставляютъ его въ значеніи аргумента, когда напр. Отрицаютъ свободу воли на томъ основаніи, что всякое явленіе, слѣдоват. и всякое дѣйствіе человѣка, должно имѣть соответствующую причину, хотя, замѣтимъ при этомъ, понятіемъ причины не требуется, чтобы и всякая причина имѣла также для себя причину.

Понятіе причины, какъ сказано, имѣть связь съ понятіемъ сущности, именно если сущность должно разумѣть какъ силу живую, дѣятельную, то дѣятельность ея очевидно должна имѣть начало или исходный пунктъ и конецъ; насколько сущность дѣятельна, она есть причина, а таъ какъ дѣятельность ея должна имѣть начало и конецъ, то отсюда и понятіе причины получаетъ двоякій смыслъ: различаютъ причину дѣйствующую или движущую, и причину конечную, или цѣль дѣятельности. Итакъ если причина есть необходимое понятіе разума, то слѣдуетъ признать столь же необходимымъ для нашего разума и понятіе цѣли. И относительно понятія цѣли не трудно было бы доказать, что тѣ, которые въ принципѣ отрицаютъ это понятіе, сами однажды не могутъ на дѣлѣ обходиться безъ этого понятія (см. объ этомъ въ соч. Чичерина: Наука и религія стр. 31-я и дал.). Но пусть понятіе цѣли необходимо; точно ли оно есть законъ разума, а не выводъ опыта; понятіе умозрительное, а не опытное, и потому всегда ли и вездѣ это понятіе необходимо? Полъ Жане въ своемъ сочиненіи о конечныхъ причинахъ (перев. съ французскаго, Кіевъ 1878 г.) приходитъ къ слѣдующему заключенію относительно принципа конечныхъ причинъ, послѣ разбора нѣкоторыхъ формулъ, въ которыхъ такъ или иначе опредѣляется этотъ принципъ: „мы, говоритъ онъ, соглашаемся и съ Аристотелемъ, что природа ничего не дѣлаетъ по напрасну, и съ Жуффруа, что все существующее имѣть цѣль, и съ Равессономъ, что всякое

движение идет къ чему нибудь, но съ тѣмъ ограниченою, что все это, на нашъ взглядъ, суть истины только индуктивныя, не болѣе, какъ обобщенія опыта: находя въ извѣстныхъ случаяхъ отношенія средствъ и цѣлей вполнѣ очевидными, мы переносимъ ихъ и на тѣ случаи, гдѣ эти отношенія уже далеко не такъ очевидны, а отсюда и на всѣ явленія природы, по врожденной намъ наклонности къ общему". Такой взглядъ на принципъ конечныхъ причинъ П. Жане основывается на слѣдующемъ соображеніи: если бы, говорить онъ, принципъ конечныхъ причинъ былъ принципомъ первоначальнымъ иaprіорнымъ, подобно принципу причинности, то мы прилагали бы его вездѣ и во всякомъ случаѣ. Но этого на самомъ дѣлѣ не бываетъ: въ большей части случаевъ явленія представляются намъ безъ цѣли, или покрайней мѣрѣ не вызываются понятія цѣли, но въ иныхъ случаяхъ дѣйствительно это понятіе возникаетъ въ насъ невольно и даже принудительно—съ неодолимой силой (стр. 17). Когда я смотрю на горную цѣпь Альповъ и вижу безчисленные, самыя разнообразныя, сложныя, иногда странныя формы, которыя получили вершины, составляющія эту цѣпь, то законъ причинности вынуждаетъ меня допустить, что каждая изъ этихъ формъ, несмотря на всю кажущуюся случайность свою, имѣеть себѣ опредѣленную, особую причину; но при этомъ я совсѣмъ не чувствую себя вынужденнымъ полагать, что каждая изъ этихъ формъ, здѣсь заостренная, тамъ закругленная, или представляющая уступы и выемы, имѣеть и свою особую цѣль (стр. 7)? Итакъ вотъ основаніе, почему П. Жане находитъ невозможнымъ признать понятіе цѣли закономъ разума. Понятіе это не всегда и во всѣхъ случаяхъ приложимо. Но развѣ есть такія понятія, которыя были бы приложимы всегда и вездѣ. Нельзя утверждать этого даже относительно понятія причинности, которое П. Жане признаетъ апріорнымъ. Ибо мы признаемъ бытіе первой причины, которая для себя не имѣеть уже причины, существуетъ безъ причины; равно если воля наша

свободна, то и она можетъ быть рассматриваема въ отношеніи къ своимъ дѣйствіямъ, какъ причина первая; понятіе сущности несомнѣнно есть понятіе не эмпирическое, а рациональное, но и это понятіе нельзя прилагать ко всему безразлично. П. Жане былъ введенъ въ заблужденіе очевидно тѣмъ, что признаками априорныхъ понятій обыкновенно признаются всеобщность и необходимость; но эти признаки вовсе не означаютъ того, что такія понятія должны быть приложены всегда и вездѣ; необходимость и всеобщность понятій, присущихъ разуму, эти признаки ихъ имѣютъ тотъ смыслъ, что каждое изъ такихъ понятій *необходимо* должно имѣть свое приложеніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, *гдѣ это приложеніе требуется самимъ значеніемъ понятія, собственно ему принадлежащимъ смысломъ*. Но каково значеніе, каковъ смыслъ понятія цѣли это мы видѣли. Цѣль есть конецъ, къ которому направляется дѣятельность причины. Очевидно, что смыслъ понятія цѣли ни мало не требуетъ, чтобы въ ряду, нерѣдко многочисленныхъ, явлений и обстоятельствъ, служащихъ къ достижению цѣли—каждое изъ этихъ обстоятельствъ и явлений—имѣло свою собственную цѣль. Иное значеніе имѣть понятіе причины (дѣйствующей), а потому и примѣненіе этого понятія иное. Причина есть то, что предшествуетъ своему дѣйствію, а какъ всякое явленіе мы именно представляемъ какъ дѣйствіе, то отсюда для всякаго явленія необходимо предполагаемъ соотвѣтствующую причину; цѣль же не предшествуетъ, а послѣдуетъ за цѣльнымъ рядомъ дѣйствій, служащихъ средствомъ для нея, а потому и иѣть необходимости всякое такое дѣйствіе, всякую случайность прямо относить къ цѣли. Только тогда всякий случай, всякое явленіе имѣли бы прямое отношеніе къ своей цѣли, если бы для каждой частной цѣли въ природѣ были даны средства прямо предназначенные именно для этой, а не какой либо иной цѣли. Но природа, какъ известно, одними и тѣми же средствами достигаетъ и даетъ возможность достигать самыхъ разнообразныхъ цѣлей. И чѣмъ разнообразнѣе употребленіе извѣстныхъ средствъ

тѣмъ нейтральне, такъ сказать, должны быть эти средства по отношенію къ возможнымъ для нихъ цѣлямъ. Такъ наименѣе приложимо понятіе цѣлесообразности къ природѣ неорганической, но это потому, что природа эта предназначена служить материаломъ для разнородиѣйшихъ и много-различныхъ цѣлей, осуществляемыхъ въ природѣ органической. Правда П. Жане не оставляетъ совершенно безъ вниманія указанный нами смыслъ понятія цѣли, но онъ признаетъ этотъ смыслъ недостаточно выражающимъ принципъ конечныхъ причинъ, и въ томъ именно, что, по его мнѣнію, не легко выразить въ точности понятіе цѣли, онъ также видѣтъ подтвержденіе своего взгляда на принципъ конечныхъ причинъ. Принципъ причинности, говорить онъ, не представляетъ для опредѣленія никакихъ трудностей и обыкновенная всеобщая формула его гласитъ: „нѣть ни одного явленія безъ причины“. По аналогіи съ этой формулой и принципъ конечныхъ причинъ можно бы формулировать такъ: „ничто не совершается безъ цѣли,—все существующее имѣеть цѣль“, или, какъ выражается Аристотель, природа ничего не дѣлаетъ по напрасну. Достаточно выразить принципъ конечныхъ причинъ и въ этой формулы, чтобы видѣть прежде всего, что онъ совсѣмъ иного рода, чѣмъ принципъ причинности. Жуффруа, изслѣдуя въ своемъ курсѣ натурального права истины, на которыхъ основывается моральный порядокъ, говорить: „первая въ ряду этихъ истинъ есть принципъ, что всякое существо имѣеть свой конецъ. Этому принципу принадлежитъ такая же очевидность, всеобщность и необходимость, какъ и принципу причинности, и нашъ разумъ одинаково не мыслить исключений ни изъ того, ни изъ другаго“. Но несмотря на авторитетъ Жуффруа, мы должны признаться, что выраженный въ такой формулы: „всакое существо имѣеть свой конецъ“—принципъ конечности, въ глазахъ нашихъ, далеко не имѣеть ни очевидности, ни необходимости принципа причинности, формула которого гласитъ: „все совершающееся имѣеть свою причину“. Если подъ словомъ конецъ разумѣть известное

слѣдствіе, необходимо вытекающее изъ извѣстной натуры существа, то въ этомъ смыслѣ безъ сомнѣнія всякое существо необходимо производить только то, что согласно съ его натурою. Но если подъ словомъ конецъ разумѣть цѣль, ради которой произошла какая либо вещь, или къ которой она стремится, то тутъ уже нисколько не очевидно, чтобы камень напримѣръ имѣлъ свою цѣль, а минералъ свою. Для того, кто смотритъ на природу какъ на созданіе прорицанія, конечно несомнѣнно, что все сотворено для извѣстной цѣли, что и кремень созданъ не понапрасну. Но понятно, что въ такомъ разѣ принципъ конечныхъ причинъ не есть уже принципъ априорный, необходимый, всеобщій, первый, а есть только выводъ изъ доктрины прорицанія; доктрина всеобщей цѣли вещей, слѣдующая необходимо изъ доктрины прорицанія, значитъ, вовсе не присуща намъ, какъ очевидная и необходимая сама по себѣ (стр. 5—7). Это же самое разсужденіе П. Жане мы могли бы приложить и къ понятію причинности. Конечно, скажемъ мы, если существуетъ разумный порядокъ вещей, то всякая вещь, всякое явленіе должны имѣть свою причину; если же въ мірѣ все безсмысленно, то нѣтъ и причинъ; тогда все есть дѣло случаевъ; и самый міръ произошелъ случайно. Случай, говоритъ П. Жане, не есть какая либо причина, но онъ есть встрѣча причинъ (стр. 19), такъ что если допустить случай, то этимъ не исключается существованіе причинъ,—но для самой встрѣчи причинъ уже нѣтъ никакой причины, иначе она была бы необходимою, а не случайною. Принципъ конечныхъ причинъ въ объясненномъ выше смыслѣ не есть принципъ априорный, по словамъ П. Жане, необходимый, всеобщій, а есть только выводъ изъ доктрины прорицанія. Но что такое прорицаніе въ общемъ смыслѣ, какъ не разумѣній порядокъ вещей? А такой порядокъ вещей предполагается всѣми понятіями, "необходимо" присущими разуму. Понятія разума не имѣли бы никакого приложенія въ дѣйствительности, если бы эта дѣйствительность была нераз-

умна. А потому изложенное разсуждение П. Жане нельзя не признать, по меньшей мѣрѣ, страннымъ вовсе недоказывающимъ того, что онъ хотѣлъ доказать.

Изложенный взглядъ П. Жане относительно принципа конечныхъ причинъ отчасти объясняется слѣдующимъ его замѣчаніемъ: понимая такимъ образомъ конечность или цѣлесообразность, говорить онъ, какъ законъ природы, а не какъ прирожденный законъ мысли, мы, если не ошибаемся, этимъ самымъ устраниемъ то предубѣжденіе, съ которымъ ученые относятся къ конечнымъ причинамъ. Отъ чего въ самомъ дѣлѣ большинство ученыхъ рѣшительно высказывается противъ конечныхъ причинъ? Именно отъ того, что въ продолжение цѣлыхъ вѣковъ изъ принципа конечныхъ причинъ дѣлали принципъaprіорный, и хотѣли сдѣлать его столь же обязательнымъ для науки, какъ и принципъ причинности,—оттого, что относительно всякой вещи спрашивали у ученаго не только, какая ея причина, но и какая ея цѣль, какъ будто и для него также необходимо знать послѣднее, какъ и первое, и обязывая его повсюду отыскивать и указывать цѣли, тѣмъ самымъ отвращали отъ изслѣдованія причинъ. Это, конечно, есть уже своего рода ярмо, котораго не можетъ выносить ученый, потому что оно отнимаетъ у него свободу изслѣдованія (стр. 13). Противъ этого достаточно замѣтить слѣдующее: если уже угождать ученымъ, которые такъ дорожатъ свободою изслѣдованія, то необходимо устранить всѣ рациональные понятія, ибо каждое изъ нихъ есть своего рода ярмо; и дѣйствительно позитивисты вѣдь не считаютъ обязательнымъ для науки и понятіе причинности, а не только понятіе цѣли. Если бы далѣе цѣлесообразность была закономъ природы, т. е. выводомъ опыта, тогда именно ученые, которые полагаются только на опытъ, и не возставали бы противъ конечныхъ причинъ. Наконецъ самъ П. Жане не скользъ для себя стѣснительнымъ и подавляющимъ свободу изслѣдованія дѣломъ написать большую и весьма поучительную книгу о конечныхъ причинахъ.

Такъ какъ требование, чтобы всякое положение было достаточно обосновано, есть естественный законъ мысли, и познаніе наше настолько имѣть научное достоинство, насколько удовлетворяетъ этому требованію, то понятно само собою, что наука воспитываетъ въ человѣкѣ недовѣріе ко всему, что выдается за истину безъ достаточныхъ доказательствъ. Требование основательности есть наиболѣе настойчивое въ человѣкѣ научно-образованномъ. Вследствіе этого, понимая религіозную вѣру такимъ образомъ, будто она требуетъ слѣпаго, ни на чёмъ неоснованного довѣрія къ предлагаемымъ ею доктринаамъ, не рѣдко ставятъ ее въ такое исключительное положеніе относительно науки, что между тою и другою будто бы невозможно никакое примиреніе, что одна исключаетъ другую (см. предисловіе въ книгу Чичерина: наука и религія). Наука требуетъ ничего не принимать на вѣру, все изслѣдовывать, испытывать, дабы не безотчетно, но въ силу известныхъ основаній одно признавать, другое отвергать, вѣра же религіозная, говорить, противится изысканію Тѣ, которые подобнымъ образомъ смотрять на религіозную вѣру, очевидно вѣру смѣшиваютъ съ суевѣріемъ. Напротивъ, съ первыхъ временъ христіанства писатели христіанскіе признавали для вѣры религіозной необходимымъ пособіе науки. Они ясно различали простую безотчетную вѣру отъ вѣры основанной на сознательномъ и твердо обоснованномъ убѣжденіи. Не вѣра, а легко-вѣріе, или суевѣріе противорѣчить требованію основательности. Скажутъ, что если истина утверждается на известныхъ основаніяхъ, тогда она уже не есть вѣра, а знаніе. Но вѣра и знаніе различаются между собою по предметамъ: вѣра не имѣть мѣста, коль скоро предметъ вполнѣ доступенъ познанію, по крайней мѣрѣ насколько доступенъ; и наоборотъ, знаніе въ собственномъ смыслѣ невозможно относительно предметовъ, превышающихъ натуральныя средства человѣческаго познанія,—а что должны быть такие предметы—это признаютъ и многіе эмпірики или позити-

висты. Но установить правильное отношение человѣка къ этимъ предметамъ есть дѣло науки: наука должна показать, чemu и какъ мы должны вѣровать, а также на какомъ основаніи мы должны вѣровать. Посему вѣра, обоснованная научнымъ образомъ, тѣмъ различается отъ знанія въ собственномъ смыслѣ, что знаніе обосновывается на самомъ существѣ предмета,—вѣра же обосновывается на необходимости признанія предметовъ ея, необходимости, выводимой не изъ самаго существа этихъ предметовъ, которые недоступны познанію, а изъ другихъ основаній. Съ другой стороны Лейбницъ первый указалъ на требование достаточного основанія какъ на законъ человѣческой мысли (что не препятствовало ему быть защитникомъ религіозной вѣры), но онъ же признавалъ, что требование это имѣеть силу лишь въ отношеніи къ истинамъ опытныхъ; относительно же истинъ, познаваемыхъ a priori, т. е. сверхъопытныхъ означеннное требование не приложимо. Въ самомъ дѣлѣ, есть истины очевидныя сами по себѣ, убѣдительность которыхъ заключается въ нихъ самихъ, въ ихъ очевидности, а не въ чёмъ либо иномъ. Такъ положеніе, что противорѣчащія сужденія не могутъ быть одинаково истинными, мы принимаемъ безъ всякаго основанія, ибо положеніе это выражаетъ законъ разума; что сущность каждой вещи неизмѣнна, тождественна, и это—истина, неимѣющая основанія, ибо сама она служитъ основаніемъ для другихъ истинъ. Такимъ образомъ и въ области знанія требование достаточного основанія приложимо не ко всякому положенію. Правда положенія сами по себѣ очевидныя могутъ быть доказываемы не прямымъ образомъ, но также могутъ быть доказываемы и истины вѣры, напр. истина бытія Бога, истина бессмертія и др. Косвеннымъ образомъ доказываются эти истины, коль скоро показываютъ послѣдствія, къ которымъ приводить отрицаніе этихъ истинъ преимущественно въ нравственномъ отношеніи.

IV.

Посмотримъ теперь, къ какому взгляду на познаніе приводятъ изложенные опредѣленія законовъ человѣческой мысли, и какія требованія вытекаютъ изъ означеныхъ законовъ,—требованія, которыхъ необходимо должно имѣть въ виду критика научныхъ и литературныхъ произведеній.

Коль скоро мы убѣждены, что истина должна быть одна, т. е. вполнѣ согласна съ собою, такъ что единство есть ея существенный признакъ, и это убѣженіе основывается на томъ, что сущность каждой вещи признаемъ единою, то ясно отсюда, что истина имѣть необходимоѣ отношеніе къ сущности вещей; она есть выраженіе сущности. Мысль наша на столько истинна, насколько согласна съ дѣйствительнымъ бытіемъ вещей въ его сущности. Такимъ образомъ отношеніе, связь мыслей или представлений съ бытіемъ вещей представляемыхъ, связь познанія съ познаваемымъ есть необходимая принадлежность истины. Мысли наши должны имѣть достаточное основаніе, а такимъ основаніемъ можетъ быть только существо вещей, насколько оно познаваемо для насть. Итакъ обычное понятіе объ истинахъ, что она состоитъ въ согласіи познанія съ бытіемъ вещей познаваемыхъ, имѣть связь съ законами мышленія; оно вытекаетъ изъ этихъ законовъ и потому столько же необходимо для насть, какъ необходимы законы мышленія. Неудивительно послѣ этого, что всѣ старанія отвергнуть означенное понятіе объ истинахъ, какъ заключающее въ себѣ будто бы противорѣчие, не могли быть удачными. Справились: какимъ образомъ мышленіе, вообще познаніе наше можетъ имѣть отношеніе къ бытію вещей, т. е. къ тому, что лежитъ въ познанія? Вѣдь познаніе наше слагается изъ представленій или идей; представлениа же даны въ насть, въ нашемъ сознаніи; напротивъ вещи имѣютъ бытіе отдельное, независимое отъ нашего сознанія, т. е. существуютъ въ его. Можемъ ли мы выступить, такъ сказать, изъ своего сознанія, дабы войти въ соприкосновеніе съ самимъ бытіемъ? Держась

того понятія объ истинѣ, что она состоитъ въ согласіи познанія съ познаваемымъ, мы должны имѣть возможность сравнить наши представлениа съ вещами. Но возможно ли такое сравненіе? Мысль мы можемъ сравнивать съ мыслю, представлениа съ представлениемъ, но не съ бытіемъ, которое лежитъ въ мысли. Чтобы разрѣшить это затрудненіе, казалось нужнымъ отыскать нѣчто посредствующее, что сближало бы и связывало между собою бытіе вещей и наше мышленіе. Такъ Тренделенбургъ (*Logische Untersuchungen*) полагалъ этотъ пунктъ соприкосновенія мысли съ бытіемъ въ движении; но движение есть или представление, или же дѣйствительность представляемая, слѣдов. не есть что либо среднее между познаніемъ и бытіемъ; да и вообще средняго между тѣмъ и другимъ, что небыло бы ни представлениемъ или мыслю, ни бытіемъ, ничего быть не можетъ. Другіе утверждали, что мышленіе не есть что либо постороннее для бытія вещей; напротивъ въ немъ—то и заключается существо вещей (тождество мышленія и бытія), и соотвѣтственно этому истину опредѣляли какъ согласіе вещи мыслимой съ ея идею или понятіемъ. Наконецъ существовало и еще мнѣніе, которое прямо признавало бытіе вещей непознаваемымъ, ограничивая познаніе простымъ сочетаніемъ представлений. Такимъ образомъ, повидимому, остается признать одно изъ двухъ, или что познаніе наше, не выступая изъ круга представлений, данныхъ въ нашемъ сознаніи, не имѣть никакого отношенія къ бытію вещей (раздѣленіе познанія и бытія) или напротивъ, что въ самомъ познаніи, пріобрѣтаемомъ чрезъ мышленіе, заключается существо вещей, такъ что бытіе неотдѣлимо отъ мышленія (отождествленіе познанія съ бытіемъ). Но не трудно убѣдиться, что ни тотъ, ни другой взглядъ на познаніе не можетъ быть принятъ.

Предположимъ въ самомъ дѣлѣ, что наше познаніе такъ ограничено представленими, что объ отношеніи представлений къ дѣйствительному бытію вещей мы ничего не знаемъ и знать ничего не можемъ. Если познаніе наше

стоить виѣ всякаго отношенія къ бытю вещей, тогда мы даже не вправѣ утверждать, что существуетъ что либо независимо отъ представлений. Послѣдовательно выдерживая эту точку зрѣнія, мы должны и о себѣ сказать, что и наше собственное бытіе заключается для насъ лишь въ томъ, что мы представляемъ себя. Ясно, такимъ образомъ, что невозможно удержаться на такой точкѣ зрѣнія. А между тѣмъ нерѣдко пользуются ею, напримѣръ для опроверженія материализма. Разсуждаютъ иногда такъ: матерія есть не что иное, какъ наше представленіе: возможно ли, чтобы наше сознаніе, мысль, представленіе были продуктомъ матеріи, которая сама есть произведеніе нашей мысли? Нельзя не признать такое опроверженіе материализма *'недостигающимъ своей цѣли'*). Какъ неестественна изложенная точка зрѣнія,—это вполнѣ очевидно. Мы не довольствуемся тѣмъ, чтобы имѣть идею или представленіе предмета; мы требуемъ сверхъ того, чтобы идея была согласна съ предметомъ, причемъ мы убѣждены въ самостоятельномъ независимомъ су-

<sup>1)</sup> Лянгѣ въ своей истории материализма (*Geschichte des Materialismus*, 1873 г.) допускаетъ материализмъ со всѣми его послѣдствіями; онъ признаетъ важное значеніе материалистической точки зрѣнія въ качествѣ методологическаго приема въ наукѣ: нужно разматривать и изслѣдовывать всѣ жизненные явленія такъ, какъ бы не существуетъ никакихъ иныхъ условій, кроме материальныхъ, дабы видѣть, насколько съ этой точки зрѣнія можетъ быть достигнуто объясненіе явленій. Но признавая материализмъ весьма важнымъ въ качествѣ научнаго приема, или метода при изученіи явленій, Лянгѣ въ тоже время отвергаетъ его какъ ученіе, имѣющее въ виду изъяснить сущность вещей главнымъ образомъ на томъ основаніи, что самая матерія есть не что иное, какъ абстракція, существующая лишь въ нашей мысли, а равно и всѣ материальные предметы суть лишь наши представленія. Мы можемъ разматривать съ научною цѣлью мозгъ и нервы какъ агенты, производящіе всѣ умственныя проявленія, но при этомъ должно помнить, что и нервы и мозгъ—это наши представленія, а не что либо существующее само по себѣ.—Такое раздѣленіе методологического материализма отъ метафизического, предлагаемое Лянгѣ, едва ли можетъ быть выдержано: слишкомъ легокъ переходъ отъ одного къ другому.

ществованіи вещей представляемыхъ. Откуда у насъ эта мысль о независимомъ существованіи вещей, если познаніе наше состоитъ въ отношеніяхъ представленій между собою, а не въ отношеніи ихъ къ вещамъ? Юмъ сдѣлалъ попытку изъяснить это натуральное убѣжденіе, оставаясь при означенномъ взглядѣ на познаніе. Представленія наши имѣютъ связь между собою, чередуются въ извѣстномъ порядкѣ. Если представленія сходныя неоднократно повторяются, то они такъ-же между собою сливаются, что наше воображеніе не различаетъ ихъ, и потому намъ кажется, что мы имѣемъ дѣло съ однимъ и тѣмъ же предметомъ; связывая многія сходныя представленія въ одинъ непрерывный рядъ, воображеніе при обозрѣніи этого ряда не замѣчаетъ перехода отъ одного представлениія къ другому, и эту то непрерывность въ послѣдовательности идей принимаетъ за непрерывное существованіе объекта представляемаго, который поэтому оно различаетъ отъ представленій. Противъ этой теоріи достаточно сказать, что если воображеніе самыя представленія принимаетъ за объектъ, вслѣдствіе того, что не замѣчаетъ перехода отъ одного представлениія къ другому, то ясно, что оно не могло бы различать этого объекта отъ представленій, ибо для этого очевидно необходимо, чтобы представленія были замѣчаемы именно какъ представленія, и чтобы смыслимость ихъ сознавалась.

Нельзя также признать и того, что самое бытіе вещей, по сущности своей, заключается въ познаніи, насколько это послѣднее происходитъ чрезъ мышленіе въ формѣ понятій, которыхъ послѣдовательно развиваются одно изъ другаго (Гегель). Тождество мышленія и бытія—принципъ этой теоріи—уже потому не можетъ быть принято, что дѣятельность мышленія не сама по себѣ удовлетворяетъ насъ, а только тогда, если достигается цѣль этой дѣятельности, если т. е. чрезъ нее приобрѣтается дѣйствительное познаніе вещей; мы всегда сознаемъ различие понятій отъ объектовъ мыслимыхъ, и только тогда понятія имѣютъ для насъ истин-

ность, когда мы находимъ ихъ соответствующими своимъ объектамъ. Если же мы не просто мыслимъ понятія, или имѣемъ представлениія, но при этомъ еще относимъ ихъ къ вещамъ, то это происходитъ, очевидно, въ силу того закона мысли, по которому мышленіе для всего требуетъ достаточнаго основанія, или же при всякой перемѣнѣ въ нашемъ сознаніи предполагаетъ соответствующую причину виѣ. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія уже тотъ фактъ, что хотя впечатлѣнія органовъ чувствъ переходятъ въ ощущенія и дѣлаются сознательными только, когда достигаютъ мозга, однако мы не сознаемъ ихъ присутствія въ мозгу, а всегда относимъ ихъ къ самому предмету, послужившему причиной ихъ возникновенія въ насъ. Бундъ не безъ основанія процессъ возникновенія въ насъ ощущеній рассматривается какъ безсознательное умозаключеніе. Это можно признать въ томъ смыслѣ, что въ самыхъ ощущеніяхъ уже обнаруживается дѣйствіе законовъ мышленія. Совершенно вѣрно замѣчаютъ, что нѣть такого отвлеченнаго понятія, для котораго не служило бы подкладкою нѣкоторое чувственное созерцаніе, но можно сказать и наоборотъ, что и въ чувственныхъ созерцаніяхъ обнаруживается дѣйствіе мыслительной силы. Вотъ почему реалисты противъ идеалистовъ стараются доказать, что всѣ абстрактныя понятія, самыя глубочайшія идеи, имѣютъ свой источникъ въ ощущеніяхъ; наоборотъ идеалисты противъ реалистовъ доказываютъ (напр. Гегель), что и въ элементарныхъ, простѣйшихъ представлениихъ обнаруживаются категоріи разсудка. Философія неизбѣжно раздѣляетъ то, что въ дѣйствительности соединено, ибо орудіе ея анализъ; только художественное творчество выражаетъ въ гармоническомъ стройномъ единстве мысль и чувственное созерцаніе.

Требованія, непосредственно вытекающія изъ разсмотрѣнныхъ законовъ мысли, въ отношеніи къ дѣятельности мышленія, таковы: *единство, последовательность и основательность*.

Что касается первого требование, то оно, очевидно, имѣетъ двойкій смыслъ, въ виду необходимой внутренней связи между мышленіемъ и предметомъ мыслимымъ. Требование единства относится и къ предмету, и къ самому мышленію, занятому извѣстнымъ предметомъ. Единство предмета конечно не должно понимать въ тѣсномъ смыслѣ; ибо литературное и научное произведение можетъ трактовать одновременно о многихъ предметахъ,—но эти предметы должны имѣть связь между собою, вслѣдствіе которой мы могли бы рассматривать ихъ въ совокупности какъ одинъ предметъ. Что можетъ быть проще и удобопонятнѣе этого требования, и между тѣмъ какъ часто оно нарушается! Что можетъ быть обыкновеннѣе того приема, что, заговоривъ объ одномъ предметѣ, потомъ незамѣтно вводятъ въ рѣчь совершенно другой предметъ, и это потому, что нестолько руководятся требованиями логического мышленія, сколько привычною ассоціаціею идей, свизывающею иногда случайнымъ образомъ самыя разнородныя вещи. Смѣщеніе одной вещи съ другою, которая строго должно различать,—явление обыкновенное. Иногда такое смѣщеніе бываетъ и намѣренное,—съ цѣлью унизить достоинство одной вещи чрезъ замѣну ея другою, которую однакожъ принимаютъ за ту же вещь. Въ силу означеннаго требования единства обыкновенно осуждаются безъ дальнѣйшихъ разсужденій въ области философіи ученія дуалистической. Но дуализмъ не всегда представляется исключающимъ всякое единство; именно, если одно начало, хотя и признается невыводимымъ изъ другаго, однакожъ подчиняется другому, то едва ли такой дуализмъ можно признать противорѣчащимъ требованію единства. Не менѣе важно и необходимо требование единства и въ отношеніи къ мышленію, занятому извѣстнымъ предметомъ. Единство идеи, главной мысли,—это обычное требование, предъявляемое и къ научнымъ, въ особенности же къ художественнымъ, литературнымъ произведеніямъ. Если тенденціозность въ литературныхъ про-

изведеніяхъ заслуживаетъ порицанія, то главнымъ образомъ потому, что этимъ недостаткомъ нарушается коренное требование единства. Защитники тенденціозности обыкновенно отрицаніе ея смѣшиваютъ съ отрицаніемъ всякой разумной цѣли въ художественномъ произведеніи. „Искусство для искусства“ обыкновенно понимается такъ, какъ бы писатель по этой теоріи, ничего болѣе не долженъ имѣть въ виду, кромъ удовольствія писать. Но это далеко не такъ. Разумная цѣль необходима въ каждомъ дѣлѣ, а тѣмъ болѣе въ произведеніи художественномъ, но эта цѣль не должна выступать наружу, а должна сливаться съ самимъ содержаніемъ, должна быть имманентною, подобно тому, какъ и каждое органическое, живое тѣло хотя устроено цѣлесообразно, но цѣлесообразность эта—внутрення, совершенно неотдѣлимая отъ его устройства, между тѣмъ какъ въ механическихъ произведеніяхъ, т. е. машинахъ,—цѣль, для которой онъ устраивается, всегда есть виѣшня. Такъ какъ и въ литературныхъ произведеніяхъ тенденціознаго характера эта цѣль слишкомъ выступаетъ наружу, т. е. виѣшнимъ образомъ привязана къ содержанію, то такие произведенія по справедливости считаются безжизненными, механическими издѣліями, въ противоположность произведеніямъ художественного творчества, имѣющимъ органическое жизненное единство. Отсюда уже видно, что требование единства, какъ и вообще всѣ требования мышленія, имѣетъ характеръ идеальный, такъ что идеализмъ заключается въ самой природѣ нашего мышленія.

Другое требование—послѣдовательность—важно особенно въ томъ отношеніи, что мысль проведенная послѣдовательно, чрезъ то обнаруживаетъ и свое достоинство, и свои недостатки. Ложь не такъ легко можетъ быть узнана, когда остается скрытою; развить ее послѣдовательно—значить разоблачить ее, сдѣлать явною; и наоборотъ: чѣмъ болѣе мы раскрываемъ истину съ разныхъ сторонъ, тѣмъ большую она приобрѣтаетъ для насть убѣдительность.

Но ни единство, ни последовательность сами по себѣ не обеспечиваютъ истинности нашихъ мыслей. Истинность вполнѣ обеспечивается только выполнениемъ третьаго условия—основательности. Мысль вполнѣ основательная не можетъ не быть истинною, ибо, очевидно, только ту мысль мы можемъ признать вполнѣ основательною, которая утверждается на познаніи самаго существа вещи, а какъ мы видѣли, истина именно и состоитъ въ согласіи познанія съ существомъ предмета познаваемаго. Безъ сомнѣнія, истинною можетъ быть и такая мысль, которая имѣеть видъ догадки, предположенія; однакожъ полную убѣдительность имѣеть для насъ истина лишь тогда, когда намъ удастся разъяснить ея основанія, конечно если это возможно. Ибо истины основные, которыхъ сами служатъ основаніемъ для другихъ истинъ, опираются, такъ сказать, на себѣ самихъ; основаніе, въ силу котораго мы не сомнѣваемся относительно такихъ истинъ, заключается въ ихъ очевидности.

---

## ОПЫТЪ И УМОЗРѢНИЕ.

(Наука и религія Б. Чичерина. Москва 1879 г.).

Едвали не съ тѣхъ поръ какъ существуетъ философія, непрерывно, втечение всей ея исторіи до настоящихъ дней, продолжается споръ двухъ главныхъ ея направлений: идеализма и реализма, если разумѣть подъ этими названіями совокупность разныхъ оттѣниковъ и формъ того и другаго направлія, каковы съ одной стороны раціонализмъ, мистицизмъ, субъективизмъ, а съ другой—эмпіризмъ, сенсуализмъ, матеріализмъ. Въ разное время въ мнѣніяхъ большинства людей образованныхъ перевѣсь склонялся то на сторону реализма, то на сторону идеализма. Если однажды, не смотря на поперемѣнныя склоненія въ ту или другую сторону, споръ двухъ направлений никогда вполнѣ не замолкалъ, постоянно возобновляясь въ разныхъ видахъ, то это одно уже можетъ служить признакомъ, что каждое изъ означенныхъ направлений имѣеть свои основанія. Потому неудивительно, что должны были явиться попытки къ объединенію и примиренію обоихъ направлений.

Извѣстно, что философія новаго времени началась съ того, что въ лицѣ первыхъ ея основателей, Бэкона и Де-

карта, выступили два указанных направления во всей своей противоположности. Въ нѣкоторомъ смыслѣ можно сказать, что у обоихъ философовъ цѣль была одна, но такъ какъ къ этой цѣли они избрали разные пути, побуждаемые къ тому несходными интересами, то въ результатѣ и явилась противоположность взглядовъ на познаніе—этотъ главный пунктъ, изъ которого расходятся идеализмъ и реализмъ. Новая философія возникла какъ реакція противъ схоластики. Схоластика, имѣвшая въ виду преимущественно интересы школьнаго обученія (систематизацію, логическую обработку готовыхъ понятій), и сама будучи произведеніемъ школы, съ теченіемъ времени въ такой степени разошлась съ жизнью, что не только не была способна удовлетворить образавшимся новымъ потребностямъ, напротивъ стремилась задержать ходъ жизни, противодѣйствовала потребностямъ новаго образованія, возникшаго главнымъ образомъ подъ вліяніемъ возрожденія классицизма. Вотъ почему новая философія, отвергнувъ схоластику, поставила себѣ цѣлью, въ лицѣ первыхъ своихъ представителей, сближеніе съ жизнью, удовлетвореніе существеннымъ жизненнымъ требованіямъ. Ни Бэконъ, ни Декартъ никогда не были въ числѣ представителей школьнай учености своего времени, которую оба рѣшительно отрицали. Конечно жизнь всегда вмѣщаетъ въ себѣ множество разнообразнѣйшихъ и противоположныхъ стремленій и проявленій, а потому, когда говорятъ о сближеніи науки съ жизнью, о служеніи ея потребностямъ жизни, то при этомъ можно разумѣть вещи ничего неимѣющія общаго. Но какъ ни разнообразны и многосторонни проявленія жизни, можно свести ихъ къ двумъ главнымъ стремленіямъ: съ одной стороны человѣкъ ищетъ господства надъ природою въ видахъ устроенія и обезпеченія своего виѣшняго благосостоянія, съ другой стороны не менѣе и даже болѣе существенна и другая потребность, хотя и не такъ ярко обнаруживается, именно потребность самообразованія; тамъ имѣется въ виду преобразованіе виѣшней природы,

приспособлениe ея къ потребностямъ собственнаго быта, здѣсь же главный интересъ составляетъ господство надъ свою природою и прежде всего требуется умственное самообразованіе: преобразованіе нажитыхъ понятій, идей силою собственной мысли. Извѣстно, что Бэконъ предназначалъ для своей философіи удовлетвореніе первой изъ названныхъ потребностей, напротивъ Декартъ стремился къ удовлетворенію другой потребности. Отсюда объясняются всѣ характерныя черты не только философіи Бэкона и Декарта, но и самой личности обоихъ философовъ. Потребность господства надъ природою имѣеть характеръ общественный, потребность же самообразованія, напротивъ, имѣеть характеръ личный. Первая потребность имѣеть связь съ *внѣшними интересами общежитія*, и удовлетвореніе ея должно преимущественно оказать вліяніе на жизнь общественную; вторая же состоить въ ближайшей связи съ интересами *внутренней личной жизни*. Изъ первой потребности проис текаютъ интересы материальные, изъ другой интересы жизни духовной. Отсюда понятно, почему Бэконъ считалъ рѣшеніе поставленной имъ задачи дѣломъ будущаго. Такъ какъ потребность, которую онъ имѣлъ въ виду, находится въ прямомъ отношеніи къ интересамъ общаго состоянія, то и удовлетвореніе ея достичимо только общими усилиями и мало по малу. И дѣйствительно только въ новѣйшее время осуществляются преднаречанія Бэкона. Напротивъ рѣшеніе другой задачи, поставленной Декартомъ, есть дѣло отдельной личности. И точно Декартъ прямо говоритъ, что онъ никому не думаетъ *навязывать* своей философіи, что дѣло задуманное и предпринятое имъ есть его личное дѣло. Подобно Бэкону, находя неудовлетворительнымъ общее состояніе наукъ того времени, Декартъ не думалъ однако о преобразованіи ихъ, а рѣшился, какъ онъ выражается, преобразовать лишь собственныея свои мысли. Бэконъ не пренебрегалъ никакими средствами для достижения самой широкой общественной дѣятельности, напротивъ Декартъ счи-

таетъ себя счастливымъ, что могъ оставаться въ глубокомъ уединеніи, вдали отъ суеты общественной жизни, отъ знакомыхъ и друзей. Въ видахъ самообразованія Декартъ долгое время изучалъ характеры и страсти человѣческія, и нельзя считать случайнымъ, что въ дальнѣйшемъ своею развитіемъ философія картезіанская прямо признала свою задачею—показать путь къ господству надъ страстями (аффектами); въ этомъ смыслѣ Спиноза называлъ изложеніе своей системы этикою. Бэконъ указывалъ какъ на главный и основной предметъ изученія—на вицѣнную природу. Сообразно съ этимъ познаніе наше онъ вообще производить отвѣтъ, изъ опыта, признавъ единственно годнымъ орудіемъ для приобрѣтенія знаній—индуктивный, экспериментальный методъ, основанный на вицѣнномъ изученіи фактовъ. Напротивъ Декартъ, стремясь къ самообразованію, полагаетъ исходный пунктъ для построенія своей философіи въ самосознаніи, а отсюда и источникъ для достовѣрного познанія ящетъ не вицѣ, а въ себѣ самомъ, въ дѣятельности мышленія. Въ связи съ этимъ онъ пришелъ къ предположенію, что въ самомъ духѣ человѣка заложены основанія для приобрѣтенія важнейшихъ знаній—въ такъ назыв. врожденныхъ идеяхъ.

Вотъ какимъ образомъ Бэконъ и Декартъ пришли къ совершенно противоположнымъ взглядамъ на познаніе. Для характеристики этихъ взглядовъ достаточно указать на то, что по Бэкону умъ, предоставленный себѣ, способенъ рождать только идолы, т. е. предразсудки и заблужденія, ибо онъ своими идеями предупреждаетъ природу вместо того чтобы слѣдовать ея указаніямъ. По мнѣнію же Декарта, напротивъ, чувственное наблюденіе (чувства и воображеніе), въ которомъ Бэконъ видѣлъ надежное орудіе противъ бесплодныхъ построеній діалектики, есть источникъ заблужденій и обмана, и только мышленіе можетъ дать знаніе достовѣрное (какъ это мы видимъ въ математикѣ).

Съ этимъ вмѣстѣ была поставлена задача для даль-

нѣйшей философіи, задача, состоявшая въ томъ, чтобы примирить означенныя крайности во взглѣдѣ на познаніе. Послѣ Бэкона другой англійскій философъ, Локкъ, является, правда, рѣшительнымъ противникомъ Декарта и склоняется на сторону Бэкона въ рѣшеніи вопроса о познаніи (который у него является уже въ значеніи вполнѣ самостоятельнаго предмета изслѣдованія); однако же производя все познаніе изъ опыта, онъ различаетъ отъ вѣнчшаго опыта внутренній, состоящій въ самонаблюденіи, который онъ называетъ не совсѣмъ удачно *рефлексіей*, и сверхъ того усвояетъ столь самостоятельное значеніе разсудку, что признаетъ его способнымъ не только образовать сложныя идеи изъ идей простыхъ, данныхъ чрезъ наблюденіе, но и создавать объекты для познанія независимо отъ опыта, каковы идеи математическія, а также нравственные понятія. Съ другой стороны Лейбницъ, хотя въ рѣшеніи того же вопроса противъ Локка отстаиваетъ основное предположеніе Декарта (о врожденныхъ идеяхъ), но уже не считаетъ чувственное наблюденіе источникомъ обмана и заблужденій; напротивъ, разграничивая рациональное познаніе отъ познанія опыта, признаетъ одинаково необходимымъ и то и другое познаніе; при этомъ онъ нашелъ, что принципъ опытнаго познанія заключается въ требованіи достаточнаго основанія, а принципъ рационального познанія состоитъ въ логическомъ законѣ тождества и противорѣчія.

Но недостаточно было этого разграничения рациональнаго познанія отъ познанія опыта. Необходимо было показать связь того и другаго познанія, и это было главною задачею Канта. Въ самомъ дѣлѣ, не въ томъ ли состоитъ характеристическая черта нашего познанія, что въ немъ связываются разнородные элементы? Лейбницъ полагалъ, что процессъ познавательной дѣятельности вообще состоитъ въ раздѣленіи сложнаго на простые элементы, т. е. дѣятельность свойственная нашему уму есть по преимуществу аналитическая. Напротивъ, Кантъ рассматриваетъ

умственную дѣятельность какъ синтетическую по преимуществу, а именно: познаніе наше, по учению Канта, безспорно есть опытное; оно ограничено предѣлами опыта, но въ самомъ опыѣ соединяются разнородные элементы,—съ одной стороны разнообразный матеріалъ ощущеній, а съ другой а priori данные формы познанія; при этомъ объединяющимъ началомъ служитъ сознаніе, которому свойственно единство и которымъ сопровождается какъ дѣятельность разсудка, такъ и чувственное созерцаніе; такъ что формы познанія—это формы объединяющей дѣятельности нашего сознанія, которое частію есть эмпирическое, чувственное, а частію сверхчувственное, (трансцендентальное).

Неудивительно, что метотъ синтетической сдѣлался господствующимъ въ философіи послѣ Канта. Стремленіе объединять всякия противоположности въ природѣ и жизни, сводить все къ единству и системѣ является отличительной чертою этой философіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, казалось, навсегда удалось примирить крайности идеализма и реализма. Такъ философія Шеллинга прямо исходитъ изъ идеи непосредственного единства идеального и реальнаго, чувственного и сверхчувственного, а философія Гегеля предприняла діалектически доказать это единство и провести мысль о такомъ единстве чрезъ всю систему знаній. Не смотря на такую тенденцію, философія, вышедшая изъ основныхъ началъ, положенныхъ критицизмомъ Канта, по всей справедливости, считается идеалистическою,—и притомъ даже въ большей степени, чѣмъ идеалистическая система до Канта. Это потому, что хотя философія эта и поставила себѣ цѣлью соединеніе реализма и идеализма, но способъ принятый ею къ достижению этой цѣли былъ исключительно идеалистический. Вследствіе этого, вмѣсто примиренія послѣдовала еще болѣе рѣшительный разрывъ реализма съ идеализмомъ, и притомъ—на той самой почвѣ, на которой идеализмъ столь рѣшительное преобладаніе имѣлъ надъ реализмомъ, на почвѣ методы. Въ настоящее время единственнымъ мето-

домъ обыкновенно признается методъ индуктивный; даже философы имъютъ претензію слѣдовать этому методу; сообразно этому центръ тяжести перемѣщается въ область наукъ опытныхъ, по образцу которыхъ хотятъ построить и науки историческія, между тѣмъ какъ время господства идеализма было эпохой процвѣтанія наукъ гуманитарныхъ; это было время общаго увлеченія идеями, имѣющими своимъ предметомъ исторію и литературу. Литература была тогда не ремесломъ, не средствомъ для какихъ либо реальныхъ общеполезныхъ цѣлей, а искусствомъ, и смотрѣли на нее не иначе какъ на искусство.

## I.

Г. Чичеринъ въ своей книгѣ *Наука и религія* говоритъ: «если мы взглянемъ на тѣ основанія, на которыхъ строится вся эта теорія (эмпирическая теорія о познаніи), то мы будемъ поражены и въкоторымъ изумленіемъ. Когда въ концѣ XVII в. Локкъ хотѣлъ утвердить на прочныхъ началахъ систему опытнаго знанія, онъ представилъ подробное изслѣдованіе познавательной способности человѣка. Изслѣдованіе было крайне одностороннее; выводы Локка были опровергнуты критикою Лейбница и Канта. Но все же тутъ были научные доводы; на Локка можно было ссылаться. Тѣмъ же путемъ шло и дальнѣйшее развитіе этого ученія. Кондильякъ выработалъ цѣльную и послѣдовательную теорію чистаго сенсуализма. Тоже сдѣлывало бы сдѣлать и теперь (?). Новый глубокій анализъ познавательной способности человѣка тѣмъ болѣе необходимъ, что приверженцамъ опыта приходится опровергать величайшихъ мыслителей новаго времени. Нелегко устранить *Критику чистаго разума* Канта. Но современные позитивисты избавляютъ себя отъ такого труда. Мы не видимъ у нихъ ничего похожаго на то, что старались дать ихъ предшественники. Гдѣ то классическое изслѣдованіе, на которое они могли бы ссылаться какъ на авторитетъ? Гдѣ то сочиненіе, которое могло бы стать на

ряду не только съ *Критикою чистаго разума*, но даже съ Локомъ или Кондильякомъ? Зачинатель этого направлениѧ Августъ Конть, излагая свою *Положительную философию*, просто относить богословіе и метафизику къ области прошедшаго, признавая опытное знаніе за единственное достойное зрелага возраста человѣка; но доказательствъ этому положенію онъ не думалъ представить: мы должны вѣрить на слово. Отчасти этотъ пробѣль хотѣлъ восполнить Милль своею *Логикою*. Но изслѣдуя пріемы опытной методы, Милль оставилъ безъ опроверженія воззрѣнія великихъ нѣмецкихъ философовъ, которыхъ онъ зналъ весьма плохо (стр. 6-я).

Основываясь на предъидущихъ замѣчаніяхъ, мы на противъ не находимъ ничего удивительного въ томъ, что у новѣйшихъ эмпириковъ или реалистовъ мы видимъ нѣкото-раго рода попытки къ теоретической обработкѣ лишь методологическихъ вопросовъ. Вся положительная философија Конта въ сущности есть теорія о методѣ изложеніи научныхъ знаній. И тѣ три эпохи, которая онъ различаетъ въ исторіи развитія человѣчества, у него характеризуются со стороны методовъ (теологический, метафизический и позитивный), поперемѣнно господствовавшихъ въ эти эпохи по мнѣнію Конта. Въ самой натурѣ реалистического направле-вія лежитъ нелюбовь къ теоретическимъ построеніямъ въ широкихъ размѣрахъ, къ систематической разработкѣ ко-ренныхъ вопросовъ науки и жизни уже потому, что направление это въ новѣйшее время стало господствующимъ какъ реакція противъ чрезмѣрно усилившейся, благодаря идеа-лизму, склонности къ поспѣшному воаведенію широкихъ системъ и теорій. Притомъ же главное требованіе, лежащее въ основѣ реалистического направлениѧ, есть розысканіе фактовъ, расширение эмпирическихъ свѣдѣній. Придавая, вслѣдствіе этого, рѣшающее значеніе фактамъ, реалисты настолько пѣнятъ мысль, идею, насколько ова является простымъ итогомъ собраннаго материала, или, какъ выра-

жаются обыкновенно, выводомъ изъ добытыхъ и точно установленныхъ фактовъ. Понятно, что насколько такими требованиями обеспечивается успѣхъ въ наукахъ собственно опытныхъ, гдѣ дѣйствительно важнѣйшее значеніе принадлежитъ собранію и анализу собранныхъ фактическихъ свѣдѣній, настолько же понижается уровень пониманія въ тѣхъ наукахъ, гдѣ смѣлая мысль, догадка, проницательный и широкій взглядъ, а главное возвышенность руководящихъ идей, или такъ назыв. убѣжденій, имѣютъ важнѣйшее значеніе. Придавая рѣшительное, можно сказать, исключительное значеніе опытному методу, тому методу, который былъ основанъ Бекономъ, реалисты, въ связи съ этимъ, полагаютъ во главѣ научныхъ стремленій имѣ же намѣченныя задачи. Огнощеніе познающаго къ предмету познаваемому, при такомъ методѣ, есть чисто виѣшнее, хотя бы предметъ касался глубочайшихъ основъ человѣческой духовной жизни. Сообразно съ этимъ и цѣль для познанія также предназначается преимущественно виѣшняя—разширеніе человѣческаго могущества надъ природою виѣшнею, устройство и распространеніе материальнаго благосостоянія,—словомъ общая польза. Общая же польза, считается, поэтому, опредѣляющею мѣрою для оцѣнки всѣхъ проявленій человѣческой жизни и дѣятельности. Идеи и стремленія, имѣющія ближайшее отношение къ жизни индивидуальной, внутренней, значеніе которыхъ заключается въ образовательномъ ихъ видѣи собственно на личность человѣка, напротивъ, считаются если не противными и препятствующими успѣхамъ общественной жизни, то по меньшей мѣрѣ безразличными. Въ отношеніи личной жизни новое время знаетъ и понимаетъ лишь одно требование, именно требование свободы, и это требование само собою вытекаетъ изъ принциповъ реализма. Ибо если важнѣе всего общее благосостояніе и развитіе общественной жизни, если ея благоустройство должно быть конечною цѣлью, то это потому, что только въ благоустройствѣ ощущитѣ возможно наиболѣе полное наслажденіе

жизни. Итакъ чѣмъ менѣе стѣсненій, чѣмъ болѣе свободы предоставлено каждому брату свою долю на пиръ жизни, тѣмъ мы ближе къ осуществленію идеала.

По всему этому мы, вопреки мнѣнію г. Чичерина, полагаемъ, что реализмъ въ настоящее время, сравнительно съ прошлымъ столѣтіемъ, сдѣлалъ значительный успѣхъ.— Въ прошломъ столѣтіи эмпірики, сенсуалисты, материалисты, также признавали въ принципѣ, что въ дѣлѣ познанія и рѣшенія вопросовъ жизни и науки слѣдуетъ полагаться лишь на опытъ, но далеко не были вѣрны этому принципу. Французскіе философы XVIII ст. въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ, слѣдя Локку, говорятъ о важномъ и даже исключительномъ значеніи опыта, и однакоже никто въ такой мѣрѣ не пренебрегалъ указаніями опыта, какъ эти философы; по методу, если только можно находить у нихъ методъ, по характеру своего философствованія, они были рационалистами, а никакъ не эмпіриками. Какъ наприм. рѣшался вопросъ о первобытномъ состояніи человѣка, вопросъ, которымъ такъ были заняты умы философовъ и англійскихъ и французскихъ въ XVII и XVIII в.? Требовалось опредѣлить натуральное состояніе человѣка, дабы изъ него вывести и объяснить состояніе гражданское съ принадлежащими этому состоянію моральными и религіозными воззрѣніями. И какъ же рѣшается этотъ вопросъ? Дѣлается предположительное опредѣленіе натурального состоянія человѣка на основаніи теоретическихъ априорныхъ соображеній о природныхъ свойствахъ человѣка, и затѣмъ логически выводится изъ предположительно объясненнаго натурального состоянія состояніе гражданское со всѣми его атрибутами. Между тѣмъ въ настоящее время существуетъ цѣлая наука, располагающая обширнымъ материаломъ эмпірическихъ свѣдѣній,—такъ называемая антропологія, имѣющая въ виду главнымъ образомъ разъяснить первобытное состояніе человѣка.

Современный эмпиризмъ выражается не въ видѣ теорій, системъ, а въ способѣ постановки и решенія научныхъ вопросовъ, въ направленіи и характерѣ руководящихъ взглядовъ въ наукѣ и жизни. Такъ напр. изслѣдуя причины того или иного исторического события, желая представить характеристику известной эпохи, стараются все объяснить не изъ идей, воодушевлявшихъ въ то время главныхъ деятелей и цѣлыхъ массы, а изъ эмпирическихъ условій, т. е. изъ обстоятельствъ тогдашняго положенія общества или отдѣльныхъ его слоевъ. Въ изслѣдованіяхъ подобнаго рода, очевидно, руководящее значеніе имѣетъ это эмпиріческое воззрѣніе, что идеи, понятія, господствующія въ данную эпоху, суть не что иное, какъ отраженія, копіи фактовъ тогдашней дѣйствительности. Ибо вообще первоначальное значеніе, съ точки зреінія эмпіризма, имѣютъ не идеи, а факты, обстоятельства, вицѣнія условія. Отсюда объясняется легковѣріе, не рѣдко переходящее въ предразсудокъ, обыкновенно свойственное реалистамъ, ибо тѣ, которые придаютъ решающее значеніе фактамъ, чрезъ то лишаютъ себя всякаго критерія для оценки самихъ фактовъ. Только тогда эмпірикъ будетъ противиться всѣми силами фактамъ и свидѣтельствамъ, когда тѣ или другія не могутъ быть согласованы съ привычными для него воззрѣніями. Для эмпірика напр. разъ на всегда решено, что чудеса невозможны, а потому безъ дальнѣйшей критики онъ отвергаетъ всякія повѣствованія о чудесахъ, не обращая вниманія на то, что никакіе факты, которые одни имѣютъ въ его глазахъ вѣсъ, сами по себѣ не решаютъ о возможности или невозможности чего бы то ни было. Или напр. многіе решительно отвергаютъ такъ называемые спиритические опыты не потому, чтобы критически изслѣдовали ихъ и находили, что эти опыты сами въ себѣ не сообразны, а потому, что люди, защищающіе подобные опыты, повидимому хотятъ посредствомъ ихъ доказать то, что эмпіриками вообще отрицается.

Напрасно было бы расчитывать, что эмпирики или реалисты способны уступать силъ рациональныхъ доводовъ. Когда Милль говоритъ: «чтѣ для людей мыслимо или немыслимо,—это болѣе частію дѣло случая, и вполнѣ зависить отъ ихъ умственныхъ привычекъ; или: тутъ нѣтъ никакого общаго закона, кромѣ того закона, что мысли каждого лица управляются и ограничиваются личнымъ его опытомъ и умственными привычками (Наука и религія 35 стр.), то не выражаютъ ли эти слова характерныхъ свойствъ эмпирика? Непотому ли въ самомъ дѣлѣ реалисту такъ трудно, почти невозможно, войти въ духъ иного времени, иного строя понятій, что умъ его находится во власти привычныхъ для него воззрѣній? Наиболѣе понятно для него то, что свойственно большинству людей; все же выходящее изъ ряда обычныхъ явлений, въ особенности необычайные проявленія благороднейшихъ свойствъ человѣческаго духа—все подобное кажется ненормальнымъ<sup>1)</sup>.

Г. Чичеринъ является въ своей книжѣ рѣшительнымъ противникомъ эмпиризма. Но его вниманіе слишкомъ занято опровергніемъ взглядовъ и объясненій, высказанныхъ приверженцами эмпиризма, а потому хотя онъ и отстаиваетъ самостоятельное значеніе умозрѣнія,—однако мало озабоченъ тѣмъ, чтобы разъяснить это значеніе, и самое понятіе объ умозрѣніи выражено недостаточно ясно.

Прежде всего необходимо было показать, что опытъ никакъ нельзя признать достаточнымъ способомъ и вмѣстѣ источникомъ познанія. Съ этой цѣлью авторъ ссылается на то, что въ нашемъ духѣ возникаютъ вопросы, неотразимо требующіе разрѣшенія, но не разрѣшимые путемъ опыта. Однако, что существуютъ предметы недоступные для опыта, познанія и вопросы неразрѣшимые на основаніи опыта,

1) Въ одной статьѣ ученаго журнала, помнится, доказывалось, что геніальность вообще означаетъ ненормальное состояніе духа.

этого не отрицаютъ и приверженцы опыта, т. назыв. позитивисты, на что указываетъ и самъ г. Чичеринъ (стр. 22). Позитивисты утверждаютъ лишь, что кроме опыта мы не имѣемъ другаго пути къ решению какихъ бы то ни было вопросовъ. И не одни позитивисты, которые, по словамъ автора книги „Наука и религія“, утверждаютъ, что опытное познаніе постепенно должно замѣнить и философію и религію, но и люди не только не отрицающіе религію, напротивъ глубоко преданные ей и вполнѣ убѣжденные, что въ ней заключается истинная жизнь души,—готовы признать область человѣческихъ знаній ограниченою и многіе важнѣйшіе вопросы жизни для ограниченныхъ силъ человѣческихъ неразрѣшимыми; причемъ само собою понятно, что для такихъ людей слѣдуетъ отсюда не то, что вопросы неразрѣшимые для насть научнымъ образомъ должны быть забыты, а то, что наука не въ силахъ удовлетворить всѣмъ потребностямъ человѣческаго духа, и что сверхъ науки существуетъ и должна существовать еще другая важнѣйшая область духовной жизни,—религіозная вѣра, которой не должна чуждаться и сама наука, созидающая свою ограниченность и несовершенство.

Авторъ означенной книги полагаетъ, что и вѣра не можетъ служить восполнениемъ недостаточности опытныхъ знаній. Если вѣра противополагается знанію, какъ это дѣлаютъ и некоторые позитивисты (Спенсеръ напр.), то она есть въ такомъ случаѣ не болѣе „какъ темное чувство, не руководимое никакимъ разумнымъ началомъ“. Но тамъ, гдѣ нѣтъ познаваемаго предмета, чувство будетъ вращаться въ пустотѣ. Чувство само не создаетъ предмета, оно опредѣляетъ только отношеніе лица къ данному предмету. Иначе оно само было бы источникомъ познанія, т. е. известною формою разума. Притомъ, это отношеніе остается всегда чисто субъективнымъ, ибо чувство разнообразно и непередаваемо: одинъ чувствуетъ такъ, другой иначе. Объективнаго мѣрила истинны оно въ себѣ не содержитъ. Если въ

области бесконечного разумъ бессиленъ понять что бы то ни было, то мы и другимъ путемъ ничего не узнаемъ". „Или же приходится прибѣгнуть (продолжаетъ авторъ) къ сверхъ-естественному откровенію, что всего менѣе допускается позитивистами. Но и откровеніе нуждается въ разумной проверкѣ, ибо иначе человѣкъ принужденъ будетъ слѣпо вѣрить всему, что выдается ему за явленіе или предписаніе Божества, и тогда что становится съ самымъ знаніемъ?" (стр. 4—5). Если, такимъ образомъ, опытъ недостаточенъ, ибо не можетъ дать намъ рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ, если съ другой стороны и религіозная вѣра не въ состояніи сама по себѣ восполнить недостаточность опыта, то остается затѣмъ признать такимъ восполнениемъ опыта умозрѣніе. Въ чёмъ же состоитъ умозрѣніе? Постараемся представить лишь въ главныхъ чертахъ выводъ этого понятія, изложеній у автора, должно сознаться, не довольно точно.

„Кромѣ вышеизлагаемого опыта необходимъ опытъ внутренній, посредствомъ котораго мы приобрѣтаемъ познаніе о душѣ. Душевныя явленія наиболѣе сложны; дабы открыть ихъ законы, надобно прежде всего различить отдѣльные элементы. Но элементы душевныхъ явленій могутъ быть разнѣты только логически, т. е., дабы изслѣдоввать ихъ, мы должны сдѣлать отвлеченіе, между тѣмъ какъ во вѣнчальномъ опыте основаніемъ всей методы и дальнѣйшихъ выводовъ служитъ дѣйствительное различие элементовъ, которые уже порознь подвергаются наблюденію. Въ этомъ умственномъ анализѣ душевныхъ явленій представляется намъ прежде всего различие между наблюдющимъ и наблюдавшимъ. Наблюдающій—это разумъ, или разумный субъектъ, а наблюдавшее составляютъ частныя явленія, которыя разумъ сознаетъ или какъ свои собственные дѣйствія, или какъ состоянія страдательныя, происходящія въ насъ помимо воли и сознанія. Почему необходимо далѣе различать въ душѣ двоякій элементъ сознательный и безсознательный, отъ котораго происходятъ чувства и влечения. Этотъ безсознатель-

ный элементъ самъ по себѣ неподлежитъ ни внутреннему, ни вѣщему опыту; посему обѣ немъ мы можемъ знать только посредствомъ умозаключенія, и при томъ такого умозаключенія, которое не основано ни на вѣшнемъ, ни на внутреннемъ опыта (слѣдоват. ни на чёмъ не основано?). Чтобы сдѣлать подобное умозаключеніе, мы должны прежде всего въ явленіяхъ сознанія раздѣлить то, что происходит отъ самого разума, и то, что проистекаетъ отъ безсознательнаго. Но чистое дѣйствіе безсознательнаго элемента не подлежитъ наблюденію (однакожъ выше сказано, что проявленія безсознательнаго элемента сознаются нами какъ состоянія страдательныя; почему же эти состоянія не могутъ быть основаніемъ для умозаключенія обѣ элементъ безсознательнъ?). Поэтому мы должны начать съ изслѣдованія законовъ сознательнаго элемента,—разума. Разумъ, который самъ есть наблюдающій, долженъ сдѣлаться предметомъ наблюденія... (выходитъ такъ обр., что умозаключеніе о безсознательномъ элементѣ основано на наблюденіи разума). Опытъ здѣсь получаетъ уже иное значеніе. Переходя отъ явленій вѣшнаго опыта къ явленіямъ душевнымъ, разумъ приближается къ себѣ, но пока онъ имѣть дѣло съ явленіями, которые проистекаютъ не изъ него самаго, а изъ безсознательнаго элемента души, онъ все еще дѣйствуетъ какъ вѣшній наблюдатель. Когда же переходитъ къ собственнымъ своимъ дѣйствіямъ, точка отправленія измѣняется: изъ вѣшней становится внутреннею. Разумъ начинаетъ не съ другаго, а съ себя; опытъ переходитъ въ самосознаніе. Измѣняется и способъ дѣйствія: первымъ шагомъ является здѣсь не наблюденіе, а дѣятельность, ибо что бы наблюдать свои дѣйствія, надобно сначала ихъ произвести. А это и есть то, что мы называемъ умозрѣніемъ и что составляетъ основаніе всей философіи<sup>4</sup> (стр. 12—16). Но что же именно? Тѣ ли дѣйствія разума, которыхъ составляютъ предметъ самонаблюденія, самосознанія, или же самое наблюденіе этихъ дѣйствій должно признать умозрѣніемъ? Но если

дѣйствія разума предшествуютъ наблюденію ихъ или самосознанію, тогда нельзя назвать ихъ дѣйствіями сознательными. Между тѣмъ авторъ различаетъ разумъ отъ безсознательного элемента какъ элементъ сознательный (стр. 14). Въ какомъ же смыслѣ разумъ можно признать сознательнымъ элементомъ, если дѣйствія разума предшествуютъ наблюденію этихъ дѣйствій, вслѣдствіе котораго они дѣлаются сознательными? Или быть можетъ дѣйствія разума происходятъ сознательно и сознаются еще прежде наблюденія ихъ самимъ разумомъ? Здѣсь мы имѣемъ такую дилемму, которую авторъ нисколько не разрѣшаетъ, а напротивъ еще болѣе запутываетъ, пытаясь въ разныхъ мѣстахъ болѣе опредѣленно высказаться по этому вопросу. Онъ говоритъ: „пока разумъ дѣйствуетъ безотчетно, какъ въ дѣтахъ, онъ безсознательно руководится присущими ему законами. Но, продолжаетъ онъ, истинная природа разума состоитъ въ сознательной дѣятельности; сознательная же дѣятельность предполагаетъ сознаніе тѣхъ законовъ, которыми она руководится. Когда мы дѣлаемъ какой бы то ни было выводъ, сознаніе логического закона, въ силу котораго онъ дѣляется, непремѣнно должно предшествовать (?), ибо оно именно составляетъ основаніе вывода (?) (стр. 17-я). Между тѣмъ въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: какъ и все законы разума, законъ причинности сперва является въ конкретной формѣ; впослѣдствіи же когда человѣкъ приходитъ къ самосознанію,—непосредственно сознается въ своей чистотѣ (значить не всякий разъ какъ дѣляется какой нибудь выводъ), какъ общее руководящее начало познанія, или какъ чистая форма разумной дѣятельности“. (Стр. 29). Поэтому кажется слѣдуетъ признать, что дѣйствія, т. е. законы, разума вначалѣ должны быть безсознательны; сознаніе же ихъ является впослѣдствіи. Какъ же именно мы приходимъ къ сознанію законовъ разума? Выше мы видѣли, что, по мнѣнію автора, это происходитъ тогда, если разумъ самъ себя наблюдаетъ. Но въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ:

„невозможно утверждать, что познаніе логическихъ законовъ получается единственно изъ наблюденія надъ дѣйствіями разума“; стр. 18-я. Тоже самое еще рѣшительнѣе утверждается въ слѣдующихъ словахъ: „что всякое положеніе, которое мы признаемъ за истину, должно имѣть достаточное основаніе, это конечно мы узнаемъ не изъ наблюденія надъ нашими умственными состояніями; наблюденіе показываетъ намъ напротивъ существованіе множества неосновательныхъ мнѣній, съ которыми люди живутъ весьма благополучно“; (с. 22). Если же не наблюденіе, то что же именно приводить наasz къ сознанію законовъ разума? Если понятіе причинности не дается ни външнимъ, ни внутреннимъ опытомъ, говоритъ авторъ, то остается признать, что это чисто логическій законъ, который проистекаетъ изъ умозрѣнія; (стр. 26). Но въ томъ и вопросъ: что же такое умозрѣніе? Умозрѣніе не есть наблюденіе. Слѣд. когда разумъ наблюдаетъ себя, то это нельзя назвать умозрѣніемъ. Не составляютъ ли умозрѣніе самыя дѣйствія разума, которыя онъ наблюдаетъ? Но тогда какой смыслъ будуть имѣть приведенные выше слова автора, что законъ причинности, какъ и другие законы, проистекаетъ изъ умозрѣнія? Въ одномъ мѣстѣ авторъ говоритъ: „Сознаніе логического закона мы получаемъ не обобщеніемъ опыта, а напротивъ отвлечениемъ отъ всякаго опыта, т. е. непосредственнымъ самосознаніемъ разума“; (стр. 21). Какое же значеніе имѣть здѣсь отвлечение отъ всякаго опыта, и въ какомъ смыслѣ можно сказать, что сознаніе логического закона получается чрезъ непосредственное самосознаніе разума,—авторъ этого необъясняетъ. Вообще невозможно извлечь изъ отрывочныхъ замѣчаній автора совершенно ясное и выдержанное понятіе объ умозрѣніи, не смотря на то, что главная его задача—отстоять самостоятельное значеніе умозрѣнія противъ эмпириковъ. Эта неясность относительно столь важного предмета происходитъ, повидимому, прежде всего отъ того, что авторъ болѣе, чѣмъ сколько слѣдуетъ, занятъ полемикою. Если относительно

известного понятия онъ доказалъ, что это понятіе не можетъ быть выведено изъ опыта и слѣдоват. есть умозрительное, то ему кажется, что этимъ все сдѣлано. Между тѣмъ невольно является мысль, что полемика съ эмпириками или реалистами есть дѣло бесплодное; во всякомъ случаѣ они не пойдутъ за авторомъ въ его розысканіяхъ, ибо, какъ справедливо замѣтилъ авторъ, хотя нелегко устранить *Критику чистаго разума* Канта, однако эмпирики и не думаютъ устранить, а просто игнорируютъ ее, и разсуждаютъ такъ, какъ бы Кантъ вовсе не существовалъ. Интересъ же самаго дѣла требовалъ иѣсколько большаго, чѣмъ опроверженіе за-вѣдомо несостоятельныхъ эмпирическихъ взглядовъ.

Указанная выше неясность въ изложениіи понятія объ умозрѣніи имѣетъ впрочемъ и другое основаніе, лежащее въ самомъ существѣ дѣла, въ трудности предмета, о кото-ромъ идетъ рѣчь. Попытаемся однако, насколько возможно, выяснить сущность дѣла.

Прежде всего несомнѣнно, что самъ по себѣ умъ не можетъ быть наблюдающимъ ни себя, ни что либо другое. Наблюдаемъ мы только посредствомъ чувствъ—вишнюю дѣйствительность посредствомъ виѣшнихъ чувствъ, душев-ные явленія, происходящія въ насъ,—при посредствѣ вну-тренняго чувства. Умъ самъ по себѣ мыслить, а не наблю-даетъ. Такъ называемое интеллектуальное созерцаніе Шел-линга—неудавшаяся мечта. Кантъ справедливо отрицаѣ возможность для насъ такого созерцанія. Созерцаніе воз-можна только чувственное. Потому то мистики, коль скоро ссылаются на умственное созерцаніе, то для выраженія своихъ идей, съ цѣллю придать имъ характеръ предметовъ созерцаемыхъ, пользуются подобіями, образами, заимство-ванными изъ чувственного наблюденія. Итакъ когда г. Чи-черинъ выражается, что разумъ дѣлается наблюдающимъ себя, то это даетъ совершенно ложное понятіе объ умѣ; да и самъ онъ, какъ мы видѣли, отрицаѣтъ возможность вы-водить законы разума изъ наблюденія. Смѣщеніе наблюде-

нія съ умозрѣніемъ или мышленіемъ ведеть къ двумъ про-  
тивоположнымъ крайностямъ, въ своей исключительности  
равно несостоятельнымъ: или объекты наблюденія превра-  
щаются въ понятія мыслимыя и вся дѣйствительность на-  
блюдаемая рассматривается какъ развивающейся изъ себя  
процессъ мысли (Гегель), или наоборотъ,—идеи, мысли, по-  
нятія превращаются въ факты наблюдаемые, въ перемѣны  
объективно происходящія, въ иѣчто чуждое и постороннее  
для мыслящаго ума, и вслѣдствіе того изъясненіе дѣлается  
простымъ описаніемъ послѣдовательности и совмѣстности  
явленій (матеріализмъ). Идеализмъ крайній знаетъ одну лишь  
внутреннюю связь, и ее лишь признаетъ дѣйствительную;  
матеріализмъ, напротивъ, повсюду находитъ лишь виѣшнее  
механическое сцѣпленіе фактовъ или явлений. Поэтому когда г. Чичеринъ говоритъ, что „наблюдающій (внутрення  
душевныя состоянія) самъ принадлежитъ къ числу душев-  
ныхъ явлений“ (стр. 13), то подобнымъ образомъ могъ бы  
выразиться только реалистъ, для которого дѣйствительно и  
самый разумъ есть только явленіе въ ряду другихъ явле-  
ній. Какимъ образомъ умъ можетъ познавать другія явленія  
и уразумѣвать общее во всемъ, если самъ онъ есть не болѣе  
какъ явленіе (слѣдов. частное иѣчто), въ ряду другихъ яв-  
леній?

Но если разумъ не можетъ наблюдать себя и своихъ  
дѣйствій, то какъ же онъ познаетъ себя, а равно и свои  
дѣйствія? Не иначе какъ чрезъ мышленіе, а такъ какъ здѣсь  
мышленіе относится не къ фактамъ, доступнымъ наблюде-  
нію, а къ собственнымъ дѣйствіямъ, къ дѣйствіямъ ума,  
совершенно не наблюдаемымъ, то мышленіе, познающее дѣй-  
ствія или законы ума, по справедливости можетъ быть на-  
звано чистымъ въ отличіе отъ того же мышленія, но занятого  
фактами, данными чрезъ опытъ. Въ этомъ именно  
смыслѣ Кантъ различаетъ сознаніе чистое, или сверхчув-  
ственное (трансцендентальное), предметомъ котораго слу-  
житъ a priori данныхыя формы и законы познанія, отъ эмпи-

рическаго сознанія, имѣющаго дѣло съ различными состояніями и перемѣнами, происходящими въ душѣ. Мышленіе можетъ быть названо чистымъ въ томъ же смыслѣ, какъ говорить о чистой математикѣ. Оно есть чистое, насколько содержаніемъ его служать собственные его законы и формы дѣятельности. Итакъ понятно, что должно разумѣть подъ умозрѣніемъ. Умозрѣніе есть такое дѣйствіе мышленія, посредствомъ котораго познаются собственно ему принадлежащи, свойственны нашему уму, законы и формы дѣятельности. Само собою разумѣется, что вначалѣ дѣятельность нашего мышленія обнаруживается въ прикладномъ видѣ, т. е. въ примѣненіи къ предметамъ и явленіямъ опыта, и потому уже мы приходимъ къ сознанію самыхъ формъ и способовъ этой дѣятельности въ ихъ чистомъ видѣ. Ибо необходимо прежде всего, чтобы дѣятельность мышленія проходила, совершилась, и тогда уже возможно познаніе ея, а условіемъ къ возбужденію ея всегда служить какое либо виѣшнее воздействиѣ. Однакожъ это не значитъ, что виѣшнія воздействиа создаютъ и саму дѣятельность ума, что отъ нихъ происходятъ формы и способы этой дѣятельности (какъ полагаютъ эмпиріки, напр. Спенсеръ, который утверждаетъ, что идеи, понятія, вообще проявленія умственныхъ составляютъ одинъ изъ многихъ видовъ внутреннихъ приспособленій организма къ виѣшнимъ воздействиимъ окружающей среды, ибо вообще жизнь, по Спенсеру, есть определенное комбинирование разнородныхъ внутреннихъ перемѣнъ одновременныхъ и послѣдовательныхъ въ соотвѣтствіи съ виѣшними воздействиими также совмѣстными и послѣдовательными). Формы и способы дѣятельности мышленія имѣютъ самостоятельное значеніе, какъ это видно изъ того, что мы пользуемся ими въ примѣненіи ко всѣмъ возможнымъ предметамъ и фактамъ; слѣдоват. въ своемъ дѣйствіи и существованій они не связаны необходимо ни съ какими фактами и предметами, служащими только средствомъ къ ихъ обнаруженню. Виѣшнія воздействиа на нашъ

умъ, какъ говорить Аристотель, только по времени, но не по существу ему предшествуютъ.

Такъ какъ предметомъ умозрѣнія могутъ быть только дѣйствія нашего ума, то основная ошибка идеалистической философіи послѣ Канта состояла не въ томъ, что она пользовалась умозрѣніемъ, а въ томъ, что этотъ способъ познанія, имѣющій мѣсто лишь въ отношеніи къ проявленіямъ умственной дѣятельности, хотѣла сдѣлать всеобщимъ, распространить на всю познаваемую дѣйствительность; и такъ какъ умозрѣніе, относясь непосредственно къ дѣятельности умственной, какъ своему предмету, прямо совпадаетъ съ этою дѣятельностью, развиваясь вмѣстѣ съ нею, то и по отношенію ко виѣшней дѣйствительности, познаваемой чрезъ опытъ, требовали такого же непосредственнаго совпаденія познанія съ познаваемымъ, такъ чтобы познаніе было раскрытиемъ внутренняго процесса самообразованія или самоосуществленія познаваемой дѣйствительности, что очевидно невозможно. Должно однако замѣтить, что такъ какъ умъ есть необходимое орудіе и дѣятель всякаго познанія, то посему мы не можемъ не предполагать аналогіи между дѣйствіями нашего ума и законами виѣшней дѣйствительности, т. е. что и во виѣшнемъ мірѣ должна быть разумность, но раскрытие этой идеи, и оправданіе этой вѣры возможно не иначе, какъ при посредствѣ опытнаго изученія вещей.

Посмотримъ теперь, въ чёмъ состоитъ и какъ далеко простирается область умозрительного познанія.

## II.

Прежде всего чрезъ умозрѣніе мы познаемъ законы мышленія. Поэтому г. Чичеринъ, обозрѣвая умозрительное познаніе, сначала останавливается на законахъ мышленія, доказывая, что познаніе законовъ мышленія не можетъ быть приобрѣто изъ опыта и что только посредствомъ умозрѣнія оно можетъ быть дано. Но какъ ни убѣдительны его

доводы, и какъ ни вѣренъ его общій взглядъ на дѣло, нельзя однако же оставить безъ вниманія, въ интересѣ самаго дѣла, слѣдующаго высказаннаго имъ замѣчанія. Говоря о законѣ причинности, онъ замѣчаетъ, что „не только человѣкъ, но и животныя безсознательно руководствуются этимъ закономъ, когда ищутъ вѣшнихъ причинъ своихъ впечатлѣній“; (стр. 29). Если животныя руководствуются закономъ причинности, то отъ чего же не признать вмѣстѣ съ тѣмъ, что и законъ тождества не чуждъ ихъ уму;—узнаетъ же собака своего хозяина между множествомъ другихъ людей и въ разное время даже по прошествіи значительного времени. Но законы мышленія умозрительны. Поэтому не слѣдуетъ ли признать далѣе, что и животныя также способны къ умозрѣнію? Но съ этимъ едва ли согласится авторъ книги *Наука и ремесла*. Или быть можетъ законы мышленія эмпирическаго происхожденія, т. е. суть не болѣе какъ умственные навыки, образовавшіеся постепенно, втечевіе длиннаго ряда вѣковъ, и перешедшіе къ намъ по наслѣдству отъ предковъ (какъ полагаютъ новѣйшия эмпирики, послѣдователи Дарвина)? Но и съ этимъ предположеніемъ, должно думать, авторъ не согласится. Не различаются ли животныя отъ насъ тѣмъ, что они не сознаютъ законовъ, управляющихъ дѣйствіями ихъ ума? Въ такомъ случаѣ мы должны будемъ приравнять животныхъ въ умственномъ отношеніи къ дикарямъ, дѣтямъ и вообще людямъ, лишеннymъ всякаго умственнаго образования. Но и дѣти обнаруживаютъ чувство изумленія при видѣ нового какого либо предмета, и вообще при переменѣ впечатлѣній, а чувство изумленія само въ себѣ какъ бы заключаетъ вопросъ о причинѣ (потому то въ древности изумленіе считали зародышемъ философіи, а въ новое время Декартъ различалъ чувство удивленія отъ всѣхъ другихъ аффектовъ какъ чувство теоретическое); между тѣмъ у животныхъ мы никогда не замѣчаемъ этого чувства. Итакъ приходится отвергнуть приведенное выше замѣчаніе г. Чичерина о законѣ причинности, правда

всюльзъ высказанное, но неизбѣжно порождающее такія заключенія и предположенія, съ которыми, безъ сомнѣнія, и г. Чичеринъ не согласится. Точно ли животныя способны искать причинъ своихъ впечатлѣній? Когда собака, видя поднятую на нее палку, убѣгаетъ, то значитъ ли это, что палка для нея есть причина способная произвести извѣстное непріятное для нея дѣйствіе? Очевидно, нельзя никакъ допустить подобное предположеніе. Ибо еслибы собака со-знавала, что палка есть причина, могущая оказать извѣстное дѣйствіе, тогда ею руководило бы разсужденіе, и эта именно мысль о палкѣ, какъ причинѣ, побуждала бы ее убѣгать; на самомъ же дѣлѣ здѣсь дѣйствуетъ не мысль, не разсужденіе, а простая, привычная для собаки ассоціація впечатлѣній, чѣмъ во многихъ случаяхъ руководимся даже мы люди, а не только животныя. Убѣдиться въ этомъ не трудно. Что значитъ созывать причину извѣстнаго дѣйствія, или явленія? Это значитъ знать способъ, какимъ это дѣйствіе или явленіе производится; покрайней мѣрѣ во многихъ случаяхъ это такъ; когда же такого знанія нѣтъ, тогда мы и не можемъ сказать, что вполнѣ знаемъ причину. Коль скоро же мы знаемъ способъ, какимъ производится извѣстное дѣйствіе, тогда и сами мы можемъ произвести тоже дѣйствіе, конечно если оно не превышаетъ нашихъ силъ. Но можетъ ли собака сама сдѣлать ударъ палкою, или вообще произвести какое бы то ни было непривычное для нея дѣйствіе? Между тѣмъ если бы она что нибудь представляла какъ причину, то она эту причину могла бы привести въ дѣйствіе. По справедливому замѣчанію Бэкона причина въ теоріи становится принципомъ дѣйствія на практикѣ. Не законами мышленія управляются дѣйствія животныхъ, а единственno законами ассоціаціи впечатлѣній; послѣдніе, какъ сказано выше, имѣютъ власть также и надъ человѣкомъ, но здѣсь сознательно или безсознательно въ значительной степени видоизмѣняются законами мышленія. Такъ, всикій разъ когда человѣкъ предначетываетъ извѣстный планъ дѣйствій,

опредѣляетъ цѣли для себя, расчитываетъ на известные средства и способы достижения предположенныхъ цѣлей, то во всѣхъ подобныхъ случаяхъ дѣйствуютъ законы мышленія, хотя бы человѣкъ при этомъ и не сознавалъ въ себѣ этихъ законовъ. Животный же, какъ мы видимъ на опытѣ, никогда не обнаруживаютъ такой способности полагать для себя опредѣленную цѣль и избирать для достижения ея известныя средства, т. е. дѣйствовать по плану, преднамѣренно; иначе,—они также могли бы измѣнять и свои намѣренія и способы своихъ дѣйствій, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ что они дѣлаютъ, всегда дѣлаютъ одинаково, с.д. безъ разсужденія, инстинктивно.

Такъ какъ лишь понятіе причинности даетъ намъ возможность уразумѣвать и воспроизводить тѣ дѣйствія и явленія, которыхъ мы можемъ наблюдать, между тѣмъ какъ животныя, не имѣя означенаго понятія, поэтому и не въ состояніи сознательно воспроизвоить тѣхъ дѣйствій, которыхъ они видятъ предъ собою, то ясно, что законъ причинности есть первообразъ всякаго дѣйствія; ибо законъ этотъ означаетъ способъ дѣятельности нашего мышленія, а какъ чрезъ понятіе причинности, выражающее этотъ способъ, мы познаемъ или мыслимъ всякое другое дѣйствіе, всякое явленіе, то слѣдовательно дѣятельность мышленія есть для насъ первообразъ всякой дѣятельности. И дѣйствительно, все мы дѣлаемъ съ мыслю, т. е. въ мысли нашей напередъ опредѣлено, какъ именно намъ дѣлать то или другое; равнымъ образомъ, если для насъ познаемы причины вещей, т. е. способы происхожденія наблюдаемыхъ явленій, то познаемы настолько, насколько мы мысленно можемъ прослѣдить весь процессъ происхожденія этихъ явленій. Но въ чёмъ же состоить способъ дѣятельности мышленія, обозначаемый понятіемъ причинности? Мышеніе есть дѣятельность, состоящая въ образованіи понятій. Всякое понятіе необходимо должно имѣть характеръ строгаго единства, и потому дѣятельность

мышленія прежде всего есть дѣятельность объединяющая; — отсюда законъ тождества, требующій мыслить всякой предметъ какъ единое, тождественное, выражаетъ эту именно черту мыслящей дѣятельности. Но хотя въ каждомъ понятіи, какъ произведеніи ума, обнаруживается вполнѣ характеръ умственной дѣятельности, и если самая непосредственная внутренняя связь существуетъ, такимъ образомъ, между дѣятельностью мышленія и ея проявленіями, однако въ тоже время всегда сознается вами различіе между самою дѣятельностью мышленія, какъ силою производительною, и понятіями, какъ продуктами мышленія; отсюда — законъ причинности, выражающей это именно различіе въ единствѣ; дѣятельность мышленія есть, такимъ образомъ, не только объединяющая, но и раздѣляющая. Итакъ только тогда для насъ вполнѣ понятно происхожденіе извѣстнаго явленія отъ извѣстной причины, когда мы усматриваемъ между причиною и ея дѣйствіемъ столь же тѣсную, внутреннюю связь, какая сознается нами между мышленіемъ и его продуктами, т. е. понятіями, которыхъ мы мыслимъ. Всякій разъ когда единство, связь одного явленія съ другими соизуствующими ему явленіями для насъ неочевидны, тогда мы и не вправѣ утверждать причинное между ними отношеніе, или покрайней мѣрѣ причинная связь тогда для насъ непонятна. Такъ какъ понятно для насъ лишь то, въ чёмъ мы усматриваемъ внутреннюю связь одного изъясняемаго явленія съ другимъ и гдѣ, такимъ образомъ, оказывается единство, то вотъ почему стремление понять, уразумѣть познаваемую нами дѣятельность всегда приводило къ мысли, что одно начало, одна причина повсюду дѣйствуетъ и все связываетъ собою въ одно цѣлое, хотя съ другой стороны дѣятельность мышленія, какъ сказано, есть не только объединяющая, но и раздѣляющая, а потому наряду съ единствомъ необходимо также имѣть въ виду существующее повсюду раздѣленіе, различіе.

Можно конечно спросить, чѣмъ обусловливается эта

дѣятельность мышленія объединяющая и вмѣстѣ раздѣляющая, но на этотъ вопросъ не можетъ быть отвѣта, ибо мы можемъ спрашивать о причинѣ чего бы то нибыло, но только не о причинѣ разума, (можно спрашивать только о причинѣ ограниченности и слѣд. ограниченна разума, а не просто разума: какая причина того, что  $2 \times 2 = 4$ , а не 5, что истина есть истина, а не ложь?). Ибо и все другое настолько удовлетворительно объясняется для ласть, насколько согласно съ разумомъ. Вотъ почему, если Кантъ утверждаетъ, что первоначальное условіе объединяющей дѣятельности мышленія заключается въ единствѣ сознанія, то противъ этого можно замѣтить, что или единство сознанія слѣдуетъ различать отъ единства свойственнаго мышленію, и тогда о единствѣ сознанія также можно спросить, чѣмъ оно обусловливается; или же единство сознанія тоже, что и единство мышленія, и тогда объяснить одно другимъ значитъ объяснить мышленіе самимъ же мышленіемъ.

Вообще все наше познаніе обусловливается наблюденіемъ и мышленіемъ, а потому, или все мыслимое, какъ и самое мышленіе, должно изъяснять изъ фактовъ наблюдавшихъ, или наоборотъ, факты должно изъяснять посредствомъ того, что мыслимо; но само собою очевидно, что фактъ и есть именно то, что всегда требуетъ объясненія. Впрочемъ, можно еще объяснить одни факты изъ другихъ. Но если мы выводимъ одинъ фактъ изъ другаго такимъ образомъ, что считаемъ одинъ причиной другаго, то это значитъ, что мы усматриваемъ между ними *внутреннюю связь*, которая требуется нашимъ умомъ, и въ такомъ случаѣ это будетъ объясненіе рациональное, т. е. не фактъ будетъ объяснить другой фактъ, а то, что связываетъ факты между собою и одинъ фактъ дѣлаетъ причиной другаго, что мы называемъ напр. силою (а сила есть понятіе разума, а не фактъ, т. е. иѣчто наблюдалось); и притомъ, объясненіе наше будетъ полнымъ, удовлетворительнымъ только тогда, если сила предполагаетъ

мая, или мыслима, окажется разумною, т. е. действующею цѣлесообразно. Если же между фактами нѣтъ никакой связи, тогда одинъ не можетъ служить къ объясненію другаго.

Вообще, разумъ для себя не требуетъ никакого объясненія, ибо самъ служитъ орудіемъ объясненія, и потому мышленію нашему необходимо и непосредственно присуще убѣжденіе, что существующій въ мірѣ порядокъ вещей долженъ быть согласенъ съ законами разума. Этотъ разумный, т. е. цѣлесообразный порядокъ вещей, невольно предполагаемый нами повсюду въ мірѣ, который вмѣстѣ съ тѣмъ невольно возводить нашу мысль къ своему Виновнику, проявляется и въ инстинктѣ животныхъ; и только въ этомъ смыслѣ можно сказать, что животныя управляются закономъ причинности, т. е. дѣйствуютъ цѣлесообразно, именно такъ, какъ бы обладали разумомъ; не разумъ, а только разумность есть принадлежность животныхъ, какъ и всего того, въ чемъ проявляется цѣлесообразность. Въ этомъ смыслѣ нельзя не признать слѣдующ. разсужденія г. Чичерина хотя и выраженного недостаточно ясно. „То что мы назвали про-сѣйшими элементами физического и духовнаго міра, говорить онъ, простое вещества и чистая мысль составляютъ двѣ противоположныя крайности, изъ которыхъ слагается все мірозданіе. Первое представляетъ элементъ частный, второе элементъ отвлеченнообщий. Одинъ преобла-даетъ въ физическомъ мірѣ, другой въ мірѣ духовномъ. Но какъ частное не можетъ существовать безъ общаго, такъ и общее не можетъ существовать безъ частнаго“...; (стр. 16-я).

Кромѣ логики, изучающей законы и формы мышленія, къ области умозрительного знанія относится еще математика.

Предметомъ математического знанія служитъ во первыхъ число. Что же такое число? Число, по опредѣленію г. Чичерина, есть известный способъ умственнаго, а не фи-

зического сочетанія (противъ Милля, который полагалъ, что числа означаютъ не что либо отвлеченное, а собранія известныхъ предметовъ), и какъ способъ умственного сочетанія, какъ чисто логическое дѣйствіе, оно прилагается ко всѣмъ безъ исключенія представлениямъ разума. (Стр 42). Еще въ древности единое и многое считали элементами числа, т. е. въ понятіе числа входитъ не только соединеніе, но и раздѣленіе. И это понятво, ибо то и другое суть необходимыя дѣйствія мышленія. Поэтому приведенное опредѣленіе числа нужно признать неполнымъ. Впрочемъ и само по себѣ понятіе о числѣ, какъ *сочетаніи*, уже предполагаетъ *раздѣленіе*, ибо сочетать можно только раздѣленное. Число тѣмъ различается отъ пространства (другой предметъ математического знанія), что оно всегда есть величина дробная, между тѣмъ какъ пространство всегда есть величина непрерывная. Это значитъ, что число не допускаетъ полнаго, совершенного соединенія, такъ чтобы не было никакого раздѣленія между элементами соединенія, т. е. единицами; напротивъ пространство не допускаетъ полнаго *раздѣленія*, т. е. такого, чтобы между отдельными пространственными частями не было вовсе промежутка. Итакъ и единое и многое, и соединеніе и раздѣленіе, равно входятъ въ понятіе числа. Ибо единое мыслимо только какъ противоположность многаго, а не само по себѣ, равно какъ и многое безъ единаго не мыслимо. Число есть синтезъ единаго и многаго: въ немъ есть и единство, ибо всѣ исчисляемыя единицы, какъ единицы, равны, есть и множество, ибо не смотря на равенство, единицы должны быть различаемы, дабы образовалось опредѣленное число. Число, слѣдовательно, выражаетъ просто логическія дѣйствія *соединенія* и *раздѣленія*, дѣйствія, которыя могутъ быть выражаемы и отвлеченно, и въ применении ко всѣмъ возможнымъ предметамъ опыта и понятіямъ умственнымъ. Такъ какъ число есть синтезъ единаго и многаго, то каждую единицу можно рассматривать какъ цѣлое, которое допускаетъ дальнѣйшее дѣленіе на части;

абсолютное единство не мыслимо. Поэтому напрасно г. Чичеринъ хочетъ доказать независимость отъ опыта понятія о числѣ тѣмъ, что „ни външній, ни внутренній опытъ не даетъ намъ ничего чисто единаго“; (стр. 43). Съ другой стороны, такъ какъ въ понятіе числа входатъ соединеніе и раздѣленіе, а соединеніе и раздѣленіе суть такія дѣйствія, которымъ могутъ быть продолжаемы (мысленно) безъ конца, то безконечное число въ собственномъ смыслѣ, въ смыслѣ положительномъ, невозможно. Дѣйствительно безконечное было бы такое число, къ которому ничего нельзя было бы прибавить, а такое число не мыслимо; или иначе: дѣйствительно безконечное есть такое число, которое должно оставаться одинаково безконечнымъ какъ прежде дальнѣйшаго своего увеличенія (которое всегда возможно), такъ и послѣ онаго,—следоват. есть понятіе противорѣчапшее Поэтому трудно согласиться съ г. Чичериномъ, что безконечное есть понятіе положительное, а не отрицательное (стр. 49); на самомъ дѣлѣ безконечное математическое просто состоить лишь въ отрицаніи всякаго ограниченія, всякаго конца.

Другой предметъ математического познанія есть *пространство*. Пространство, говоритъ г. Чичеринъ, не есть представленіе извлеченнное изъ опыта, а *прирожденное*. Всѣ эмпирическія объясненія этого представленія (т. е. выводы изъ комбинаціи тѣхъ или иныхъ ощущеній), по мнѣнію г. Чичерина, всегда предполагаютъ то, что требуется объяснить, и слѣд. не достигаютъ своей цѣли. Но это означаетъ только то, что представленіе пространства есть первичное, связанное со всѣми другими представленіями, но не доказывается никакою врожденности этого представленія.—И можетъ ли быть какое бы то ни было представленіе врожденнымъ? Всякое представленіе зависито отъ чувствъ и можетъ быть дано только когда дѣйствуютъ чувства. Скажутъ, что всякое эмпирическое представленіе случайно, но и представленіе пространства не заключаетъ въ себѣ никакой внутренней необходимости, ибо никакой иѣть необходимости,

чтобы пространство имѣло три измѣрения и не болѣе<sup>1</sup>); представление пространства необходимо лишь въ томъ смыслѣ, что оно соединено со всякимъ другимъ представлениемъ изъ вѣдьмого опыта, но это показываетъ только, какъ замѣчено выше, что представление пространства есть первоначальное.

Всѣ эмпирическія объясненія того, какъ происходитъ представление пространства, еще въ томъ отношеніи неудовлетворительны, что ими нисколько не объясняется проекція, т. е. почему мы предметы видимъ не въ себѣ, а вѣдь себя,—почему ощущенія происходящія въ нась мы относимъ къ вещамъ находящимся вѣдь нась (стр. 45). Ощущенія, изъ которыхъ хотятъ выводить представление пространства, въ нась находятся. Пространство же мы созерцаемъ не въ себѣ, а вѣдь нась. „Очевидно,—таковъ выводъ г. Чичерина,—что этотъ актъ сознанія (проекція) не можетъ быть объясненъ иначе какъ прирожденнымъ свойствомъ. Представление пространства есть общая форма, которую познающій умъ связываетъ разнообразіе впечатлѣній“ (стр. 47). Нельзя не замѣтить противъ этого, что и прирожденность представления пространства также не объясняетъ проекціи, ибо какъ прирожденное оно въ нась находится, тѣмъ болѣе, если, какъ утверждаетъ г. Чичеринъ, представление пространства есть умозрительное. И самъ онъ говоритъ: „получаемыя нами впечатлѣнія, по которымъ мы судимъ о вещахъ, заключаются въ субъектѣ, или познающемъ разумѣ, который составляетъ общую форму для этого разнообразнаго материала; когда же эти впечатлѣнія полагаемъ вѣдь себя какъ окружающій нась миръ, мы вмѣстѣ съ ними и эту форму полагаемъ вѣдь себѣ“ (стр. 49). Очевидно отсюда, что утверждаемая авторомъ прирожденность представления пространства также не объясняетъ проекціи. И животный также

<sup>1</sup>) Дольнеръ напр. старается доказать въ выдахъ объясненія нѣкоторыхъ спиритическихъ опытовъ, что необходимо допустить четвертое измѣрение пространства.

относять получаемые ими впечатлѣнія къ вѣшнимъ предметамъ. Поэтому и животнымъ также прирождено представление пространства? И дѣйствительно Авторъ признаетъ это. А такъ какъ представление пространства, по его мнѣнию, есть умозрительное, то вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ признать также, что и животные обладаютъ умозрительными представлениями. Но съ такимъ выводомъ очевидно ужъ никакъ нельзя согласиться. Не заключается ли объясненіе проекціи въ законѣ причинности? „Очевидно, что приспособленіе этой общей формы (пространства) къ частному разнообразію впечатлѣній можетъ потребовать болѣе или менѣе значительного опыта. У животныхъ, у которыхъ эти дѣйствія совершаются силою прирожденчаго и почти вѣрнаго инстинкта, приспособленіе происходитъ разомъ...; у человѣка же, у котораго разумъ преобладаетъ надъ инстинктомъ, на это требуется время; могутъ быть и ошибки“.

47—48 стр. Если дѣти постепенно научаются относить впечатлѣнія къ вѣшнимъ предметамъ, причемъ бываютъ и ошибки, то не показываетъ ли это, что приспособленіе не формы пространства къ впечатлѣніямъ, а впечатлѣній и дѣйствій возбуждаемыхъ ими къ предметамъ происходитъ у нихъ не безъ участія субъективнаго разума съ присущими ему законами, между тѣмъ какъ животнымъ тоже самое дается безъ труда и усилий, слѣдоватъ, безъ всякаго дѣятельнаго участія ихъ субъективнаго сознанія.

Всѣ доказательства, приводимыя Авторомъ книги *Наука и религія* въ пользу предположенія его о врожденности представления пространства убѣждаютъ въ противномъ. Такъ онъ говоритъ: „если мы имѣемъ уже представление о пространствѣ, мы можемъ распределить въ немъ качественно различные ощущенія“ (ст. 47). Непонятно какимъ образомъ, имѣя представленіе пространства, мы можемъ распределить въ немъ ощущенія. Пространство имѣеть три измѣренія; поэтому лишь такое распределеніе слѣдуетъ изъ представления пространства, что одни вещи мы представляемъ рас-

положенными въ высоту, другія въ ширину или глубину; но что одна вещь находится въ томъ или иномъ мѣстѣ, въ такомъ или иномъ разстояніи относительно другихъ,—это никакъ не вытекаетъ изъ представлія пространства. „Если бы эта форма не была прирождена, если бы въ самомъ умѣ не было связующаго начала, то впечатлѣнія вѣчно оставались бы безсвязными“. Какъ будто связь впечатлѣній опредѣляется единственно пространственными отношеніями. Связь пространственная есть чисто вицѣальная и случайная, а потому такая связь не есть умозрительная, а чувственно со-зертательная. Вотъ почему и Кантъ училъ, что пространство есть форма чувственного созерцанія, а не форма пониманія, или умозрѣнія. Какъ форма чувственного созерцанія пространство можетъ быть дано только въ актѣ чувственного созерцанія и имъ условливается. Но если представление пространства слѣдуетъ признать въ этомъ смыслѣ даннымъ, хотя и первоначально, путемъ опыта, то геометрія тѣмъ не менѣе есть наука умозрительная, а не опытная. Геометрія представляетъ наиболѣе общее и отвлеченнѣе примѣненіе законовъ мышленія къ чувственному созерцанію, ибо предметомъ такого примѣненія служить здѣсь не тотъ или иной предметъ данный въ опытѣ, а общая форма созерцанія опытныхъ объектовъ, или же совокупность возможныхъ пространственныхъ отношеній, *a priori* выводимыхъ изъ представлія пространства. Такъ какъ элементы, входящіе въ составъ этого представлія, крайне несложны (пункты, линіи, поверхности) и однообразны, то поэтому коль скоро дано представление пространства,—а представление это образуется прежде всякихъ другихъ сознательныхъ и частныхъ представлений и затѣмъ остается неизменнымъ,—мы уже не имѣемъ нужды въ опыте для определенія и изслѣдованія свойствъ разнообразныхъ комбинацій этихъ элементовъ. Г. Чичеринъ не соглашается однако признать представление пространства отвлеченнымъ. „Путемъ отвлечения отъ видимыхъ предметовъ, говоритъ онъ, мы мо-

жемъ получить только представление о протяженіи, какъ общемъ свойствѣ вещей, а никакъ не о пространствѣ, заключающемъ въ себѣ вещи"; (49 стр.) Но чѣмъ же различается протяженіе отъ пространства, заключающаго въ себѣ вещи? Пространство не есть развѣ протяженіе въ трехъ различныхъ направленіяхъ, а такое протяженіе развѣ не можетъ быть представлено какъ заключающее въ себѣ вещи? Представление пространства есть отвлеченное въ томъ смыслѣ, что оно можетъ быть разсматриваемо и дѣйствительно рассматривается въ геометріи само по себѣ, безъ отношенія къ вещамъ въ немъ находящимся. Потому то геометрическій построениіи и опредѣленія имѣютъ идеальный характеръ, ибо въ дѣйствительности нѣтъ такого круга, радиусы которого были бы совершенно равны, нѣтъ и не можетъ быть такой линіи, которая имѣла бы въ строгомъ смыслѣ одно только измѣреніе въ длину, нѣтъ поверхности, которая имѣла бы только два измѣренія въ длину и ширину и нѣтъ пункта безъ всякихъ измѣреній<sup>1)</sup>.

---

1) Въ одномъ недавно вышедшемъ философскомъ сочиненіи, где между прочими подробно изслѣдуется вопросъ о происхожденіи и значеніи представлений числа, пространства, времени,—такъ опредѣляются пунктъ, линія и поверхность: пунктъ есть граница (числами) послѣдовательныхъ уменьшенній линій (следоват. не есть нѣчто данное, существующее; онъ не есть безконечно малая часть пространства, ибо какъ бы ни была мала часть пространства, можно допустить еще меньшее количество, а пунктъ не можетъ быть уменьшеннъ, онъ не есть также очень малое протяженіе, ибо протяженіе какъ бы малошибко, можетъ быть раздѣлено, а пунктъ недѣлимы). Равнымъ образомъ линія есть граница послѣдовательныхъ уменьшенній поверхности, а поверхность—граница послѣдовательныхъ уменьшенній тѣла. *La science positive et la metaphysique* par Louis Liard. Paris. 1879. p. 11.

## ДІАЛЕКТИКА И ЛОГИКА.

(Наука и религія Б. Чичерина. Москва 1879 г.).

---

Діалектика, говорить г. Чичеринъ, составляетъ верховную філософскую науку, связывающую и объясняющую всѣ остальные. Такое значеніе діалектики объясняется тѣмъ, что она, по мнѣнію г. Чичерина, выводить общія качественные начала (и въ этомъ отличіе ея отъ математики, предметомъ которой служать количественные отношенія), которыми связывается все разнообразіе реальныхъ качествъ, и такимъ образомъ даетъ единство человѣческому знанію (стр. 58).

Можно подумать, что г. Чичеринъ заимствовалъ свой взглядъ на діалектику у Платона, известного греческаго філософа—такъ близко подходитъ этотъ взглядъ къ понятію Платона о томъ же предметѣ. Г. Чичеринъ діалектику сопоставляетъ съ математикою, очевидно признавая и ту и другую науками, имѣющими по преимуществу рациональный априорический характеръ, различие же между ними полагая, какъ сказано, въ томъ, что математика изслѣдуетъ количественные отношенія, а діалектика опредѣляетъ качественные начала, по выражению г. Чичерина. Совершенно также и Платонъ понималъ отношеніе между математикою и діалектикою. Извѣстно, что піеагорейцы, філософія которыхъ вошла въ філософскую систему Платона какъ одинъ изъ важнейшихъ ея элементовъ, сущность вещей полагали

въ числахъ, и оттого математику считали не только универсальною, но и самою полною, совершенною наукой о бытии вещей. Платонъ не могъ этого признать. Помѣщая числа—количественные отношения вещей—между міромъ текущихъ, измѣнчивыхъ чувственныхъ явленій, о которыхъ точное познаніе не возможно, и истинно сущимъ, неизмѣнно пребывающимъ, которое постигается лишь умомъ, Платонъ, соответственно этому, придавалъ изученію математики лишь второстепенное значеніе, считая его средствомъ къ дальнѣйшему образованію собственно философскому, которое должно состоять въ изученіи діалектики. Если математика изслѣдуется количественные отношения вещей, составляющая неизмѣнное въ измѣняемомъ, то діалектика состоить въ томъ, чтобы находить принципы качественныхъ различій, лежащіе въ всего подверженаго измѣненію. Посему не математика, какъ полагали піеагорейцы, а діалектика есть, по Платону, верховная философская наука, которая объединяетъ собою всѣ другія; Платонъ сравниваетъ діалектику съ прометеевымъ огнемъ, похищеннымъ съ неба. Діалектика—это сама философія, саѣд. самое высшее созданіе и вмѣстѣ обнаружение разума.

Но хотя такимъ образомъ взглядъ г. Чичерина на діалектику совершенно сходится со взглядомъ Платона, тѣмъ не менѣе нельзя сказать, что г. Чичеринъ заимствовалъ свой взглядъ на діалектику у Платона. Въ этомъ случаѣ онъ является послѣдователемъ не Платона, а Гегеля. Недаромъ же діалектику Гегеля сравниваютъ съ діалектикою Платона. Сходство понятій у обоихъ этихъ философовъ о діалектике не должно казаться удивительнымъ, такъ какъ діалектика во всѣ времена понималась въ существѣ дѣла одинаково.

Къ сожалѣнію г. Чичеринъ не даетъ вполнѣ отчетливаго понятия о діалектике, не смотря на то, что разсмотрѣнію этого предмета посвящена особая глава въ его книгѣ. Повидимому онъ и не имѣлъ въ виду изложить полное понятіе о діалектике, такъ какъ наибольшее онъ озабо-

чень тѣмъ, чтобы отстоять достоинство діалектики и защи-  
тить ее противъ возраженій. Поэтому, дабы имѣть, при-  
томъ же, руководящую нить въ послѣдующихъ критиче-  
скихъ замѣчаніяхъ,—считаемъ не лишнимъ и даже необхо-  
димымъ сдѣлать нѣсколько указаний относительно про-  
исхожденія и дальнѣйшей судьбы діалектики.

I.

Діалектика есть искусство, которое, подобно другому  
родственному съ нею искусству ораторскому, получило на-  
чало свое въ древней Греціи. Связь этихъ двухъ искусствъ  
была такова, что на діалектику смотрѣли какъ на искусство  
внутренняго слова,—т. е. мышленія, противополагая ее ре-  
торикѣ какъ искусству вышняго слова. Отсюда греч. слово  
*λόγος* впослѣдствіи означало не только слово, рѣчь, языкъ,—  
таково первоначальное значеніе этого слова,—но также  
мысль, разумъ, сужденіе. Согласно съ этимъ мышленіе, по  
определѣнію Платона, есть нечто иное, какъ внутренній  
разговоръ, съ которымъ душа обращается къ себѣ самой.  
Тѣ же самые софисты, которые обучали діалектическому  
искусству, преподаватели также и искусство составленія и  
произнесенія рѣчей судебныхъ и политическихъ. Различіе  
между діалектическою и ораторскою рѣчью, съ виѣшней  
стороны, состояло въ томъ, что рѣчь ораторская—моноло-  
гическая, напротивъ діалектическая рѣчь всегда была діало-  
гической, собесѣдовательной. Сократъ, какъ известно, фи-  
лософствовалъ въ формѣ собесѣданій съ своими учениками  
и вообще съ согражданами. Платонъ, ученикъ Сократа,  
также изложилъ свою философскую систему въ формѣ от-  
дѣльныхъ діалоговъ. Отличительная черта діалектической  
рѣчи состояла еще въ томъ, что такая рѣчь велась обыкно-  
венно между двумя лицами, при чемъ одно лицо является  
представителемъ и защитникомъ известного мнѣнія, взгляда  
на предметъ, а другое было необходимо какъ вырази-  
тель критического отношенія къ этому мнѣнію или взгляду.

Но замѣчательно, что, какъ бы въ соотвѣтствіе съ этою вѣйшнею и совершенно понятною чертою, самыѣ методы, господствовавшій въ діалектицѣ, состоялъ въ разложеніи даннаго понятія на два другія опредѣленія или понятія, при чмъ каждое изъ этихъ понятій въ свою очередь дѣлится на два составныхъ опредѣленія и т. д. Этому методу двухчастнаго раздѣленія (бихотоміа) слѣдуетъ напр. Платонъ, когда хочетъ показать, что такое сафистъ, политикъ, въ діалогахъ, известныхъ подъ этими названіями. Но эта важнѣйшая черта діалектики очевидно уже никакъ не слѣдуетъ изъ того, что собѣсѣданіе діалектическое обыкновенно ведется между двумя лицами. Особенность эта поаучила свое начало вмѣстѣ съ тѣмъ какъ возникла и самая діалектика. Первымъ діалектикомъ считается Зенонъ, который діалектически защищалъ основной тезисъ Парменида, известнаго элейскаго философа, что бытіе въ сущности должно быть едино и неизмѣнно, и что, поэтому, ни множественность, ни измѣняемость не суть принадлежности истиннаго, дѣйствительнаго бытія, а только кажущіяся явленія. Чтобы оправдать это ученіе Парменида, столь явно несогласное съ очевидными для всякаго свидѣтельствами опыта, Зенонъ избралъ такой путь: онъ старался доказать, что, при ближайшемъ разсмотрѣніи, понятія множественности и измѣняемости вынуждаютъ допустить совершенно несогласныя между собою два противоположныхъ опредѣленія обѣ одному и тому же, откуда слѣдовало для него, что тѣ понятія не истинны. Именно: если бытіе множественно, т. е. таково, какимъ представляется намъ, тогда мы должны признать, что оно и ограничено и безгранично; если существуетъ движеніе, то прежде всего относительно пространства, въ которомъ происходитъ движеніе, мы должны допустить,—что всякое разстояніе дѣлится по поламъ и затѣмъ каждая половина въ свою очередь дѣлится на двѣ половины и т. д. въ безконечность, а отсюда слѣдуетъ, что каждое движущееся тѣло, для достиженія своей цѣли, должно пройти безконечно дѣлимое, слѣдовательно безконечное

пространство (что очевидно невозможно); съ другой стороны и относительно тѣла движущагося необходимо допустить, что оно и движется и вмѣстѣ находится въ покое (ибо движение мы должны мыслить какъ совокупность моментовъ покоя, непрерывно слѣдующихъ одинъ за другимъ). Такимъ образомъ Зенону представлялось невозможнымъ, т. е. не истиннымъ для мысли, все то, въ чёмъ онъ находилъ противоположныя опредѣленія, и что, при ближайшемъ разсмотрѣніи, распадалось на противоположности. Но еще Гераклить и піеагорейцы учили, что гдѣ противоположность, тамъ должно быть и единство, гармонія, что гармонія есть именно соединеніе противоположнаго. Зенонъ полагалъ, что безграничное и ограниченное взаимно исключаются одно другимъ. Піеагорейцы, напротивъ, учили, что то и другое всегда существуютъ вмѣстѣ, и одно другимъ необходимо предполагается, ибо ограниченное можетъ быть таково только чрезъ границу, или начало ограничивающее, а ограничивающее предполагаетъ собою то, чтѣ имъ ограничивается и что само по себѣ есть неограниченное. Поэтому нельзя было не признать одностороннею діалектику Зенона, которая, раскрывая противоположности, старалась выставить ихъ какъ несовмѣстимыя, взаимно исключающія себя. Дѣйствительно, по Платону, раздѣленіе хотя безспорно важное и пожалуй ближайшее дѣло діалектики, но не единственное; сверхъ раздѣленія, другая не менѣе важная задача діалигтики состоитъ въ соединеніи понятій. Не всѣ понятія безразлично можно соединять между собою, не всѣ также слѣдуетъ и раздѣлять, но одни понятія соединимы между собою, другія же не соединимы. Діалектика и состоитъ въ знаніи того, какія понятія должно соединять, какія—раздѣлять; а вмѣстѣ съ тѣмъ она есть искусство дѣлать правильно то и другое, т. е. соединять и раздѣлять. Есть, какъ сказано выше, понятія не соединимы между собою; но такого рода понятія соединяются при посредствѣ третьаго, высшаго, т. е. болѣе общаго, понятія, напр. покой и движение не соеди-

нимы; нельзя сказать, что движение есть покой, или покой— движение, но за то эти понятия, соединяются посредствомъ третьяго болѣе общаго понятія, каково понятіе бытія, ибо и покой существуетъ и движение существуетъ, и въ этомъ ихъ общее. Отсюда видно, что соединеніе понятій есть такой процессъ мысли, который направляется снизу вверхъ, т. е. отъ менѣе общихъ къ болѣе общимъ понятіямъ. Наоборотъ, раздѣленіе, очевидно, должно идти путемъ обратнымъ, т. е. сверху внизъ. Такимъ образомъ діалектика есть не что иное, какъ движение мышленія исключительно въ области отвлеченныхъ общихъ понятій, которыхъ она рассматриваетъ по ихъ взаимному отношенію и независимо отъ единичныхъ вещей и явленій, мыслимыхъ чрезъ эти понятія. Аристотель выразилъ требование, состоящее въ томъ, что понятія должно рассматривать не сами по себѣ, а въ связи съ предметами, къ которымъ понятія относятся, ибо понятія выражаютъ только общее, а общее содержится въ единичномъ, частномъ, т. е. въ томъ, что подлежитъ наблюденію, а не существуетъ отдельно. По причинѣ этого требования и самая діалектика, которая рассматриваетъ понятія отдельно, сами по себѣ, у Аристотеля должна была потерять то значеніе, какое усвоилъ ей Платонъ. И въ самомъ дѣлѣ, два указанные пути діалектики получаются у Аристотеля иной видъ, именно процессъ соединенія понятій преобразуется въ индукцію, т. е. въ процессъ обобщенія, соединенія не понятій, а отдельныхъ фактовъ, которые этимъ путемъ возводатся къ общимъ положеніямъ; равнымъ образомъ процессъ раздѣленія преобразуется въ дедуктивный, т. е. силлогистической методъ, состоящей вообще въ томъ, что понятія высказываются и рассматриваются не сами по себѣ, а относительно предметовъ, данныхъ въ опыта,—высказываются въ смыслѣ утвердительномъ или отрицательномъ, и относительно всѣхъ или только вѣкоторыхъ предметовъ известнаго рода.

Неоплатонизмъ примѣнилъ платоновскую діалектику (что отчасти было сдѣлано уже Платономъ) въ решеніи

вопроса о происхождении и взаимномъ отношении различныхъ родовъ сущаго, представляя это происхождение и взаимоотношение сущаго какъ путь нисхождения отъ безусловно единаго и всеобщаго къ частному и многообразному, и, соответственно тому, задачу нравственного совершенствованія человѣка полагая въ обратномъ, столь же постепенномъ, обращеніи отъ многообразнаго міра явленій матеріальныхъ къ сверхчувственному и идеальному до совершенного сліянія съ первоединнымъ. Впослѣдствіи первый схоластической философъ, Іоаннъ Скоттъ Эригена въ томъ же духѣ и направлениіи изъяснялъ христіанское ученіе о происхождении вещей отъ Бога и возвышеніи человѣка къ Богу<sup>1)</sup>). Отсюда далѣе возникъ вопросъ: имѣемъ ли мы дѣло съ дѣйствительнымъ бытиемъ, когда отъ однихъ понятій переходимъ къ другимъ,—въ порядкѣ то восходящемъ, то нисходящемъ,—или же общія понятія, соединяемыя и раздѣляемыя такимъ образомъ, суть не болѣе какъ имена, слова, а не что либо дѣйствительно существующее? Споры, порожденные этимъ вопросомъ, съ течениемъ времени, въ такой степени притупили вкусъ къ діалектическому искусству, что въ эпоху Возрожденія наукъ стали совсѣмъ отвергать діалектику, пытаясь замѣнить ее риторикою; другіе же, какъ Бэконъ веруламскій и послѣдующіе философы того же направленія единственно годнымъ орудіемъ науки признавали опытъ, противополагая опытъ діалектику.

Интересъ къ діалектику является затѣмъ только уже въ новѣйшей германской философіи XIX в.,—и не случайно, а какъ слѣдствіе ея развитія въ идеалистическомъ направленіи на основаніяхъ, положенныхъ критическою философіею Канта.

<sup>1)</sup> Опредѣлилъ діалектику какъ искусство, которое раздѣляетъ роды на виды и виды сводить къ родамъ (*dividit genera in species et species in genera resolvit*), С. Эригена говоритъ, что искусство это не измыщено кѣмъ либо, а имѣть свое основаніе въ природѣ вещей и открыто людьми мудрыми. *De divis. nat.* IV, 4.

Въ общемъ выводѣ, который самъ собою вытекаетъ изъ критическихъ изслѣдований Канта, оказацось, что умъ теоретической и разумъ практической въ человѣкѣ рѣши-тельно расходятся другъ съ другомъ: такъ, съ точки зрѣнія теоретической все подлежитъ необходимому закону причин-ности; всякое явленіе, познаваемое вами чрезъ опытъ, необ-ходимо условливается предшествующимъ ему рядомъ дру-гихъ явленій. Напротивъ разумъ практической приводить настъ къ идеи свободы. Для теоретического ума все условно, все зависимо; безусловнаго ничего и нигдѣ не оказывается въ мірѣ, поскольку послѣдній есть предметъ опытнаго по-знанія; напротивъ разумъ практической, т. е. воля,—стре-мится къ безусловному, и самыя требованія этого разума (т. е. моральныя) имѣютъ характеръ безусловный. Понятія теоретического разума, т. е. тѣ, которыми управляетъ ва-ша познавательная дѣятельность, каково напр. понятіе при-чинности, имѣютъ реальное значеніе, ибо вполнѣ и всюду находятъ себѣ примѣненіе въ опытѣ (который чрезъ нихъ только и возможенъ); понятія эти объективны, ибо даны объекты, къ которымъ мы ихъ прилагаемъ совершенно по праву; понятія же относящіяся къ практической дѣятель-ности, къ которымъ приводить настъ практической разумъ, каковы понятія свободы, долга и соединенныхъ съ ними по-нятія о Богѣ, бессмертіи имѣютъ характеръ идеальный, ибо суть не болѣе, какъ идеи (а не объекты опытнаго познанія), управляющія практическою нашою дѣятельностію; посему понятія эти имѣютъ субъективное, а не объективное значе-ніе; они для настъ необходимы, но опытъ, которымъ ограни-чивается наша познавательная дѣятельность, не представ-ляетъ соответствующихъ имъ объектовъ.

Столь несогласныя между собою и противоположныя понятія и, порождаемыя ими, не менѣе противоположныя, стремленія,—каковы съ одной стороны стремленіе къ добро-дѣтели, къ нравственному совершенству а съ другой—стрем-леніе къ счастію, должны однако имѣть одно основаніе и происходить изъ одного общаго корня. Объ этомъ можно

догатываться уже потому, что человѣкъ явно стремится въ искусствѣ къ соглашенію и примиренію указанныхъ выше противоположнаго характера воззрѣній и стремленій. Ибо истинно художественное произведение всегда выражаетъ идеальное содержаніе въ реальной чувственной формѣ, и такимъ образомъ идеальное согласуетъ, примиряетъ съ реальнымъ. Отсюда органомъ эстетического вкуса служить чувство, какъ способность посредствующая между умомъ и волею, служащая переходною ступенью отъ умственного представлѣнія къ практическому дѣйствію, и тѣмъ самымъ способствующая примиренію и соглашевію противоположности, представляемой съ одной стороны теоретическимъ умомъ съ присущими ему пепнатіями, а съ другой—умомъ практическимъ или волею.—Вотъ почему Фихте пытался изъяснить и представить и теоретическую и практическую дѣятельность разума со всѣми разнообразными проявленіями, свойственными той и другой дѣятельности, какъ двоякое обнаруженіе, въ существѣ своемъ, тождественной, первичной, и потому безусловной, изъ себя самой развивающейся, творческой дѣятельности нашего духа,—опредѣливъ духъ человѣка какъ такую силу, которая по внутреннимъ своимъ законамъ создаетъ и себя самую и всѣ свои жизненные формы.

Однакоже не только въ духѣ человѣческомъ совмѣщаются два противоположныхъ направлениія его дѣятельности, но туже самую противоположность реальнаго и идеальнаго, ограниченнаго и безграничнаго можно также находить повсюду въ природѣ. Поэтому не должно ли предположить, что и въ духѣ человѣческомъ, и въ природѣ виѣшней дѣйствуетъ одно и тоже безусловное начало, и что духъ, по сравненію съ природою, есть только идеальная или субъективная, т. е. внутренняя, а природа сравнительно съ духомъ есть реальная, или объективная, т. е. виѣшняя, сторона въ послѣдовательномъ самоосущественіи этого безусловнаго начала. Такова основная точка зреїнія философіи Шеллинга.

Какъ Фихте, такъ равно и Шеллингъ полагали, что предположенное ими безусловное начало, которое по Фихте раскрывается въ противоположныхъ формахъ человѣческаго сознанія, а по Шеллингу равномѣрно обнаруживается какъ въ духѣ человѣческомъ, такъ и въ природѣ (которая поэтому не есть только почва для развитія духа человѣческаго, какъ полагалъ Фихте, но составляетъ равноправный съ духомъ членъ въ раскрытии абсолютнаго начала)—что это абсолютное начало можетъ быть познано только чрезъ интеллектуальное созерцаніе. Такой способъ познанія имѣть то важное преимущество, что при этомъ только способъ познанія различныхъ противоположности объединяются, т. е. представляются въ ихъ нераздѣльной связи и цѣлости, подобно тому какъ для художественнаго созерцанія, въ искусствѣ, идеальное и реальное являются въ совершенной цѣлости и единствѣ, между тѣмъ какъ рефлексивное мышеніе отвлекаетъ каждую черту познаваемаго предмета отъ естественной связи ея съ другими свойствами и явленіями того же предмета. Вотъ почему Фихте и Шеллингъ въ своей философіи стремились объединять и соглашать повсюду усматриваемыя ими противоположности. Такъ, на точкѣ зрѣнія отвлекающаго, рефлектирующаго мышленія природа и духъ представляются намъ противоположностями, не имѣющими между собою ничего общаго, для интеллектуального же созерцанія эти противоположности (по Шеллингу) образуютъ единый цѣлостный міръ, въ которомъ повсюду раскрывается одно и тоже абсолютное начало. Въ самой природѣ разсудокъ раздѣляетъ органическое царство отъ неорганическаго, между тѣмъ какъ для созерцанія природа вся есть единый организмъ. Равнымъ образомъ рефлексія разъединяетъ и противополагаетъ въ духѣ человѣка умъ и волю; для познанія же созерцательного и умъ и воля суть неразрывно связанныя между собою обнаруженія того же абсолютнаго духа.

Гегель, однако, призналъ невполнѣ удовлетворительную и релятивистскую

нымъ такое рѣшеніе вопроса о методѣ философіи. По Гегелю созерцаніе никакъ нельзя признать вполнѣ достаточнou, въ научномъ отношеніи, слѣдъ высшую формою познанія. Созерцаніе истины не есть еще обладаніе ею; ибо можно представлять истинное, не зная того, что представляемое нами чрезъ созерцаніе есть истинно. Посему созерцаніе или представлениe, хотя бы было истиннымъ, не есть еще знаніе научное; истиною, т. е. совершенійшею, формою такого знанія можетъ быть только понятіе; ибо когда я имъю понятіе объ извѣстной вещи, то вмѣстъ съ тѣмъ знаю, что это понятіе истинно (або къ понятію вещи относится и это знаніе), слѣдоват. не только знаю вещь, но и обладаю своимъ знаніемъ, т. е. могу его доказать. Но какъ мы можемъ знать, что извѣстное понятіе истинно? Гегель признаетъ вмѣстъ съ Шеллингомъ, что истина не дается намъ вполнѣ посредствомъ отвлеченія, или рефлексіи. Истина должна совпадать съ действительностью, какъ идеальное выражение реального, и слѣдоват. представлять ее въ цѣлости различныхъ ея сторонъ, или моментовъ, но отсюда не слѣдуетъ, что должно отбросить рефлексивную, раздѣляющую дѣятельность мышленія. Какимъ образомъ мы можемъ убѣдиться въ томъ, что соединяемыя нами въ созерцаніи противоположности должны быть соединены, и на самомъ дѣлѣ имѣютъ единство, а не произвольно связываются нами? Убѣдиться въ этомъ мы можемъ только путемъ рефлексии, т. е. чрезъ предварительное ихъ раздѣленіе. Раздѣляя цѣлое на части, при чёмъ одна часть противопоставляется другой, мы легко можемъ показать, посредствомъ анализа раздѣленныхъ частей, что ни одна изъ нихъ сама по себѣ не достаточна и требуетъ восполненія чрезъ соединеніе съ другою. Этимъ только способомъ истина не просто познается, во и доказывается, и доказываніе такого рода очевидно есть діалектическое. Ибо діалектика вообще состоитъ въ томъ, чтобы, посредствомъ анализа каждого въ отдѣльности понятія, сдѣлать очевидную логическую необходимость соединенія этого понятія.

тія съ другими понятіями. Діалектика есть такое поступательное, прогрессивное движение мышлениія, при которомъ, постепенно переходи отъ одного понятія къ другому, и пополненная ихъ взаимно, мы получаемъ цѣлый рядъ понятій, совершенно разъясненныхъ и определенныхъ по ихъ взаимному отношенію, т. е. приведенныхъ въ систематическую связь.

## II.

Изъ предыдущаго видно, что, несмотря на совершенно несходные задачи философіи Платона и философіи Гегеля, понятіе о діалектицѣ, къ которому пришли тотъ и другой философъ въ связи съ развитіемъ предшествовавшей имъ философіи,—одинаково у обоихъ. И по Платону и по Гегелю діалектика состоить въ раздѣленіи и соединеніи понятій; различіе лишь въ томъ, что Платонъ оба эти процесса—соединеніе и раздѣленіе—отдѣлять одинъ отъ другаго; въ діалектическомъ же методѣ Гегеля актъ раздѣленія (антитезисъ) чередуется постоянно съ другимъ,—противоположнымъ актомъ соединенія (синтезъ) и такимъ образомъ оба связываются въ одинъ непрерывный процессъ. Но мы видѣли уже, что мышление есть именно дѣятельность соединяющая и раздѣляющая (см. статью *опытъ и умозрѣніе*). Посему и діалектика, какъ искусство раздѣлять и связывать понятія, не есть какая либо отдельная наука, которую можно было бы поставить напр. наравнѣ съ математикою, имѣющею свой особенный предметъ; діалектика не даетъ какихъ-либо определенныхъ знаній; она не въ состояніи также создать новыхъ какія либо понятія; она—совокупность логическихъ операций мышления, для которыхъ напередъ уже должны быть даны такія или иные понятія какъ предметъ діалектической обработки.

Такъ какъ діалектика имѣть дѣло съ общими отвлеченными понятіями, то вотъ почему она получаетъ не только самостоятельное, но и преобладающее значение въ философіи, коль скоро предполагается, что понятія образуютъ

особый идеальный міръ, необходимо присущій нашему разуму, причемъ безразлично,—разсматривается ли этотъ мысленный міръ какъ нѣчто данное для нашего разума, независимо отъ него, хотя и соединенное съ нимъ (Платонъ), или же признается продуктомъ самобытно развивающейся дѣятельности нашего мышленія (Гегель). При такомъ предположеніи о самостоятельномъ значеніи системы понятій, образуемыхъ мышленіемъ, является неизбѣжно и другое предположеніе, именно, что логическія отношенія, которыми связываются между собою понятія, вполнѣ совпадаютъ съ отношеніями самой дѣятельности, что правильная закономѣрная дѣятельность мышленія сама въ себѣ заключаетъ познаніе бытія, что мышленіе или умозрѣніе и бытіе нераздѣльны.

Защищая діалектику, г. Чичеринъ хочетъ настоять и на этихъ предположеніяхъ, необходимо связанныхъ съ признаніемъ самостоятельного значенія діалектики.

Совокупность нашихъ понятій, говорить г. Чичеринъ, составляетъ лѣстницу родовъ и видовъ, которая съ низу примыкаетъ къ бесконечному разнообразію открываемыхъ намъ опытомъ предметовъ, а къ верху завершается чисто логическими опредѣленіями или категоріями (стр. 59). Слова эти прямо наводятъ на ту мысль, что понятія наши образуютъ неизмѣнную и вполнѣ опредѣленную по своимъ внутреннимъ отношеніямъ систему, гдѣ каждое понятіе имѣть необходимо принадлежащее ему мѣсто въ ряду другихъ. На самомъ дѣлѣ каждый можетъ по своему строить эту лѣстницу родовъ и видовъ; отдельные понятія могутъ быть поставлены въ самыя разнообразныя отношенія между собою, что зависитъ отъ того, что возможны различные точки зрѣнія на вещи. Эмпиріки напр. на первый планъ полагаютъ частные понятія, а болѣе общіе понятія считаютъ послѣдующими и зависящими отъ частныхъ; идеалисты же наоборотъ, первоначальными, т. е. коренными, и потому го-

сподствующими въ нашемъ умѣ, признаютъ наиболѣе общія понятія, какъ это утверждаетъ и г. Чичеринъ: опредѣляющее начало, говорить онъ, въ этой лѣстницѣ идетъ съ верху, а не снизу; родовое понятіе разчленяется на видовыя, а не наоборотъ (*ibid.*). Не очевидно ли, что понятія наши далеко не имѣютъ устойчивыхъ, вполнѣ опредѣленныхъ взаимныхъ отношеній, ибо допускаютъ самое разнообразное комбинированіе ихъ, тѣмъ болѣе что и самыя понятія измѣнчивы и могутъ быть до безконечности разнообразны? Допустимъ однажды, что понятія сами въ себѣ имѣютъ закономѣрную систематическую связь,—вопросъ теперь состоить въ томъ, какимъ образомъ мы познаемъ эту систематическую связь понятій, какое значеніе имѣть при этомъ дialectika?

Если мы хотимъ придти, говорить г. Чичеринъ, къ какому нибудь общему и послѣдовательному знанію, т. е. познать причины и законы явленій, то для этого необходимо прежде всего получаемыя изъ опыта виѣшия представлениія превратить въ общія понятія. По объясненію г. Чичерина, это происходитъ такимъ образомъ: Когда, говорить онъ, мы открываемъ новый предметъ, задача наша состоять прежде всего въ томъ, чтобы подвести его подъ известное уже намъ родовое понятіе, и затѣмъ уже, опредѣленіемъ специфическихъ его признаковъ, отличить его отъ другихъ видовъ того же рода. Подведеніе есть, слѣдовательно, расчлененіе родового понятія. Если же мы не въ состояніи опредѣлить ближайшее родовое понятіе, то мы прямо подводимъ предметъ подъ общую логическую категорію... Логическія категоріи, также какъ логическіе законы, составляютъ прирожденную привадлежность нашего ума; онъ не пріобрѣтаются опытомъ, а только выясняются самосознаніемъ... Бытіе и небытіе, тождество и различіе, количество и качество, общее и частное, матерія и форма,—все это логическія опредѣленія, посредствомъ которыхъ разумъ связываетъ данный ему опытомъ матеріалъ. Только подводя пред-

ставляющіеся ему предметы подъ эти опредѣленія, разумъ можетъ прилагать къ нимъ логическіе законы. Это и есть то, что называется понимать вещи. Понимать значитъ возводить въ понятіе; полное же пониманіе состоитъ въ введеніи явлений къ верховнымъ законамъ разума чрезъ всѣ посредствующія звенья. Въ этомъ заключается верховная цѣль науки; но необходимо для этого условіе состоять въ познаніи всей системы логическихъ опредѣленій. Такъ какъ познающій разумъ составляетъ одно цѣлое или одну дѣйствующую силу, то всѣ его законы должны быть связаны другъ съ другомъ, и всѣ ею опредѣленія должны образовать одну систему. Формальная логика, изслѣдуя логическія формы и управляющіе ими законы, не можетъ обходить и неразлучныхъ съ ними опредѣленій. Но она беретъ ихъ какъ данныя разума... Этимъ не ограничивается однако задача умозрѣнія. Необходимо изслѣдовать существо каждого опредѣленія и отношение ею къ другимъ и на этомъ основаніи вывести всю ихъ систему. Этимъ только способомъ мы можемъ достигнуть истиннаго пониманія вещей. Для того чтобы понять другое, разумъ долженъ прежде понять самаю себя, выяснить себѣ собственные свои начала и законы. Въ этомъ и заключается задача діалектики, которая составляетъ истинное основаніе философіи... Не дѣло опытныхъ наукъ анализировать логическія понятія, показывать ихъ взаимные отношенія и ихъ место въ общей системѣ разума. Все это принадлежитъ діалектику (стр. 59—61).

Итакъ цѣль науки, по объясненію г. Чичерина, состоитъ въ томъ, чтобы разнообразный матеріалъ опыта свести къ наиболѣе общимъ опредѣленіямъ, составляющимъ принадлежность разума. А дабы возможно было достиженіе этой цѣли,—необходимо познаніе всей системы логическихъ опредѣленій. И притомъ недостаточно только перечислить логическія категории; необходимо вывести ихъ въ систематическомъ порядке. Въ этомъ—задача діалектики.

Но если тѣ всеобщія и необходимыя опредѣленія, къ

которымъ требуется свести всѣ частныя явленія, составляють неотъемлемую принадлежность разума, то будутъ ли выведены діалектически эти опредѣленія разума или нѣтъ, во всякомъ случаѣ они должны дѣйствовать и проявлять свою силу въ познаніи вещей, которое не иначе какъ при ихъ содѣйствіи пріобрѣтается нами. Можно ли утверждать послѣ этого, что познаніе и разумѣніе вещей зависитъ существенно отъ діалектическаго вывода общихъ началъ разума? Не только эмпирическое познаніе вещей, но и попытки къ философскому изъясненію ихъ были далеко прежде, чѣмъ возникла самая діалектика. Значеніе, принадлежащее необходимымъ опредѣленіямъ разума, г. Чичеринъ совершенно неправильно перенесъ и на діалектическій выводъ этихъ понятій. Выводъ рациональныхъ понятій можетъ быть ошибочнымъ, невѣрнымъ,—но это никако не подрываетъ необходимаго значенія таковыхъ понятій. Между тѣмъ усвоивъ такое же необходимое значеніе для нашего познанія діалектическому выводу рациональныхъ понятій, какое принадлежитъ самымъ этимъ понятіямъ, г. Чичеринъ прішелъ вслѣдствіе этого къ странному заключенію; разумѣемъ выше приведенное положеніе его, что разумъ долженъ прежде понять самого себя, выяснить себѣ собственные свои начала и законы,—для того чтобы понять другое. Если Кантъ утверждалъ, что законы и формы познанія, присущія нашему разуму, предваряютъ всякое опытное познаніе, даны a priori, то это не значитъ, что и самое изъясненіе этихъ законовъ и формъ должно предшествовать познанію и изъясненію всего другаго. Это и невозможно. Разумъ для насъ познаемъ настолько, насколько онъ проявляетъ свою дѣятельность; дѣятельность же эта проявляется и въ познаніи вещей. Такъ въ древности логика дедуктивная, какъ наука о законахъ и формахъ мыслящей дѣятельности разума, сдѣлалась возможной лишь послѣ разнообразныхъ опытовъ критики обыденныхъ, т. е. усвоенныхъ путемъ жизненнаго опыта, представлений и понятій. Въ новое время

индуктивная логика могла получить дальнѣйшую обработку лишь вслѣдствіе успѣховъ наукъ опытныхъ. Конечно не чрезъ наблюденіе, а чрезъ непосредственное самосознаніе разумъ познаетъ себя, но и самое это самосознаніе возможно лишь на основаніи уже данныхъ проявленій разумной дѣятельности. Только долговременная опытность приводить человѣка къ самосознанію, и это должно признать не только относительно жизни практической, но и въ отношеніи къ теоретической, познавательной дѣятельности.

Однакожъ вопросъ о томъ, какимъ образомъ можетъ быть добыта система коренныхъ рациональныхъ понятій или опредѣленій—все еще не решенъ. Объ этомъ г. Чичеринъ говоритъ слѣдующее:

„Совокупность логическихъ опредѣленій не является какъ нѣчто данное, вѣчно присущее самосознанію человѣческаго разума. Какъ и вся область самосознанія, эта система развивается и развивается не путемъ вѣшняго прибавленія знанія, а чисто извнутри себя“. Развитіе это состоить въ томъ, что „являются различія, противоположности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отрицаніе Одно опредѣленіе отрицаетъ другое, вслѣдствіе чего развитіе діалектики представляется не прибавленіемъ послѣдующаго знанія къ предыдущему, а смыслою различныхъ точекъ зренія. Каждое начало даетъ намъ извѣстный способъ объединенія или пониманія явленій; но съ дальнѣйшимъ развитіемъ мысли этотъ способъ оказывается недостаточнымъ и замѣняется другимъ. И эта недостаточность оказывается не вслѣдствіе того, что многія явленія не подходятъ подъ данное начало: это чисто вѣшнее указаніе, которое въ развитіи діалектики играетъ не существенную роль. Изученіе исторіи философіи убеждаетъ насъ, что движущую пружину развитія является внутреннее противорѣчіе самихъ началь. Недостаточное опредѣленіе не можетъ замѣнить собою полной системы. Собственный анализъ его показываетъ, что оно составляетъ только часть высшаго цѣлаго, а потому въ силу чистаго

процесса мысли оно переходит въ другое. Иначе и быть не можетъ, ибо логическія опредѣленія, вытекающая изъ единаго разума, образуютъ, какъ сказано, одну систему. Поэтому каждое изъ нихъ связано со всѣми остальными и само собою должно указывать на остальные. Развитіе этой системы и составляетъ исторію философіи. (Стр. 62).

Итакъ, коренные рациональныя понятія или опредѣленія, хотя составляютъ необходимую принадлежность разума, не содержатся заразъ, во всей своей совокупности, и неизмѣнно въ разумѣ человѣческомъ, а постепенно развиваются одно изъ другаго вмѣстѣ съ развитіемъ самаго разума. Но къ чему должно относить это развитіе,—къ самимъ ли понятіямъ разума, составляющимъ его принадлежность, или же только къ сознанію, къ выясненію этихъ понятій? Спрашиваемъ объ этомъ потому, что рѣчь идетъ о діалектиѣ, а задача діалектики, какъ было показано, состоить въ томъ, чтобы сдѣлать выводъ основныхъ понятій разума въ ихъ систематической связи. Неужели и самые понятія, выводимыя діалектически, впервые возникаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ какъ дѣлается ихъ выводъ? Въ такомъ случаѣ нужно признать, что тѣ опредѣленія, которыя діалектически выводятся въ логикѣ Гегеля, получили свое начало въ этой логикѣ. Безъ сомнѣнія г. Чичеринъ имѣлъ въ виду развитіе самыхъ понятій, а не ихъ діалектический выводъ. Но въ такомъ случаѣ о какой же діалектиѣ онъ говоритъ? Говоря о развитіи діалектики, онъ разумѣеть конечно не искусство анализировать и выводить понятія, а историческій процессъ философской мысли; онъ разумѣеть діалектику не субъективную, принадлежащую тому или иному философу, а объективную, которая господствуетъ надъ всѣмъ ходомъ исторіи человѣческой мысли и управляетъ развитіемъ философскихъ ученій, помимо субъективнаго сознанія того или иного философа. Ибо онъ прямо говоритъ, что развитіе системы логическихъ опредѣленій и составляетъ исторію философіи.

Нѣть сомнѣнія въ томъ, что существуетъ логическая

связь между различными философскими учениями, следовавшими одно за другимъ, такъ что переходъ отъ одного учения къ другому въ некоторой мѣрѣ можно представить діалектически; иначе и быть не можетъ, ибо мышление съ присущими ему логическими законами есть органъ философіи. Но такова ли эта связь, какъ понимаетъ ее г. Чичеринъ, слѣдя Гегелю? Можно ли утверждать, что совокупность философскихъ системъ представляетъ такое стройное развитіе, что „каждое звено этой цѣпи составляетъ необходимую часть цѣлаго“, что „всѣ эти звенья образуютъ одну непрерывную нить, въ которой все связано внутреннимъ закономъ, опредѣляющимъ движение цѣлаго“?

Если согласиться съ приведеннымъ выше положеніемъ г. Чичерина, что совокупность логическихъ опредѣленій развивается постепенно, именно такъ, что одно опредѣленіе слѣдуетъ послѣ другаго и вытекаетъ изъ него, тогда ничего не остается какъ видѣть это именно развитіе логическихъ опредѣленій въ исторіи философіи; и такъ какъ такое развитіе должно происходить съ логическою необходимостю, ибо относится къ логическимъ опредѣленіямъ, то посему и переходъ отъ одной философской системы къ другой долженъ совершаться съ тою же логическою необходимостю. Но сказанное положеніе не можетъ быть допущено. Г. Чичеринъ самъ указываетъ тѣ логическія опредѣленія, о развитіи которыхъ идетъ рѣчь; таковы: бытіе и небытіе, тождество и различіе, количество и качество, общее и частное, матерія и форма. Возможно ли допустить, чтобы эти понятія въ своей совокупности, такъ или иначе, не были при сущи когда либо разуму человѣческому, а возникли послѣдовательно одно за другимъ? Г. Чичеринъ самъ признаетъ эти понятія основными формами и законами нашего разума. Поэтому, если не всегда они были присущи уму человѣческому, и если они возникли постепенно, тогда должно сказать и объ умѣ, что онъ постепенно образовался, сдѣлался умомъ. А таково именно мнѣніе эмпириковъ, которыхъ

такъ настойчиво оспариваетъ г. Чичеринъ,—что человѣкъ не всегда былъ человѣкомъ, но сдѣлался имъ постепенно. Должно однако замѣтить, что говоря о развитіи логическихъ категорій, г. Чичеринъ замѣчаетъ, что система ихъ развивается не путемъ виѣшняго прибавленія знанія, а чисто извнутри себя. Это очевидно уже значитъ, что въ самомъ началѣ развитія были даны всѣ послѣдующія формы мысли или понятія, но только въ состояніи зачаточномъ, какъ бы въ зародышѣ. Коль скоро же необходимо согласиться, что уму человѣческому всегда были свойственны всѣ основныя опредѣленія, или понятія логическія, то уже не остается никакого основанія полагать, что въ такой а не иной послѣдовательности, т. е. съ логическою необходимостію, постепенно уснаились и дѣлались болѣе и болѣе сознательными эти понятія. Изъ многихъ свойственныхъ уму точекъ зрѣнія каждая могла быть выдвинута въ данное время. Если же мы видимъ, что въ данную пору является господствующимъ то а не иное воззрѣніе, то основаніе этого очевидно должно заключаться въ историческихъ условіяхъ, а не въ логической необходимости. Обозрѣвая ученія прежнихъ философовъ, Аристотель находитъ, что изъ четырехъ, различаемыхъ имъ, причинностей: материальной, движущей, формальной и конечной первые философы исключительное вниманіе обратили на изысканіе причинъ материальныхъ, послѣдующіе философы къ материальнымъ причинамъ присоединили причины движущія, затѣмъ уже возникли вопросы о причинахъ формальныхъ и конечныхъ. Значитъ ли это, что у первыхъ философовъ, занятыхъ отысканіемъ материальныхъ причинъ происхожденія и устройства вещей, совершенно отсутствовало напр. понятіе формы, или же понятіе движущей силы, а также понятіе о цѣли движенія? Очевидно нельзѧ этого утверждать. Можно сказать только, что первые философы не разграничивали означенныхъ понятій съ такою ясностію, какъ это произошло впослѣдствіи. Если основную точку зрѣнія первыхъ греческихъ философовъ характеризуютъ на-

звавіемъ иллюзію, т. е. тѣмъ что вѣщество, изъ котораго они производили всѣ вѣщи, представляли они какъ нѣчто живое, дѣятельное, творческое, какъ начало одаренное разумомъ, то это именно показываетъ, что отъ материіи они не отдѣляли формы, рассматривая вѣщество не только какъ начало материальнное, но и какъ формирующее, равно и движущую силу усвоили ему, а вмѣстѣ съ разумностію—способность направлять свою дѣятельность къ известной цѣли. Какая логическая необходимость заключалась въ томъ, что Піегоръ количественные опредѣленія считалъ наиболѣе существенными въ бытіи вѣщей,—почти одновременно съ тѣмъ, какъ другіе философы сущность всего усматривали въ различныхъ качественныхъ опредѣленостяхъ. Даже послѣ того какъ діалектика пріобрѣтаетъ выдающееся значеніе въ философіи (у софистовъ, Сократа, Платона), далеко не одна логическая необходимость управляетъ движениемъ философской мысли; это видно уже изъ того одного, что были философы, которые рѣшительно отвергали всякую діалектику. Конечно можно возразить, что философы сами не сознавали діалектическаго закона, который господствовалъ надъ ихъ мышленіемъ, и которому они слѣдовали безсознательно. Нельзя же однако представить развитіе философіи въ видѣ напр. миѳологического процесса, въ которомъ дѣйствовало непосредственное творчество народнаго духа. Философъ не есть органъ невѣдомо для него самаго дѣйствующей въ немъ творческой силы, подобно миѳослагателю или народному поэту; сила, дѣйствующая въ немъ, есть по преимуществу его личное *самосознающее мышленіе*.

Если г. Чичеринъ, слѣдуя Гегелю, смотритъ на историческое развитіе философской мысли, какъ на процессъ объективно совершающійся, то это имѣетъ связь съ тѣмъ кореннымъ возврѣніемъ Гегеля, которому также слѣдуетъ г. Чичеринъ, что мышленіе и бытіе нераздѣльны, что въ субъективномъ процессѣ мышленія совершается объективный процессъ бытія мыслимаго,—и одинъ съ другимъ совпадаетъ.

Гдѣ есть законы, тамъ необходимо присутстви и опредѣленія, говорить г. Чичеринъ, ибо всикій законъ есть извѣстное отношеніе, отношеніе же есть опредѣленіе, которое служить связью двухъ другихъ опредѣленій. Слѣдовательно, если существуютъ логические законы, вытекающіе изъ чистаго умозрѣнія, то необходимо существуютъ и таковыя же опредѣленія. Такъ напр. законъ тождества заключаетъ въ себѣ опредѣленіе бытія, какъ отношеніе двухъ, безразличныхъ между собою положеній (?). Законъ противорѣчія заключаетъ въ себѣ опредѣленіе небытія или отрицанія, законъ достаточнаго основанія—опредѣленія логическаго основанія и вывода,—внѣшней причины и слѣдствія. (Стр. 60-я). Съ точки зрѣнія г. Чичерина эти категоріи бытія, небытія, причины и слѣдствія не просто суть логическія опредѣленія, но также моменты совершающагося въ дѣйствительности объективнаго процесса, состоящаго вообще въ непрерывномъ переходѣ отъ бытія къ небытію и наоборотъ, причемъ такой переходъ обусловливается всегда дѣйствіемъ извѣстной причины. Г. Чичеринъ прямо называетъ чистую логику такою областью,—законы которой суть законы общіе мысли и бытію. (Стр. 69). Безъ сомнѣнія только въ силу этого принципа тождества мышленія и бытія г. Чичеринъ могъ выразить уже извѣстное намъ положеніе, что разумъ долженъ прежде понять самаго себя, дабы понять другое. Тамъ же онъ высказывается еще рѣшительнѣе. Необходимо, говорить онъ, изслѣдоватъ логическое существо каждого опредѣленія и отношеніе его къ другимъ, и на этомъ основаніи вывести всю ихъ систему. Этимъ только способомъ мы можемъ достичнуть истиннаю пониманія вещей (стр. 61). Такое изслѣдованіе логическихъ опредѣленій онъ различаетъ отъ логического, признавая его очевидно онтологическимъ (т. е. выражющимъ опредѣленія самаго существа вещей или бытія). Формальная логика, говоритъ онъ, изслѣдуя логическія формы и управляющіе ими законы, не можетъ обходить и неразлучныхъ съ ними опредѣленій. Но она береть ихъ какъ

данныя разума, въ томъ видѣ, какъ они раскрываются формою сужденій. Таковы категории Канта (стр. 60-я).

Слѣдя принципу тождества мышленія и бытія, г. Чичеринъ утверждаетъ, что уже въ логическомъ законѣ тождества заключается *определение бытія*. На самомъ дѣлѣ законъ тождества вовсе не заключаетъ въ себѣ определенія бытія. Ибо законъ этотъ существенно состоитъ лишь въ томъ требованіи, чтобы каждую вещь мы мыслили именно какъ эту, а не иную вещь, какъ равную себѣ, тождественную, будемъ ли это *дѣйствительно существующая вещь*, или же не болѣе какъ *наше представление*. Бытіе есть то, что мы полагаемъ виѣ нашего мышленія и противополагаемъ ему. Слѣдя Гегелю конечно можно сказать, что гдѣ противоположность, тамъ должно быть и единство, что хотя мы и противополагаемъ мышленіе бытію, но въ своемъ основаніи то и другое тождественны. Однакожъ такое противоположеніе, (различеніе) и затѣмъ соединеніе противоположнаго суть логическія, т. е., чисто мысленные операции, и имѣютъ свою истинность, т. е. реальное значеніе, только въ отношеніи къ однороднымъ явленіямъ, исходящимъ изъ одного общаго основанія (но мысль и реальность далеко не однородны). Логическое раздѣленіе и соединеніе мы ясно различаемъ отъ реального. Итакъ, когда мы раздѣляемъ мышленіе и бытіе, полагая бытіе виѣ мышленія, то есть ли это раздѣленіе логическое, или же реальное? Очевидно реальное,—ибо мы стремимся сообразовать нашу мысль съ бытіемъ, но и послѣ того какъ достигнуто соответствіе мысли и бытія,—мысль все же остается мыслю и бытіе также противополагается мысли; противоположность эта никогда не переходитъ въ единство, тождество; достигается не единство, тождество, а только соответствіе мысли и бытія. Равнымъ образомъ, если мы, наоборотъ, дѣйствительность стремимся привести въ согласіе съ мыслю (практическое дѣйствіе), то хотя по достижениіи этой цѣли и говоримъ обыкновенно, что мысль стала дѣйствительно-

стю, осуществилась, однако, очевидно, подобный образъ выраженія имѣть значеніе лишь метафорическое, ибо и осуществившаяся мысль все же остается мыслю, и раздѣленіе мысли отъ реальности, которую мы считаемъ осуществленіемъ мысли, не исчезаетъ. Впрочемъ должно замѣтить, что понятіе бытія двусмысленно: оно означаетъ или дѣйствительное существованіе, и въ такомъ случаѣ этимъ понятіемъ полагается нѣчто въ мысли, какъ независимо отъ вида данное, или означаетъ лишь то, что извѣстный признакъ содержится въ извѣстномъ понятіи; бытіе означаетъ и то, что дано въ мысли, и то, что содержится только въ мысли. Отъ этой двусмысленности понятія бытія и происходит именно, что бытіе можно и отождествлять съ мышленіемъ и противополагать ему.

Итакъ разсмотрѣніе логическихъ опредѣленій само по себѣ не можетъ привести насъ къ познанію бытія вещей. Мышленіе есть только способъ, средство воспроизведенія познаваемой нами дѣйствительности, для чего необходимо прежде всего опытное изученіе ея.

### III.

Г. Чичеринъ хочетъ отстоять діалектику Гегеля. Вопросъ о томъ, дѣйствительно ли существуетъ, говоритъ онъ, признанный Гегелемъ діалектическій законъ, съ помощью которого мы можемъ вывести всю систему опредѣленій чистаго разума, подвергся тщательному разбору со стороны философа, одареннаго весьма острымъ, хотя не всегда глубокимъ и яснымъ умомъ, Тренделенбурга. Можно сказать, что *Логическія изслѣдованія* этого мыслителя заключаютъ въ себѣ самую серьезную критику коренныхъ началь діалектики Гегеля, какая являлась въ литературѣ. Поэтому разборъ его возраженій послужить намъ вѣрнѣйшимъ указаниемъ для оцѣнки существа діалектики, ея приемовъ и ея результатовъ (стр. 64). Мы, напротивъ, думаемъ, что хотя бы и удалось отразить возраженія Тренделенбурга, то это само

по себѣ еще не можетъ служить оправданіемъ діалектики Гегеля.

Вотъ какъ г. Чичеринъ изъясняетъ сущность діалектики Гегеля.

„Діалектическій законъ, на которомъ Гегель строитъ всѣ свои выводы, состоитъ въ логическомъ развитіи противоположностей и послѣдующемъ ихъ сочетаніи. Каждое опредѣленіе, по этому воззрѣнію, само собою указываетъ на другое ему противоположное; анализъ же обоихъ обнаруживаетъ ихъ односторонность, а вмѣстѣ и необходимость возведенія ихъ къ высшему единству“ (стр. 63). Но возможно ли логическое развитіе противоположностей? Оно было бы возможно, если бы дѣйствительно каждое опредѣленіе указывало само по себѣ на другое ему противоположное, такъ чтобы одно вытекало изъ другаго; но этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Противоположности могутъ быть намъ известны только по опыту, а никакъ не могутъ быть выводимы діалектически, независимо отъ опыта. Важнѣйшая противоположность, которую требовалось изъяснить, и изъясненіе которой составляетъ задачу всей философіи Фихте-Шеллинго-Гегеліанской, есть противоположность природы и духа; но эта противоположность прямо дана намъ въ опытѣ; тоже должно сказать и о всѣхъ другихъ противоположностяхъ, находимыхъ какъ въ духѣ, такъ и въ природѣ вѣнчайшей.

„Исходную точку всего логического движенія (у Гегеля) составляетъ самое отвлеченое логическое опредѣленіе, понятіе о чистомъ бытіи. Противоположно ему понятіе о небытіи. Но оба эти опредѣленія односторонни, и одно безъ другаго не мыслимо. Чистое бытіе есть бытіе безъ всякаго опредѣленія, пустое бытіе, т. е. ничто; слѣдовательно оно само есть отрицаніе. Небытіе же есть известное опредѣленіе, также какъ и бытіе; слѣдовательно оно само въ себѣ есть положеніе. Такимъ образомъ оказывается, что одностороннее опредѣленіе само собою превращается въ противополож-

ное. Переходъ бытія въ небытіе и небытія въ бытіе есть процессъ (das Werden), котораго результатомъ является бытіе опредѣленное, нѣчто (das Daseyn), заключающее въ себѣ положеніе и отрицаніе вмѣстѣ". (Стр. 63—64). Вотъ образецъ вывода противоположныхъ понятій. Выводъ состоить въ томъ, что такъ какъ понятіе бытія столь же пусто и безсодержательно, какъ и противоположное ему понятіе небытія, и въ этомъ отношеніи оба равны, то посему мысль невольно, при ближайшемъ разсмотрѣніи одного изъ нихъ, именно понятія чистаго бытія, переходитъ отъ него къ другому противоположному. Относительно этого нельзѧ не замѣтить прежде всего,—почему чистому бытію противополагается небытіе? Скорѣе слѣдовало бы противоположить бытію чистому бытіе смѣшанное, разумѣя первое какъ совершенно отвлеченное понятіе, отвлеченное отъ всякихъ опредѣленныхъ качествъ, а послѣднее какъ бытіе, соединенное съ опредѣленными качествами; при такомъ противоположеніи уже не оказывается равенства между противоположными понятіями. Затѣмъ, можно ли разумѣть процессъ какъ переходъ бытія въ небытіе, или наоборотъ? Все происходящее происходитъ изъ чего либо уже существующаго, а не изъ небытія.

Тренделенбургъ возражаетъ противъ діалектики Гегеля, что какъ понятіе бытія, такъ и понятіе небытія, будучи покоящимися, сами по себѣ не могутъ привести мысль къ отличному отъ нихъ понятію движенія, процесса. „Ясно, что представлениe процесса на самомъ дѣлѣ не выводится діалектически, а заимствуется отвнѣ. Чистая мысль, для того, чтобы двинуться съ мѣста, заимствуетъ вѣнчайший образъ движения въ пространствѣ, который одинъ даетъ намъ понятіе о какомъ бы то нибыло движеніи. Съ пустыми понятіями бытія и небытія ничего нельзѧ сдѣлать; только съ помощью этого, извнѣ полученнаго представления, мысль переводить одно понятіе въ другое и какъ будто становится на высшую точку зреівія". Разбирая это возраженіе Трен-

деленбурга, г. Чичеринъ говоритъ, что „чистое бытіе есть не простое положеніе, а такое положеніе, которое не только заключаетъ въ себѣ отрицаніе, но и не заключаетъ въ себѣ ничего кромѣ отрицанія, бытіе же просто есть понятіе положительное, а не отрицательное; посему въ понятіи чистаго бытія заключается и утвержденіе и отрицаніе: бытіе есть положительное понятіе,—чистое же бытіе есть такое бытіе, относительно которого отрицаются всякий опредѣленный признакъ, а такое бытіе невозможно, слѣдов. тоже что ничто, или небытіе“<sup>4</sup>. Такимъ то образомъ понятіе чистаго бытія разрѣшается въ понятіе небытія. Здѣсь г. Чичеринъ видѣть переходъ отъ одного понятія къ другому, именно отъ понятія чистаго бытія къ понятію небытія. Но если уже понятіе чистаго бытія, какъ полагаетъ г. Чичеринъ, есть отрицательное, также какъ и понятіе небытія, то поэтому на самомъ дѣлѣ нѣтъ здѣсь перехода къ новому, иному понятію; перехода отъ чистаго бытія къ небытію мысль наша ничего не выигрываетъ при этомъ. Переходъ этотъ просто означаетъ лишь то, что чистаго бытія нѣтъ, что такое бытіе невозможно, не существуетъ. Этимъ отрицаются понятіе, въ которомъ, какъ находитъ г. Чичеринъ, заключается противорѣчіе, и только; чтожь дальше? Дальнѣйшее движение мысли основывается единственно на предположенномъ переходѣ отъ одного понятія (чистаго бытія) къ другому понятію (небытія), на переходѣ, котораго на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Именно, самый переходъ мысли отъ одного понятія къ другому есть уже процессъ, и потому результатомъ такого процесса является будто бы новая мысль, новое понятіе, и это—понятіе процесса. Процессъ есть нечто иное какъ переходъ отъ бытія къ небытію, и наоборотъ. Слѣдовательно, если не существуетъ чистое бытіе, а также и небытіе, то остается признать, что въ дѣйствительности есть только непрерывно совершающійся процессъ, какъ переходъ отъ бытія къ небытію и обратно. Таковъ смыслъ нового понятія, понятія процесса, выведенаго діалектически

чрезъ отрицаніе прежнихъ понятій бытія и небытія. Со времени Аристотеля существуетъ въ школьной логикѣ правило, по которому одно изъ условій, для полученія силлогистического вывода, есть то, чтобы по крайней мѣрѣ одно изъ сужденій, служащихъ посылками, было утвердительное; изъ однихъ отрицательныхъ понятій, по этому правилу, нельзя сдѣлать никакого вывода. Въ послѣднихъ книжкахъ немецкаго философскаго журнала (*Zeitschrift für Philosophie und philosoph. Kritik*) помѣщена статья, гдѣ критикуется школьная логика, и между прочимъ авторъ этой статьи, на основаніи приводимыхъ имъ примѣровъ, доказываетъ, что опредѣленный выводъ получается и тогда, если посылками служатъ одни отрицательные сужденія. Дѣйствительно, если изъ двухъ противоположныхъ случаевъ или признаковъ отрицаются одинъ и другой, то этимъ самымъ утверждается уже нечто среднее между противоположностями, которыхъ отрицаются. Если напр. этотъ человѣкъ ни добръ, ни золъ, то это значитъ, что отчасти онъ имѣть и одно качество и другое; если теперь ни холодно, ни жарко, то значитъ мы имѣемъ умѣренную температуру; есть также средина между свѣтомъ и тьмою и под. Равнымъ образомъ если бытіе и небытіе отрицаются, то не должно ли быть допущено нечто среднєе? А среднее между бытіемъ и небытіемъ есть именно то, что отчасти есть, существуетъ, а отчасти не есть, не существуетъ т. е. бытіе опредѣленное, имѣющее извѣстныя свойства, отношенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣющее другихъ свойствъ и отношеній. Такъ именно въ древности Платонъ разшаль споръ о томъ, слѣдуетъ ли утверждать, что только бытіе, сущее есть, или же должно допустить и небытіе наряду съ бытіемъ. Такимъ образомъ, если чистое бытіе тоже что небытіе, и если оба эти понятія, будучи отрицательными, не удовлетворяютъ нашу мысль, и должны быть замѣнены новыми, притомъ положительнымъ понятіемъ, то неѣтъ никакой необходимости, чтобы таковыми было именно понятіе процесса. Отрицаніе чистаго бытія и небытія приводить насъ не къ

понятію процесса, а къ понятію бытія опредѣленнаго; по крайней мѣрѣ нельзѧ признать понятіе процесса единствено возможнымъ, а потому логически необходимымъ исходомъ для мысли, вынужденной отрицать и абстрактное понятіе чистаго бытія и столь же абстрактное понятіе небытія.

Такъ какъ, по мнѣнію г. Чичерина, самъ по себѣ діалектическій переходъ мысли отъ одного понятія къ другому приводитъ насъ къ понятію *процесса*, то поэтому онъ утверждаетъ, что для понятія о процессѣ намъ вовсе не нужно прибѣгать къ представлению о виѣшнемъ движеніи. Это понятіе, говорить онъ далѣе, дается намъ самимъ движениемъ нашихъ понятій, а не заимствуется извнѣ. „Можно сказать даже, что представлениe о виѣшнемъ движеніи получается нами вслѣдствіе внутренняго процесса, а не наоборотъ, ибо мы замѣчаемъ перемѣну мѣста единственно вслѣдствіе того, что происходитъ перемѣна нашихъ представлений“ (стр. 68). Несколько ниже онъ, уже не довольствуясь такимъ рѣшеніемъ вопроса, находитъ, что первоначальное понятіе о движеніи не можетъ быть получено и изъ представления о перемѣнѣ нашихъ внутреннихъ (?) представлений, ибо и тутъ мы имѣемъ только отдельный видъ движенія, частное приложеніе общаго начала. Откуда же наконецъ происходитъ понятіе движенія? Чтобы получить послѣднее, говоритъ г. Чичеринъ, мы должны взойти выше, въ ту область, которой законы понимаются нами какъ общіе мысли и бытію и которая поэтому одна служить связью между внутреннимъ опытомъ и виѣшнимъ, т. е. въ чистую логику. Если мы возьмемъ представлениe о виѣшнемъ движеніи, которое не содержитъ въ себѣ ничего, кроме перемѣны мѣста, и представлениe о внутреннемъ, душевномъ движеніи, которое не заключаетъ въ себѣ никакой перемѣны мѣста, то мы не найдемъ между ними ничего общаго, кроме отвлеченного, т. е. чисто логического понятія о движеніи вообще. Это и есть первоначальная логическая категорія, подъ которую подводятся затѣмъ и

внѣшнее движение и внутреннее (стр. 69). Итакъ понятіе движения есть логическая категорія. Однако ни Аристотель, ни Кантъ не считали этого понятія въ числѣ категорій. Если понятіе движения—логическая категорія, то понятіе это должно имѣть связь съ логическими законами мышленія; оно вытекало бы изъ этихъ законовъ. Г. Чичеринъ не сдѣлъ однако логического вывода этого понятія, т. е. не показалъ, какую связь имѣть понятіе движения съ законами мышленія; онъ не сдѣлъ этого конечно потому, что и не могъ сдѣлать. Въ самомъ дѣлѣ, элеатская школа, какъ мы знаемъ уже, отрицала всякую измѣняемость бытія, а вслѣдствіе того отрицала и движение (ибо измѣняемость можетъ быть только послѣдствіемъ движения), причемъ, какъ мы видѣли, Зенонъ доказывалъ, что самое понятіе движения заключаетъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе, слѣдовательно есть понятіе невозможное для мысли. Такимъ образомъ, по учению несомнѣнно глубокихъ мыслителей древности, понятіе движения не только не можетъ быть признано логическимъ понятіемъ, т. е. необходимо присущимъ нашему мышленію, напротивъ съ точки зрѣнія чистаго, вполнѣ логического мышленія, означенное понятіе рѣшительно должно быть отвергнуто какъ немыслимо т. е. невозможное. Конечно очевидность не позволяетъ идти такъ далеко, но съ другой стороны несомнѣнно (и въ этомъ состоить истинность элеатского ученія), что къ понятію движения мы приходимъ единственно чрезъ чувственное созерцаніе, а не чрезъ мышленіе, и потому понятіе движения не только не есть логическая категорія, но даже не есть собственно понятіе, а представление, созерцаніе. Въ самомъ дѣлѣ, движение не только происходитъ въ пространствѣ и времени, но и есть, такъ сказать, чисто пространственный процессъ, а время само представляется намъ какъ движение, такъ что представление движения ближайшую, тѣснѣшую связь имѣть съ представлениями пространства и времени. Конечно движение мыслей не происходитъ въ про-

странствъ, но оно происходит во времени, а представление движения, будучи заимствовано изъ вѣшняго опыта, легко можетъ быть перенесено и на внутренній, такъ какъ въ перемѣнахъ, совершающихся въ пространствѣ и во времени, есть общая черта,—именно послѣдовательность. Поэтому нельзя сказать, какъ это утверждаетъ г. Чичеринъ (см. выше приведенное мѣсто), что „представление о вѣшнемъ движениі, которое не содержитъ въ себѣ ничего, кроме перемѣны мѣста, и представление о внутреннемъ, душевномъ движениі, которое не заключаетъ въ себѣ никакой перемѣны мѣста, ничего общаго между собою не имѣютъ, кроме отвлеченнаго, т. е. чисто логического понятія о движениі вообще (стр. 69). Напротивъ, понятіе движениія не было бы приложимо къ вѣшнимъ и внутреннимъ перемѣнамъ, еслибы на самомъ дѣлѣ ничего общаго между тѣми и другими перемѣнами не было, кроме самаго понятія движения. Какимъ образомъ понятіе движениія было бы общимъ для вѣшнихъ и внутреннихъ перемѣнъ, если бы ни въ чёмъ не были подобны эти перемѣны? Вѣдь если понятіе движениія одинаково относится и къ вѣшнимъ и внутреннимъ перемѣнамъ, и такимъ образомъ можетъ быть общимъ для тѣхъ и другихъ, то это именно и означаетъ, что въ тѣхъ и другихъ перемѣнахъ содержится нечто подобное, и это подобное даетъ намъ право прилагать понятіе движениія безразлично къ перемѣнамъ того и другаго рода; подобие это заключается, какъ сказано, въ послѣдовательности, свойственной тѣмъ и другимъ перемѣнамъ. Такъ какъ внутреннія, сознаваемыя нами, перемѣны и дѣйствія души, не будучи пространственными, происходятъ въ извѣстной послѣдовательности, равно и вѣшнія перемѣны, состоящія вообще въ перемѣщеніи, также въ извѣстной послѣдовательности совершаются, то вотъ почему представлениія, относящіяся къ вѣшнимъ перемѣнамъ, какъ наиболѣе наглядныя, и потому очевиднѣйшія для наст., мы переносимъ и на внутреннія перемѣны, какъ бы желая чрезъ то сдѣлать послѣднія бо-

лье наглядными. Въ этомъ только смыслъ, то есть метафорически, а не въ собственномъ, мы говоримъ о душевныхъ движениихъ; въ древности круговое движение считали образомъ непрерывной и сосредоточенной въ себѣ дѣятельности ума; независимо же отъ пространства и времени и свойственной тому и другому послѣдовательности частей (одна въ другой расположенныхъ въ пространствѣ, и одна другую смѣняющихъ во времени), мы не можемъ представить никакого движения. Вотъ почему, желая поставить умъ божественный въ всякихъ ограниченій пространства и времени, говорить обыкновенно, что онъ заразъ все мыслить, будущее и прошедшее познаеть какъ настоящее, то есть безъ всякой послѣдовательности, свойственной времени, и на этомъ основаніи Аристотель признавалъ разумъ божественный, или что тоже—Божество, неподвижнымъ.

#### IV.

Но если діалектика Гегеля не можетъ быть вполнѣ оправдана, то слѣдуетъ ли совершенно отвергнуть діалектику? Должно ли думать, какъ некоторые думаютъ, что діалектика—пустая игра понятіями, не приводящая ни къ чему положительному и прочному?

Выше было замѣчено, что діалектика есть совокупность логическихъ процессовъ; посему она столь же необходима, сколько необходимо для насъ само мышленіе. Діалектика—это искусство мыслить. Въ этомъ обширномъ смыслѣ она имѣть мѣсто во всякой области знанія, равно какъ и въ жизни практической. Но особенное выдающееся значение принадлежитъ ей безспорно въ области философіи. И это понятно. Философія занимается изслѣдованіемъ наиболѣе общихъ вопросовъ; діалектика также вращается въ кругу отвлеченныхъ, общихъ понятій. Отсюда очевидно, что діалектическое изслѣдованіе и рѣшеніе вопроса можетъ

быть умѣстно только тамъ, гдѣ это рѣшеніе достижимо по-средствомъ анализа отвлеченныхъ общихъ понятій; напротивъ было бы слишкомъ самонадѣянно пытаться рѣшить вопросъ, при помощи одной діалектики, въ томъ случаѣ, когда это вопросъ специальный, и рѣшеніе его зависить вполнѣ отъ наблюденія и изученія относящихся къ нему фактическихъ данныхъ. Впрочемъ и самъ Гегель, который столь широкое значеніе придавалъ діалектику, и который, въ ущербъ достоинству своей философіи, хотѣлъ діалектически разрѣшить такой специальный вопросъ, какъ напр. о числѣ планетъ въ солнечной системѣ,—и онъ долженъ былъ признать, что природа повсюду представляетъ множество разнообразныхъ явлений, не поддающихся діалектическому выводу. Наоборотъ, тамъ, гдѣ требуется діалектическое изслѣдованіе общихъ понятій, частные фактическія указанія слишкомъ недостаточны, и сами по себѣ не рѣшаютъ вопроса. Вотъ почему по необходимости оказываются крайне односторонними, узкими и поверхностными всѣ попытки къ построению болѣе или менѣе общихъ, широкихъ воззрѣній на основаніи частныхъ отрывочныхъ фактовъ.

Но если діалектика необходима, то въ чёмъ она должна состоять и какова ея задача?

Если діалектика есть искусство мыслить, то полное понятіе о ней можетъ быть выведено только изъ законовъ мышленія. Въ первой статьѣ (о законахъ мышленія) указаны понятія, имѣющія связь съ законами мышленія. Очевидно и діалектика должна имѣть ближайшее отношение къ этимъ понятіямъ. Разматривая діалектику съ этой точки зреінія, не трудно показать также, въ чёмъ именно заключается несостоятельность діалектики Гегеля.

Діалектика по Гегелю, какъ мы видѣли, вообще состоитъ въ раскрытии противоположности данного понятія или определенія (тезисъ переходитъ въ антитезисъ) и въ сведеніи этой противоположности къ единству. И эта проти-

воположность, и это единство должны быть представлены какъ необходимые моменты или степени въ раскрытии каждого данного понятія. Основаніе понятаго такимъ образомъ діалектическаго процесса заключается очевидно въ томъ, что, хотя по закону тождества каждый предметъ мы должны мыслить какъ единый, равный самому себѣ, тождественный, однако опытъ повсюду показываетъ намъ разности, доходящія до противоположности, въ свойствахъ, состояніяхъ, дѣйствіяхъ и отношеніяхъ, принадлежащихъ одному и тому же предмету; это разнообразіе свойствъ, дѣйствій, состояній ч т. д. мы можемъ согласить съ вышеозначеннымъ требованіемъ мышленія только такимъ образомъ, что единство, равенство или тождество предмета мы относимъ къ сущности его, которую поэтому мы мыслимъ какъ неизмѣнную, а различіе и противоположности, находимыя въ свойствахъ, дѣйствіяхъ, состояніяхъ того же предмета, рассматриваемъ какъ явленія, обнаруженія сущности. Такимъ образомъ, собственно логическимъ опредѣленіемъ мы можемъ считать только понятіе или вѣриѣ требованіе единства; напротивъ различія, противоположности составляютъ то, что узнается по опыту, и что поэтому не можетъ быть выведено діалектически; мышленіе потому именно требуетъ сводить къ единству различія, противоположности, что сами по себѣ эти различія, противоположности являются чѣмъ то чуждымъ для мысли, непонятнымъ; мысль наша чувствуетъ себя удовлетворенною только тогда, если ей удастся усмотретьъ единство и связь въ многоразличномъ и многообразномъ; сведеніе же многоразличнаго къ единству вообще состоить въ томъ, что мы относимъ всю совокупность однородныхъ явленій или къ одной причинѣ, или къ одной цѣли, при чёмъ какъ причина, такъ и цѣль составляютъ для нась существенное въ явленіяхъ, именно то, чего мы дослѣдствуемся въ явленіяхъ и чтоб хотимъ опредѣлить.

Для того чтобы сдѣлать возможнымъ діалектический выводъ реальныхъ противоположностей, Гегель старался представить каждую такую противоположность въ видѣ ло-

гической, т. е. противорѣчашей, противоположности утверждения и отрицанія. Поэтому реальное развитіе различныхъ формъ бытія Гегель изъяснялъ въ томъ смыслѣ, что развивающаяся сущность, переходя въ каждую послѣдовательную ступень развитія, относится будтобы къ прежней, пережитой ею, ступени уже какъ къ чему то чуждому, постороннему для нея, и потому отрицаетъ онуу, утверждаясь въ новой ступени. Такимъ образомъ Гегель по необходимости переносилъ субъективныя формы мышленія на объективныя формы реальной дѣйствительности, смѣшивая чрезъ то самыя разнородныя вещи. Это же самое смѣшеніе мы встрѣчаемъ и у г. Чичерина: отношение сущаго къ себѣ, говорить онъ, есть положеніе, отношение въ другому есть отрицаніе; но сущее относится къ себѣ именно чрезъ то, что оно отрицааетъ другое, и наоборотъ, оно отрицаеть другое именно чрезъ то, что оно есть нѣчто само по себѣ (стр. 70). Что такое это отношение сущаго къ себѣ? Отношеніе къ себѣ свойственно лишь тому, что имѣть о себѣ нѣкоторое сознаніе; но какимъ образомъ отношение къ себѣ можетъ имѣть то, что лишено всякаго сознанія? Далѣе, почему отношение къ другому непремѣнно есть отрицаніе? Можетъ быть отношение къ другому и положительное, и наоборотъ, отношение къ себѣ—отрицательное.

Такъ какъ опытъ повсюду указываетъ намъ различія, противоположности, единство же въ различномъ есть требование логическое, то поэтому діалектика вступаетъ въ свое право лишь тогда, когда отдѣльные факты изслѣдованы, распределены по группамъ, и сдѣланы болѣе или менѣе значительныя обобщенія, т. е. когда, руководясь фактическими указаніями, мы пришли къ известнымъ общимъ выводамъ, начальамъ, или принципамъ. Необходимо изслѣдование и самыхъ этихъ выводовъ или началъ. Здѣсь мы уже оставляемъ почву непосредственныхъ фактовъ, и переходимъ въ область понятій, идей и слѣдоват. въ область діалектики. Требование единства нарушается, когда смѣшиваются различные понятія,

а потому задача діалектики состоитъ въ томъ, чтобы разграничить предѣлы каждого понятія; далѣе, необходимо также опредѣлить взаимную связь понятій, т. е. согласить различные понятія, и такимъ образомъ найти болѣе общее единство, и по возможности вывести ихъ изъ одного принципа, чрезъ что само собою опредѣлится собственное значеніе каждого понятія. Какимъ образомъ опытное изслѣдованіе неизбѣжно переходитъ въ изслѣдованіе діалектическое, это можно видѣть на слѣдующемъ примѣрѣ. Долгое время различные виды живыхъ существъ признавали изначала существующими и неизмѣнными, по крайней мѣрѣ въ существенныхъ своихъ чертахъ. Но сначала Ламаркъ выразилъ въ видѣ предположенія, а затѣмъ Дарвинъ собралъ множество фактовъ, чтобы доказать ту мысль, что и самые виды организмовъ подлежать измѣняемости,—мысль, которая повела къ тому заключенію, что различные виды организмовъ не всегда были такими, какими ихъ видимъ теперь, но образовались постепенно путемъ накопленія многочисленныхъ разностей. Основываясь на множествѣ наблюденій, Дарвинъ старается объяснить измѣняемость видовъ свойственною всѣмъ организмамъ борьбою за существование и стремлѣніемъ ихъ приспособиться къ измѣнчивымъ условіямъ своего существования. Однакожъ, съ другой стороны, опытъ удостовѣряетъ, что если виды организмовъ и подлежать измѣняемости, то эта измѣняемость во всякомъ случаѣ не такова, какъ измѣняемость индивидуальныхъ, болѣе или менѣе случайныхъ признаковъ. Если прежде считали виды неизмѣнными, то это потому, что, какъ показываетъ опытъ, общія типическія черты, совокупность которыхъ составляетъ отдельный видъ, постоянно оказываются устойчивыми, неизмѣнно передаваясь по наслѣдству отъ одного поколѣнія къ другому. Дарвинъ конечно не могъ этого отрицать, и онъ дѣйствительно придаетъ важное значеніе закону наслѣдственной передачи признаковъ. Такимъ образомъ законъ наслѣдственной передачи признаковъ обнаруживаетъ стремленіе, свойственное всему живому, къ удержанію существующихъ

отличий; въ тоже время борьба за существование производить непрерывную измѣненность всѣхъ свойствъ и особенностей, отличающихъ различные виды. Таковы эмпирические законы, т. е. обобщенія, полученные путемъ опыта. Возможно ли остановиться на этихъ обобщеніяхъ? Очевидно нельзя, ибо необходимо показать, какимъ образомъ могутъ вести къ одной цѣли, именно къ образованію новыхъ видовъ, два противодѣйствующіе другъ другу начала,—одно стремящееся къ сохраненію и упроченію существующихъ типовъ, другое же, напротивъ, стремящееся разрушить существующие признаки и образовать новые? Здѣсь, очевидно, необходимо анализъ добытыхъ понятій, т. е. діалектическое изслѣдованіе означенныхъ обобщеній. Если два названныя начала взаимно не парализуютъ, не уничтожаютъ другъ друга,—а это необходимо допустить, ибо иначе они не дѣйствовали бы,—то несомнѣнно въ такомъ случаѣ, что они ограничиваютъ другъ друга, что дѣятельность одного ограничивается дѣятельностью другаго. Итакъ необходимо разграничить дѣятельность того и другаго начала. Какъ же возможно такое разграничение? Допустить, что сначала одно начало дѣйствуетъ, а потомъ другое—невозможно: если оба начала составляютъ необходимые законы природы, то и дѣйствіе каждого изъ нихъ должно продолжаться непрерывно, ибо и всякий законъ природы никогда не теряетъ своей силы. Невозможно себѣ представить, чтобы одно время непрерывно совершались измѣненія организмовъ, а затѣмъ въ другое время не происходило бы никакихъ перемѣнъ. Это было бы измѣненіе самыхъ законовъ природы, чего конечно никакой естествоиспытатель не согласится допустить. Итакъ оба начала,—и начало производящее перемѣны, и начало сохраняющее разъ существующія особенности, должны дѣйствовать совмѣстно, и слѣдоват. одно начало должно ослаблять дѣйствіе другаго, а именно: въ силу закона наслѣдственности, измѣненность видовыхъ признаковъ должна происходить съ крайнею медленностію, и

дѣйствительно, по теоріи Дарвина, измѣняемость эта со-  
стоитъ въ томъ, что мало по малу, въ теченіи вѣковъ и  
цѣлыхъ тысячелѣтій, накапливаются самыя незначительныя  
уклоненія отъ видового типа, и этимъ путемъ образуется  
разновидность. Но такъ какъ измѣняемость условливается  
борьбою за существование, т. е. стремленіемъ живыхъ сущес-  
твъ къ самосохраненію, то должны возникать и накоп-  
ляться видоизмѣненія только полезныя въ какомъ либо от-  
ношении для организма. Какая же можетъ быть польза для  
организма въ приобрѣтеніи такого видоизмѣненія, которое  
только вслѣдствіе многочисленныхъ повтореній и накопленій  
можетъ сдѣлаться годнымъ для него орудіемъ? Очевидно,  
что пока не сформировалась вполнѣ известная особенность  
организма—а для этого нужны тысяченѣтія,—до тѣхъ поръ  
эта особенность будетъ оставаться совершенно случайною,  
ни на что ненужною привадлежностію,—сайд. безъ всякаго  
употребленія; между тѣмъ только употребленіе известнаго  
признака можетъ способствовать дальнѣйшему его развитію  
и усовершенствованію; оставаясь же безъ употребленія онъ  
долженъ исчезнуть. Итакъ мы видимъ, что законъ наслѣд-  
ственной передачи признаковъ, крайне замедляя дѣйствіе  
другаго начала, именно борьбы за существование (начало  
это по теоріи должно обнаруживаться въ усовершенствова-  
ніи существующихъ признаковъ и въ образованіи новыхъ)  
и чрезъ то, лишая это начало всякихъ полезныхъ для орга-  
низма послѣдствій, низводить его такимъ образомъ на сте-  
пень несущественнаго агента по отношенію къ отличитель-  
нымъ признакамъ организмовъ. Является, вслѣдствіе этого,  
сомнѣніе, точно ли такъ далеко простирается измѣняемость  
организмовъ, какъ утверждаетъ Дарвинъ, переходить ли  
эта измѣняемость за предѣлы видовыхъ разностей, или же  
она недостаточна для того, чтобы когда либо могли обра-  
зоваться новые виды? Такъ самъ по себѣ діалектическій  
анализъ понятій, найденныхъ путемъ опыта, способствуетъ  
рѣшенію вопроса.

Физикъ и химикъ, изучая свойства и отношения различныхъ дѣятелей физической природы, приходятъ къ различнымъ понятіямъ и опредѣленіямъ, каковы напр. понятія силы, матеріи, понятія о законѣ, атомахъ и т. д. Необходимъ логический анализъ этихъ понятій, слѣд. и діалектика, дабы установить точный смыслъ каждого изъ такихъ понятій, разграничить ихъ и опредѣлить ихъ взаимное отношение и связь. Тѣмъ болѣе необходима діалектика въ наукахъ нравственныхъ, т. е., изучающихъ духовный міръ человѣка, такъ какъ и самые предметы, изученіемъ которыхъ занимаются эти науки, составляютъ преимущественно идеи, понятія, воззрѣнія, которыми въ разное время жило или живетъ человѣчество.

---

## ПОЗНАНИЕ И БЫТИЕ.

(Наука и религія Б. Чичерина. Москва 1879 г.).

И въ древней и въ новой философіи вопросъ объ отношеніи познанія къ бытію вещей познаваемыхъ болѣе всѣхъ другихъ занималъ умы философовъ, и по справедливости считается важнѣйшимъ вопросомъ философіи. Рѣшеніе этого вопроса допускаетъ троекуую возможность. Или познаніе и бытіе совершенно раздѣльны, такъ что не имѣютъ одно съ другимъ никакого соприкосновенія, ибо познаніе есть совокупность представлений въ нашемъ сознаніи, а бытіе—внѣ сознанія (скептицизмъ); или познаніе и бытіе тождественны, такъ что формы и степени познанія суть вмѣстѣ съ тѣмъ формы и степени бытія (равное познается равнымъ), т. е. первыя съ послѣдними совпадаютъ; или наконецъ, не признавая правильнымъ ни то, ни другое рѣшеніе вопроса, можно остановиться на томъ предположеніи, что между познаніемъ и бытіемъ должно быть соотвѣтствіе. Съ точки зрѣнія тождества (представители ея въ древности—Платонъ, а въ новое время Фихте, Шеллингъ и Гегель) бытіе само открывается въ познаніи, производить его, дѣйствуя въ познающемъ, который, такимъ образомъ, по мѣрѣ того какъ познаетъ, является органомъ открывающагося въ немъ бытія.— Полагая же между бытіемъ и познаніемъ лишь отношеніе

соответствія, а не тождество, мы должны въ этомъ случаѣ строго различать познаніе и бытіе, причемъ очевидно и дѣятельность познавательная получаетъ болѣе самостоятельное значеніе, ибо бытіе (при такомъ взглѣдѣ на познаніе) уже не само собою познается, лишь только познающій входитъ въ соприкосновеніе съ нимъ; напротивъ оно всегда остается лишь предметомъ, т. е. тѣмъ, что должно быть познано, и соответство познанія съ бытіемъ есть собственное дѣло познающаго; по крайней мѣрѣ такое соответство только отчасти дано; главнымъ же образомъ оно есть цѣль всегда стоящая впереди, которой нужно еще достигнуть.

Нельзя не признать такое рѣшеніе вопроса наиболѣе согласнымъ съ истиной. Но спрашивается: въ чёмъ состоить это соответство познанія и бытія и какъ мы можемъ убѣдиться въ томъ, что оно для насъ возможно?

Несомнѣнно прежде всего, что наше познаніе, именно какъ познаніе, состоитъ изъ представлений и понятій, частію данныхъ, а частію выработанныхъ при содѣйствіи нашего ума. Но представление или понятіе очевидно не тождественно съ тѣмъ, что составляетъ предметъ представлія или понятія. И въ этомъ смыслѣ правы тѣ, которые раздѣляютъ бытіе отъ познанія, противополагая одно другому. Можно, пожалуй, возразить, что и самое познаніе есть дѣятельность, бытіе, которое содержится въ нашемъ духѣ, и даже важнейшая дѣятельность сравнительно съ тою, которую мы противополагаемъ познанію (Лотце). Но съ этой точки зрѣнія исчезаетъ всякое различіе между истиннымъ и ложнымъ, ибо рассматривая представлія, понятія, просто какъ факты, дѣятельность въ нашемъ духѣ, мы не находимъ въ этомъ отношеніи никакого различія между правильнымъ и неправильнымъ. Очевидно, не возможно рассматривать познаніе такимъ образомъ, т. е. безъ всякаго отношения къ тому, что составляетъ объектъ познанія, безъ отношенія къ дѣятельности познаваемой. Съ другой стороны, конечно и самое познаніе мы также можемъ обра-

щать въ объектъ разсмотрѣнія; однакожъ и при этомъ мы рассматриваемъ познаніе не просто какъ объектъ, но какъ представлѣніе другаго объекта; не само по себѣ познаніе есть предметъ, а какъ выраженіе иного предмета; познаніе мы всегда рассматриваемъ относительно познаваемаго; виѣ же этого отношенія познаніе не имѣть никакого значенія; оно не есть тогда познаніе.

Итакъ познаніе должно раздѣлять отъ бытія; но отсюда не слѣдуетъ (какъ утверждаютъ скептики), что бытіе недоступно для познанія, иначе познаніе не было бы познаніемъ. Будучи раздѣльнымъ отъ бытія, познаніе въ тоже время необходимое имѣть отношеніе къ бытію. Какъ же примѣрить познаваемость бытія съ раздѣльностію его отъ познанія?

Недолжно понимать соотвѣтствіе познанія съ бытіемъ такъ, какъ бы на одной сторонѣ даны были формы познанія, а на другой—формы бытія, при чёмъ сознаніе напѣ, обнимая тѣ и другіе, можетъ сопоставлять ихъ и сравнивать, ибо очевидно такое сопоставленіе и сравненіе формъ познанія и бытія для насъ невозможно; мы можемъ сравнивать представленія только съ представленіями, идеи съ идеями. Отношеніе познанія и бытія не есть нѣчто общее для обоихъ, равно связывающее въ себѣ и то и другое. Оно заключается въ самомъ познаніи и не выступаетъ виѣ его. Выше сказано, что познаніе мы не можемъ рассматривать отдельно отъ всякаго отношенія его къ бытію познаваемому; колѣ скоро же невозможно отдѣлять этого отношенія отъ познанія, то слѣдоват., будучи существенною принадлежностью познанія, оно заключается въ самомъ познаніи. Отношеніе къ бытію не есть что либо побочное, постороннее и несущественное для познанія, чтоб поэтому могло быть и не быть; напротивъ, оно заключается въ самомъ существѣ познанія. Дѣйствительно, съ каждымъ представленіемъ у насъ соединяется мысль о бытіи, т. е. отношеніе къ представляемому. Такъ какъ отношеніе къ бытію лежитъ въ

самомъ существѣ познанія, то посему и каждый актъ по-  
знавательной дѣятельности, т. е. каждое понятіе, каждое  
представленіе необходимо заключаетъ въ себѣ тоже отно-  
шеніе. Отношеніе это въ такой степени нераздѣльно съ наши-  
ми представлѣніями и понатіями, что мы обыкновенно не раз-  
личаемъ представлѣнія отъ самой вещи представляемой, понятія—отъ того, къ чему оно относится. На этомъ - то осно-  
ваніи Гегель и полагалъ, что каждое понятіе, имѣя въ суще-  
ствѣ свое (не смотря на свое тождество) отношеніе къ  
иному, неизбѣжно должно переходить въ другое понятіе;  
связь одного понятія съ другимъ и переходъ одного въ дру-  
гое объясняется, по Гегелю, тѣмъ, что каждое въ отдѣль-  
ности понятіе есть только часть истины, а не вся истина,  
т. е. не вполнѣ, а только отчасти выражаетъ дѣйствитель-  
ность, или что тоже—бытие, и потому необходимо требуетъ  
восполненія въ другомъ понятіи. Итакъ вообще процессъ  
перехода одного понятія въ другое по Гегелю есть слѣд-  
ствіе общаго для всѣхъ понятій, свойственного каждому изъ  
нихъ, отношенія къ дѣйствительности или бытію чрезъ нихъ  
познаваемому. Ибо только въ виду всесцѣлой дѣйствитель-  
ности, въ отношеніи къ ней именно каждое понятіе оказы-  
вается недостаточнымъ, и эта-то неполнота каждого въ  
отдѣльности понятія препровождаетъ мысль къ другому  
понятію. Но какъ возможно было бы это сознаніе непол-  
ноты отдѣльныхъ понятій относительно всесцѣлой дѣйстви-  
тельности, т. е. сравнительно съ нею, если бы сама эта дѣй-  
ствительность не была присуща понатіямъ, не заключалась  
въ нихъ, какъ движущій ихъ принципъ, какъ цѣль направ-  
ляющая весь процессъ ихъ развитія, состоящаго въ непрерыв-  
номъ переходѣ ихъ одного въ другое. Дѣйствительность,—  
это есть творческая сила, сама себя образующая; сила эта  
дѣйствительна по преимуществу въ разумѣ и чрезъ разумъ,  
ибо должна быть разумна, слѣдоват. мы должны мыслить  
ее какъ нераздѣльное единство, тождество познанія и бытія.

Такимъ образомъ по учению Гегеля выходитъ, что если

для мышления необходимъ переходъ отъ одного понятія къ другому, то этотъ переходъ совершается въ нась самою дѣйствительностію, которая въ нихъ же, т. е. въ понятіяхъ, заключается и чрезъ нихъ же познается. Дѣйствительность сама себя познаетъ въ нась, и сама себя производить, по мѣрѣ того какъ познаетъ. Но мы сами значимъ ли при этомъ что нибудь? Ужъ конечно дѣйствительность такъ же точно неотдѣлма отъ нась, какъ и отъ понятій, чрезъ которыхъ познается, т. е. она въ нась заключается. Но какъ? Очевидно только идеально, а не реально; т. е. только въ формѣ понятій, а не по своему реальному существованію, всѣ познаваемые нами предметы присущи нашему уму. Итакъ слова мы имѣемъ дуализмъ идеального и реального, снова распаденіе познанія и бытія. Конечно сущность всего реального заключается, по Гегелю, въ идеальномъ. Пусть по своему реальному существованію всѣ вещи раздѣлены одна отъ другой и дѣйствительность распадается на множество вещей, но сущность всѣхъ ихъ одна и эта сущность равномѣрно заключается во мнѣ такъ же какъ и во всемъ другомъ; она-то, эта сущность и открывается для меня въ познаніи, въ томъ познаніи, которое, на все простираясь и все собою объемля, находитъ такимъ образомъ единое во многомъ, всеобщее въ частномъ. Таково именно познаніе, развиваемое чрезъ дѣятельность мышленія. Но какъ убѣдиться въ этомъ тождествѣ реального съ идеальнымъ по существу? Очевидно тождество это есть не болѣе, какъ предположеніе, и хотя Гегель требовалъ, чтобы философія ничего не допускала недоказанного, въ видѣ простаго предположенія, но самый принципъ философіи Гегеля—тождество идеального и реальнаго, мышленія и бытія—остается на самомъ дѣлѣ недоказаннымъ.

Если однажды необходимо допустить связь познанія съ бытіемъ, идеального съ реальнымъ,—безъ чего невозможно изъясненіе познанія,—то не вѣрнѣе ли будетъ признать не идеальное сущностію реального, а наоборотъ,—

реальное сущностію идеального. И въ самомъ дѣлѣ,—идеи, понятія, образуемыя нашимъ умомъ, не болѣе какъ образы, сами въ себѣ не заключающіе ничего существеннаго; ибо все ихъ значеніе для познанія зависитъ отъ того, насколько вѣрно представляютъ они дѣйствительность, а дѣйствительность ближайшимъ образомъ извѣстна намъ чрезъ наблюденіе, посредствомъ опыта. Дѣйствительно, стремясь къ познанію дѣйствительности какъ она есть въ себѣ, мы стараемся сообразовать и направлять наши мысли и понятія по указаніямъ опыта. Итакъ если истинность познанія заключается въ согласіи его съ бытіемъ, то въ сущности это значитъ, что всѣ наши понятія и представлениія должны опираться на опытъ, и притомъ—научномъ, и быть въ согласіи съ его указаніями. Посмотримъ же, — можно ли считать это рѣшеніе вопроса о познаніи вполнѣ достаточнымъ?

## I.

Г. Чичеринъ слѣдующимъ образомъ ставить вопросъ о познаніи: *насколько присущія разуму логическія формы и логические законы соответствуютъ познаваемымъ предметамъ?* И затѣмъ онъ мотивируетъ этотъ вопросъ такъ:

„Логически нѣть возможности, говорить онъ, вывести, почему я въ данную минуту испытываю извѣстное впечатлѣніе, а не другое. Впечатлѣнія очевидно зависятъ не отъ моего разума и не отъ моей воли, а отъ моихъ отношеній къ вѣшнимъ предметамъ. Они даются не умозрѣніемъ, а опытомъ; слѣд. указываютъ на вѣнѣніе для меня бытіе, которое чрезъ это становится для меня предметомъ познанія. Сколько есть явлений, по выражению Гербarta, столько есть указаний на бытіе... Конечно сущность или природа вещи непознаваема для насъ сама по себѣ „Но если мы не можемъ непосредственно познавать самую сущность вещей, то мы можемъ познавать ее въ явленіяхъ, ибо та же логика (ко-

торая побуждает нас предполагать въ основѣ разнообразныхъ явлений единство сущности) говорить намъ, что сущность выражается въ своихъ проявленияхъ. Связующимъ началомъ явлений служить законъ; въ немъ поэтому мы должны искать выражения внутренняго единства явлений. Слѣдовательно вопросъ сводится къ тому: совпадаютъ ли законы явлений съ законами познающаю ихъ разума<sup>4</sup>. Рѣшевіе таково: Вопросъ этотъ, продолжаетъ г. Чичеринъ, мы можемъ изслѣдовать, ибо для познанія явлений у насъ есть другой путь, нежели для познанія законовъ разума. Послѣднее дается намъ умозрѣніемъ, первое опытомъ. Всякое чувственное впечатлѣніе представляетъ намъ вицѣній фактъ, независимый отъ нашего разума. Такоже независима отъ насъ и послѣдовательность фактовъ. Если эта вицѣнія послѣдовательность совпадаетъ съ нашими логическими выводами, мы можемъ съ уверенностью сказать, что законы явлений, слѣдоват. и лежащей въ основаніи ихъ сущности, согласуются съ законами нашего разума. Такое сравненіе сдѣлать легко. Мы имѣемъ въ математикѣ чисто умозрительную науку. Даже тѣ, которые утверждаютъ, что первоначальные ея элементы берутся изъ опыта, не могутъ не согласиться, что всѣ выводы дѣлаются чисто логическимъ путемъ. Въ вычисленіяхъ мы не руководимся ничѣмъ кромѣ логики. Слѣдовательно, если эти вычислениа совпадаютъ съ фактами, которые познаются изъ опыта, мы можемъ заключить, что чисто логическая связь опредѣленій (не только количественныхъ, но и качественныхъ, ибо, какъ поясняетъ г. Чичеринъ, въ количественныхъ опредѣленіяхъ выражаются качественные начала) совпадаетъ съ вицѣніемъ связью явлений, или что вицѣній міръ управляетъ тѣми же самыми математическими законами, которымъ слѣдуетъ нашъ разумъ. Къ этому убѣждению мы и приходимъ на дѣлъ... Посредствомъ математическихъ выкладокъ мы вычисляемъ, напримѣръ, пути планетъ, и если мы, на основаніи такого вычислениа, опредѣляемъ положеніе совершенно неизвѣстного намъ свѣтила, существование котораго мы

предполагаемъ только изъ дѣйствія его на другія, и затѣмъ, направивши телескопъ на предположенное мѣсто, мы дѣйствительно находимъ тамъ неизвѣстное прежде свѣтило, мы можемъ быть убѣждены, что силы природы дѣйствуютъ согласно съ законами нашего разума (Стр. 79—82).

Итакъ заключенія, выведенные логически, получаются для насъ достовѣрность, коль скоро подтверждаются опытомъ. Опытъ, такимъ образомъ, есть критерій для опредѣленія достоинства нашихъ сужденій, т. е. ихъ реального значенія. И это конечно такъ должно быть, если опытъ есть единственный путь къ познанію дѣйствительности, какъ она есть въ себѣ. А коль скоро опытъ—единственный способъ, которымъ открывается намъ бытіе, дѣйствительность, то не должно ли признать опытъ не только критеріемъ, но и единственнымъ основаніемъ, источникомъ нашего познанія? Дѣйствительно, въ приведенномъ выше примѣрѣ хотя существованіе новой планеты выводится на основаніи математическихъ вычислений, слѣдов. независимо отъ опыта, однакожъ не вполнѣ независимо; на самомъ дѣлѣ основаніемъ такого вывода служатъ наблюденія, именно наблюденія надъ относительнымъ положеніемъ другихъ планетъ. Итакъ, по-видимому, согласіе нашего познанія съ дѣйствительностію, или бытіемъ, вполнѣ изясняется и вмѣстѣ обеспечивается происхожденіемъ его изъ опыта. Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Если бы дѣйствительно познаніе наше было безусловно зависимо отъ опыта, такъ чтобы оно имѣло для насъ достовѣрность настолько, насколько прямо извлекается изъ опыта, тогда конечно были бы невозможны для насъ никакія положенія, никакія сужденія, имѣющія сами въ себѣ достовѣрность, которые не нуждались бы ни въ какомъ подтвержденіи со стороны опыта. Но такія положенія несомнѣнно есть. Всѣ такъ назыв. аксиомы, математическія или логическія основныя положенія, суть истины рациональныя, т. е. имѣющія свое основаніе единственно въ природѣ нашего разума, и потому-то достовѣрность этого рода истинъ

такова, что сомнѣніе относительно ихъ для насъ невозмож-  
но, ибо они исключаютъ возможность противаго тому, что  
ими утверждается. Какъ составляющія необходимую при-  
надлежность нашего разума, истины тѣ лежатъ въ основаніи  
всякою научною познаніемъ, а потому не только независимы  
отъ опыта, но и господствуютъ надъ опытнымъ познаніемъ.  
Мы можемъ допустить возможность иного міра, отличаго  
отъ того, въ которомъ живемъ, слѣдовательно и возможность  
иныхъ законовъ, не сходныхъ съ тѣми, которые намъ из-  
вѣстны по опыту, также должна быть допущена; но совер-  
шенно невозможно, чтобы истины рациональныя сдѣлались  
неистинными; такой случай безусловно для насъ не мыслимъ,  
ибо чтобы истины рациональныя могли измѣниться, для этого  
должна измѣниться вполнѣ самая природа разума; возмож-  
ность иного порядка вещей, иныхъ законовъ природы мы-  
слима; но совершенно не мыслима возможность иного разу-  
ма, который различался бы отъ нашего по существу, каче-  
ственno, а не только количественно, т. е.—такого, для ко-  
тораго было бы разумно и возможно то, что для насъ не-  
возможно и неразумно. Многое мы можемъ и даже должны  
признать превышающимъ естественную силу нашего разу-  
мѣнія, а потому неизъяснимымъ вполнѣ изъ естественныхъ  
законовъ разума, но совершенно невозможно признать истин-  
нымъ что либо такое, въ чёмъ заключалось бы прямое про-  
тиворѣчіе необходимымъ законамъ разума, ибо это было бы  
прямымъ отрицаніемъ самого разума. Конечно должно раз-  
личать дѣйствительное состояніе разума, всегда не совер-  
шенное, и потому могущее вызывать противъ себя отно-  
шеніе отрицательное, отъ идеи разума, или же разума иде-  
ального, отрицаніе котораго невозможно (ибо только въ си-  
зу идеального разума мы и можемъ усматривать несовер-  
шенства въ дѣйствительномъ состояніѣ разума человѣче-  
скаго), но необходимыя истины очевидно невозможно отно-  
сить къ несовершенствамъ человѣческаго разума. Итакъ  
несомнѣнно, что несравненно большее и важнѣйшее значе-

віе имѣютъ для насть необходимыя истины разума сравни-  
тельно со всякимъ опытнымъ познаніемъ; поэтому не только  
нельзя признать познаніе чисто рациональное зависимымъ  
отъ опыта, напротивъ, рациональныя истины, будучи основ-  
ными, оказываются на дѣлѣ сами господствующими надъ  
опытомъ. Мало того: можно утверждать даже, если съдо-  
вать Канту, что опытъ вообще есть не болѣе какъ продуктъ  
познавательныхъ умственныхъ силъ человѣка. Конечно впе-  
чатлѣнія чувствъ непроизвольны, какъ говорить г. Чиче-  
ринъ; но отсюда онъ дѣлаетъ слишкомъ поспѣшный выводъ,  
что они указываютъ на виѣшнее для насть бытіе. Ибо впе-  
чатлѣнія сами по себѣ недостаточны для того, чтобы обра-  
зоватось познаніе дѣйствительного бытія вещей. Для этого  
необходимо еще а) соединеніе впечатлѣній въ одинъ образъ,  
т. е. преобразованіе ихъ въ представленіе; б) огнесеніе по-  
лученного представления ко многимъ другимъ представле-  
ніямъ, и установленіе такой или иной связи между ними,  
вмѣстѣ съ этимъ, наконецъ с) отнесеніе того же представле-  
нія къ извѣстному предмету, чрезъ что оно получаетъ для  
насть значеніе предметное, объективное. Но всѣ эти про-  
цессы происходятъ въ насть, суть дѣйствія духа, и вопросъ  
состоитъ въ томъ—заключается ли основаніе этихъ процес-  
совъ въ самой дѣйствительности вещей, или же оно исключи-  
тельно лежитъ въ нашемъ духѣ, въ присущихъ ему усло-  
віяхъ познавательной дѣятельности. Извѣстно, какъ рѣшилъ  
этотъ вопросъ Кантъ. Противъ него г. Чичеринъ ссылается  
на то, что впечатлѣнія получаются нами непроизвольно.  
Но и Кантъ этого не отвергалъ. И онъ также принималъ,  
какъ само по себѣ очевидное и неподлежащее спору, что  
ощущенія непроизвольны и слѣдовательно происходятъ  
отвнѣ, именно причину ихъ происхожденія полагалъ въ  
самомъ бытіи вещей, но тѣмъ не менѣе утверждалъ, что  
это бытіе для насть не познаваемо, основываясь на томъ,  
что ощущенія, хотя и происходить отвнѣ, подвергаются  
дальнѣйшей обработкѣ, всецѣло зависящей отъ субъек-  
тивныхъ, т. е. лежащихъ въ нашемъ духѣ, условій по-

знавательной деятельности. Должна быть причина происхождения въ насъ ощущений, но и это мы утверждаемъ, по Канту, въ силу присущей наслѣду мышленію категоріи причинности, т. е. вслѣдствіе приложенія къ ощущеніямъ этого чисто умозрительного понятія; равнымъ образомъ, если причину ощущений мы полагаемъ въ насъ, то и это, по Канту, условливается субъективною формою созерцанія, именно формою пространства, существующею только въ нашемъ духѣ, а не въ насъ.—Полагая причину ощущеній въ духа, мышленіе превращаетъ чрезъ то ощущенія въ представлениіи объективныя, т. е. относимыя имъ къ извѣстнымъ предметамъ, и затѣмъ образованныя такимъ образомъ представлениія соединяютъ по извѣстнымъ правиламъ. Итакъ все познаніе, для которого ощущенія служить лишь матеріаломъ, есть дѣло нашего духа, а потому, съ этой точки зрѣнія, не можетъ быть рѣчи о соотвѣтствіи познанія съ бытіемъ, и самое бытіе есть то, что полагается нашою мыслю (есть опредѣленіе мысли)

Истина этого взгляда состоитъ въ томъ, что конечно основные и существенные условія познанія даны въ насъ, въ нашемъ духѣ, ибо во всякомъ случаѣ познаніе есть собственное наше дѣло по преимуществу. И самыя ощущенія, составляющія, по Канту, отвѣтственныя заимствованный матеріаль познанія суть однакоже не что иное, какъ видоизмѣненія нашей способности воспріятія. Пусть причина этихъ видоизмѣненій лежитъ въ насъ, но почему нельзя утверждать, какъ и дѣлаетъ Кантъ, что причина эта совершенно намъ неизвѣстна и въ такомъ случаѣ хотя бы ощущенія и были для насъ показателями въ насъ лежащаго бытія, но ни откуда мы не можемъ знать о соотвѣтствіи или несоотвѣтствіи нашего познанія съ бытіемъ. И однакожъ мы безспорно ищемъ такого соотвѣтствія и ни мало не сомнѣваемся, что оно возможно для насъ. Какъ же изъяснить это столь естественное и столь самоувѣренное стремленіе наше? Повидимому оно изъясняется вполнѣ тѣмъ, что мы облада-

емъ двоякимъ способомъ познанія: опытнымъ и умозрительнымъ. Выше мы пришли къ тому заключенію, что опыт долженъ быть основаніемъ и критеріемъ достовѣрности дѣлаемыхъ нами выводовъ. Затѣмъ оказалось необходимымъ признать, что и самыи опыт зависимъ отъ умственной организаціи человѣка, и потому неизбѣжно является подчиненнымъ истинамъ рациональнымъ, составляющимъ основаніе всякаго познанія. Итакъ, повидимому, мы должны остановиться на томъ предположеніи, что и данные опыта, и выводы умозрительные, равномѣрно должны быть соображеніемъ и повѣриемъ очевидно—взаимно, одни посредствомъ другихъ. Дѣйствительно, мы ищемъ обыкновенно для своихъ маѣній, предположеній и заключеній подтвержденія въ опыта, и только когда находимъ такое подтвержденіе, удостовѣряемся въ ихъ истинности. Но и наоборотъ, свидѣтельства опыта сами по себѣ слишкомъ недостаточны и требуютъ восполненія, а такимъ восполненіемъ могутъ быть только умозаключенія; иногда же свидѣтельства чувствъ, которые служатъ источникомъ опытнаго познанія, совершенно ложны, исправленіе же ихъ возможно опять только посредствомъ умозаключеній. Вотъ почему для пріобрѣтенія достовѣрныхъ знаній требуется не просто опытъ, но опытъ научный, т. е. критический, основанный на всестороннемъ изученіи предмета, вспомоществуемъ всѣми возможными средствами къ избѣжанію ошибокъ. Такой опытъ очевидно есть соединеніе наблюденія или непосредственного чувственнаго опыта съ критическимъ мышленіемъ. Т. е. познаніе, котораго ищетъ наука, дѣйствительно основывается на взаимодѣйствіи и соглашеніи съ одной стороны чувственнаго наблюденія или непосредственнаго опыта, а съ другой—умозрѣнія. Не есть ли это взаимодѣйствіе и соглашеніе двухъ способовъ, или пожалуй, сторонъ познанія то именно соотвѣтствіе съ бытіемъ, которое невольно предполагается нами въ каждомъ истинномъ познаніи? Дѣйствительно, когда нами достигнуто такое познаніе предмета, въ которомъ принятъ во вниманіе

и соображены всѣ данные, и въ которомъ ничего не остается темнаго,—неяснаго, то мы чувствуемъ полное внутреннее удовлетвореніе, безъ сомнѣнія подобное тому, какое испытываетъ художникъ, когда ему удастся вполнѣ выяснить для себя прекрасный идеальный образъ и выразить его въ соответственной формѣ. То, что даетъ удовлетвореніе художнику,—есть конечно гармоническое, вполнѣ согласное соотношеніе всѣхъ элементовъ выработанной имъ идеи,—составляющее сущность красоты. Но также точно и удовлетвореніе, доставляемое пріобрѣтеніемъ истиннаго познанія, условливается согласиемъ какъ самаго познанія съ другими познаніями, такъ равно и всѣхъ его составныхъ частей или элементовъ между собою. Не смотря на эту аналогію познанія съ художественнымъ творчествомъ,—есть однакоже существенное различіе между удовлетвореніемъ, доставляемымъ истиннымъ познаніемъ, болѣ скоро оно пріобрѣтается нами, и тѣмъ, которое мы почерпаемъ въ созерцаніи прекраснаго. Художникъ, наслаждаясь созерцаніемъ прекраснаго образа, вполнѣ понимаетъ, что этотъ образъ есть его собственное созданіе, и мы сами не иначе относимся къ тому же образу, но это не только не умаляетъ, напротивъ возвышаетъ достоинство художественного произведенія. На-противъ удовольствіе, которымъ сопровождается пріобрѣтеніе познанія, главнымъ образомъ зависитъ отъ увѣренности въ томъ, что это познаніе не есть вымыселъ, но выражаетъ дѣйствительность такъ, какъ она есть, и слѣдоватъ. имѣть не одно только идеальное, но и реальное значеніе, состоящее въ согласіи идей или представлений, въ немъ заключающіхся, съ дѣйствительнымъ бытіемъ. Даже еслибы мы, слѣдя скептикамъ, стали отрицать всякое объективное значеніе нашего познанія, то и въ этомъ случаѣ остается увѣренность въ томъ, что мы можемъ знать, по крайней мѣрѣ, дѣйствительное положеніе или состояніе нашего познанія, т. е. полагаемъ, что то, чѣмъ мы думаемъ о познаніи, для насть есть выраженіе того, что оно есть на самомъ дѣлѣ. Вообще

мы необходимо принимаемъ наше познаніе за выраженіе того, что есть, существуетъ, и только различнымъ образомъ опредѣляемъ объемъ того, что считаемъ для себя познаваемъ. Для художника дѣйствительность служитъ матеріаломъ, средствомъ, поводомъ къ созданію такихъ или иныхъ образовъ, идей, имѣющихъ по преимуществу субъективное, а не объективное значеніе; для ученаго же и философа—дѣйствительность не средство, а цѣль, предметъ, а не поводъ къ возбужденію свойственной имъ умственной дѣятельности. Итакъ не само по себѣ имѣть для насъ значеніе соглашеніе наблюденія и умозрѣнія, а только по причинѣ нашей увѣренности въ томъ, что этимъ лишь путемъ до-стижимо для насъ истинное познаніе, т. е. соласное съ дѣй-ствительнымъ бытіемъ. Это соглашеніе наблюденія съ умозрѣ-ніемъ, и наоборотъ, есть только средство, а не цѣль, не са-ма истина, а только путь къ истинному познанію.

Если же бытіе, какъ предметъ познанія, не заключает-ся въ непосредственномъ опыте, равно какъ не заключает-ся и въ умозрѣніи (что мы видѣли выше), ибо и опытъ и умозрѣніе суть только пути, средства къ познанію бытія, которое такимъ образомъ всегда остается вицъ того и дру-гаго, то снова является вопросъ, какъ же мы можемъ удо-стовѣриться въ согласіи нашего познанія съ бытіемъ?

Вопросъ этотъ получаетъ особенную важность, если мы возмемъ во вниманіе, что такой философъ, какъ Кантъ, пришелъ къ тому выводу, что познаніе наше не можетъ быть согласно съ бытіемъ вещей, что будучи заключено всецѣло въ самомъ себѣ, оно хотя и соприкасается нѣко-торою своею стороною (содержаніемъ) съ бытіемъ, однако не имѣетъ съ нимъ ничего общаго, такъ какъ условливается субъективными формами духа познающаго, а не объективи-выми формами бытія познаваемаго.

Но довольно и того, что Кантъ признаетъ бытіе вещей причиною возникновенія въ наше ощущеній. Хотя съ точки зреінія Канта эта причина только предполагается нами, но

не познается, ибо мы не можемъ знать, что такое вещи въ себѣ, однакожъ остается при этомъ непонятнымъ, и слѣдовало объяснить, почему мы не только полагаемъ виѣ себѧ, въ бытіи вещей, причину происхожденія въ нась представлений, но и относимъ эти представлениа къ вещамъ, рассматривая ихъ какъ выражение бытія. Быть можетъ это отнесеніе представлений къ вещамъ, виѣ нась существующимъ, есть иллюзія. И въ самомъ дѣлѣ таково заключеніе, къ которому приводитъ точка зрѣнія Канта. Но иллюзія чего: чувствъ, или ума? Ибо только эти два орудія познанія мы имѣемъ. Если это иллюзія чувствъ, тогда мы могли бы исправить ее посредствомъ умозрѣнія, или по крайней мѣрѣ убѣдиться въ томъ, что это дѣйствительно иллюзія, какъ убѣждаемся въ томъ, что солнце только кажется намъ восходящимъ и заходящимъ, на самомъ же дѣлѣ не солнце, а земля движется; и такъ не заключается ли причина означенной иллюзіи, т. е. увѣренности въ объективномъ значеніи представлений,—въ умѣ нашемъ? Дѣйствительно, объективное, то есть предметное, значеніе для нась представлений нашихъ, по Канту, изъясняется тѣмъ, что категоріи разсудка, которыми условливается опытное познаніе наше, суть *необходимыя*, т. е. не зависящія отъ нашей воли (и потому имѣющія общегодное значеніе) формы мысли; какъ необходимы для нась эти формы мысли, столько же необходимы, независящіе отъ нашей воли, и потому какъ бы *существующими* виѣ нась, не отъ нась происходящими, представляется намъ и все то, что мы мыслимъ по этимъ формамъ. Итакъ, очевидно необходимость лежащая въ природѣ *нашего ума* вынуждаетъ нась относить наши представлениа къ вещамъ, слѣдоват. необходимостьничѣмъ не различающаяся отъ необходимости свойственной категоріямъ разсудка. И если возможно сомнѣніе относительно истинности, т. е. объективного значенія первой, то и вторая также должна быть сомнительна, а при такомъ недовѣріи къ самой природѣ ума можно ли рѣшигься и на изъясненіе познанія съ

увѣреностію въ томъ, что это изъясненіе будетъ истиннымъ, а не ложнымъ? Если разумъ требуетъ не только полагать причину нашихъ представлений въ себѣ, но и признавать выраженіемъ этой причины то, для чего онъ самъ служить преимущественною причиною, то такое требование было бы очевидно ложнымъ, и въ такомъ случаѣ было бы столь же должно и все то, что съ равной необходимостию вытекаетъ изъ природы разума. Вообще, признавъ вѣрнымъ то утверждение Канта, что бытіе вещей, какъ лежащее въ формѣ познанія, свойственныхъ нашему разуму, совершенно недоступно намъ, мы тѣмъ самымъ лишаемъ себя всякой возможности знать и то, соответствуетъ или не соответствуетъ наше познаніе бытію, т. е. каково оно на самомъ дѣлѣ.— Но развѣ не возможны, спросить, иллюзіи ума, т. е., ложные заключенія? Возможны конечно, но только случайны, зависящія отъ нашей воли, и потому легко исправимы, именно посредствомъ опыта; а чтобъ имѣть основаніе въ самой природѣ ума, и чтобъ поэтому не только не опровергается, напротивъ подкрепляется опытомъ, то очевидно никакъ не можетъ быть иллюзіею. Такова именно непреодолимая увѣренность въ возможности и достичимости для насъ объективнаго, или что тоже, искиннаго, т. е. согласнаго съ бытіемъ вещей, познанія. Не находя ничего противъ той увѣренности, мы въ тоже время имѣемъ всѣ основанія въ пользу ея. Ибо какъ умозрѣніе, такъ равно и опытъ склоняютъ насъ къ вѣрѣ въ объективную значимость нашихъ представлений.

И прежде всего такая увѣренность находитъ непрерывное для себя подтвержденіе во внутреннемъ опыте. Ибо наши желанія, стремленія, представлія очевиднѣйшимъ образомъ связываются по закону причинности съ нашими дѣйствіями; причины и дѣйствія этого рода въ насъ и чрезъ насъ происходить и потому связь ихъ познается очевиднѣйшимъ образомъ. Конечно представліе, которымъ сопро-

вождается известное стремление, желание, приводящее нас къ дѣйствію, не тоже, что самое это желание, стремленіе<sup>1</sup>). Однакожъ какъ представлениія, такъ равно стремленія и желанія представляемыя имѣютъ одинъ и тотъ же источникъ, равно происходить въ нашемъ духѣ. Слѣдовательно сомнѣніе относительно соотвѣтствія или согласія ихъ между собою въ этомъ случаѣ не возможно. Я самъ переживаю, непосредственно испытываю въ себѣ известное хотѣніе, желаніе, и самъ же представляю его, при чемъ нахожу совершенное единство, равенство одного съ другимъ. Равное же соотвѣтствіе или согласіе мы находимъ также между хотѣніями или стремленіями и ихъ дѣйствіями или послѣдствіями, и согласіе это столь же для насъ несомнительно, столь же очевидно. Отсюда далѣе и въ томъ случаѣ, когда дѣйствія даны въ насъ, присутствуютъ въ нашемъ сознаніи, а причины отсутствуютъ, мы, полагая эти причины виѣ насъ, не можемъ не признавать ихъ соотвѣтствующими, равными ихъ дѣйствіямъ, которыя даны въ насъ, и равенство это для насъ столь велико, что тѣ и другія въ сознаніи нашемъ обыкновенно все не разграничиваются, сливаются между собою. Таково именно отношение соотвѣтствія или равенства для нашего сознанія должно быть между нашими представлениами и ихъ предметами виѣ насъ существующими. Такъ совершается для насъ переходъ изъ внутренняго опыта въ опытъ виѣній. При этомъ мышленіе, или умозрѣніе, будучи для того и другаго опыта общимъ, посредствующимъ, приводить во взаимную связь, согласуетъ данныя того и другаго опыта, чѣмъ и обеспечивается для насъ достовѣрность познанія, т. е. соотвѣтствіе его съ бытіемъ.

Но вопросъ объ отношеніи познанія и бытія рѣшенъ вами пока еще только формально, схематически. Мы вправѣ

<sup>1</sup>) Шопенгауэръ напр. строго раздѣляетъ представлениа отъ желаній или хотѣній, утверждая, что только въ актахъ воли, т. е. въ хотѣніяхъ, выражается дѣйствительное бытіе; представлениа же—пустые образы, не имѣющіе объективнаго значенія.

теперь утверждать соответствие, или согласие между представлениями и вещами, но ни существо представлений, ни существо вещей представляемых для насъ еще неизвестно; между тѣмъ то и другое должно быть разъяснено по возможности, если мы хотимъ имѣть вполнѣ достаточное рѣшеніе вопроса о взаимномъ отношеніи познанія и бытія.

## II.

При той тѣсной связи внутренняго опыта съ внѣшнимъ, на которую выше указано, исходный пунктъ и самыя основанія для рѣшенія вопроса о сущности представлений и вещей представляемыхъ мы можемъ заимствовать какъ изъ внутренняго, такъ и изъ внѣшняго опыта. Отсюда, смотря по тому какъ оцѣнивается достоинство того и другаго опыта, различно также рѣшается вопросъ о сущности познанія и бытія. Или внѣшній опытъ признается источникомъ достовѣрнѣшаго познанія, близкайшимъ и необманчивымъ откровеніемъ бытія, а опыту внутреннему усвоется лишь второстепенное значеніе и даже вовсе отрицается всякое значеніе его для познанія; тогда данныя для рѣшенія вопроса заимствуются изъ внѣшняго опыта и сообразно тому рѣшается самый вопросъ. Или наоборотъ,—внутренній опытъ рѣшительно предпочитается и признается достовѣрнѣшимъ; въ такомъ случаѣ для изъясненія существа вещей и самаго познанія ищутъ точки опоры въ этомъ опыта, причемъ и рѣшеніе вопроса дается совершенно иное.

Если мы захотимъ изслѣдовать самое познаніе, то безъ сомнѣнія мы необходимо должны обратиться къ внутреннему опыту, ибо какъ бы мы ни смотрѣли на познаніе, оно есть прежде всего процессъ *въ насъ* происходящій. Но такъ какъ бытіе обыкновенно противополагается познанію, то отсюда, смотря на познаніе какъ на процессъ *въ насъ*, въ нашемъ сознаніи происходящій, самое бытіе, съ которымъ познаніе должно имѣть связь, мы представляемъ какъ

и́что лежащее ви́в нась, какъ данное ви́в нашего сознанія, отдельно, независимо отъ него; посему бытіе какъ такое для нась есть то, что открывается намъ не чрезъ внутренній, а ви́шній опытъ. Итакъ, когда исходнымъ пунктомъ изслѣдованія служить внутренній опытъ, то при этомъ на первый планъ выступаетъ для нась познаніе, бытіе же разсматривается какъ и́что лежащее ви́в познанія или отождествляется съ познаніемъ. Наоборотъ, когда исходнымъ пунктомъ служить не внутренній, а ви́шній опытъ, то при этомъ все наблюдаемое нами представляется намъ, какъ *существующее само по себѣ*, какъ бытіе въ собственномъ смыслѣ; отсюда и самое познаніе, коль скоро къ нему прилагается тотъ же способъ изслѣдованія, представляется намъ въ качествѣ объективно, т. е. независимо отъ нась происходящаго процесса, какъ одинъ изъ процессовъ, совершающихся въ дѣйствительности, и по сущности не различающейся отъ другихъ процессовъ; противоположность познанія и бытія исчезаетъ, но уже не бытіе отождествляется съ познаніемъ (или полагается въ познаніи), а познаніе съ бытіемъ (т. е. разсматривается какъ часть бытія).

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній разсмотримъ различные способы рѣшенія означенаго вопроса.

Такъ какъ окружающій насъ ви́шній міръ дѣйствуетъ на наши чувства непрерывно, и съ первыхъ дней нашей жизни приковываетъ къ себѣ наше вниманіе, то вотъ почему ви́шній опытъ происходитъ всегда энергичнѣе, живѣе, и притомъ не требуетъ отъ нась особыхъ усилий, не совершаются обыкновенно самъ собою, непроизвольно. Отсюда и свидѣтельства ви́шнаго опыта имѣютъ для нась наибольшую, неотразимую очевидность. Испытывая постоянное и самое разнообразное воздействиѳ вещей, мы пріучаемся къ мысли, что всѣ перемѣны, замѣчаемыя нами въ себѣ, порождаются этимъ воздействиѳмъ, и что, поэтому, и самыя идеи, представлениа, мысли суть не что иное какъ

образы вещей. Таково простейшее, общедоступное и сразу представляющееся решение вопроса.

Но наблюдение ви́ншнее само по себе дает намъ только чисто ви́ншний распорядокъ явленій и перемѣнъ наблюдавшихъ, который ограничивается простымъ сосущество-  
ваниемъ ихъ въ пространствѣ и послѣдовательностю во времени. Наука въ состояніи значительно расширить и дѣйствительно расширяетъ поле наблюденія; она доставляетъ средства, не останавливаясь на очевидныхъ для всякаго перемѣнахъ и явленіяхъ, подсматривать скрытые внутрен-  
ние процессы и явленія совершающіяся въ самихъ вещахъ. Однако качество знаній, доставляемыхъ ви́ншимъ опытомъ, отъ того нимало·не измѣняется. Порядокъ и связь явленій для ви́ншаго наблюденія, сколько бы оно ни расширялось и ни углублялось, всегда имѣютъ тотъ же характеръ. И потому тѣ, которые хотятъ стоять на почвѣ ви́ншаго наблюденія, приходятъ къ тому заключенію, что все наше по-  
знаніе ограничивается опредѣленіемъ постоянно повторяю-  
щихъ въ опытѣ отношеній послѣдовательности и совмѣст-  
ности явленій. Съ этой точки зре́нія и самое познаніе есть не болѣе какъ рядъ перемѣнъ въ нашемъ организмѣ, произ-  
водимыхъ въ чась дѣйствіемъ вещей на наши чувства и потому отображающихъ въ себѣ перемѣны и свойства са-  
михъ вещей. Означенныя перемѣны всегда происходятъ съ  
одинаковою послѣдовательностью, и всякий разъ какъ даны  
необходимыя для того условія, которыя заключаются въ са-  
момъ устройствѣ внутреннихъ и ви́ншихъ органовъ вос-  
пріятія, а также въ соприкосновеніи ихъ съ вещами; посе-  
му и познаніе, какъ предметъ ви́ншаго наблюденія, яв-  
ляется процессомъ съ такою же правильностю и столь же  
необходимо совершающимся, какъ и всякий другой процессъ  
природы, и на этомъ основаніи признается, въ существѣ  
своемъ, тождественнымъ съ другими натуральными процес-  
сами. Остановиться на простомъ наблюденіи однако не воз-  
можно; требуется изъясненіе наблюдавшихъ фактовъ; бли-

жайшее къ наблюдению виѣшнему изъясненіе явленій есть подведеніе ихъ подъ какой либо общій законъ природы, опредѣляющій неизмѣнно повторяющееся однообразіе въ происхожденіи и взаимномъ отношеніи явленій извѣстнаго класса. Но такое изъясненіе есть неполное и потому недовлетворяющее существенной потребности нашего ума. Мысленіе ищетъ единства и связи во всѣхъ наблюдаемыхъ явленіяхъ. А такъ какъ для виѣшняго наблюдения всякий процессъ есть материальный, т. е. имѣющій въ основаніи своею вѣчно повсюду представляющее тѣ же свойства, различаемыи посредствомъ восприятій виѣшнихъ чувствъ, то посему матерія принимается за общее основное начало всѣхъ вещей и явленій, коль скоро умозрѣніе остается на почвѣ виѣшняго наблюденія. Отсюда понятно, почему материализмъ является воззрѣніемъ столь легко усвоемымъ и обще доступнымъ. Виѣшнее наблюденіе, какъ сказано, по крайней мѣрѣ въ своемъ первобытномъ натуральномъ видѣ, есть процессъ совершающійся легко и непринужденно, и даже сопровождается обыкновенно чувствомъ удовольствія; посему и умозрѣніе, или мысленіе, стремящееся въ изъясненію явленій, наиболѣе склонно подчиняться руководству виѣшняго наблюденія, а слѣдя его указаніямъ, легко приходитъ къ материализму, который, такимъ образомъ, есть простѣйшая, такъ сказать, элементарная умозрительная система.

Но что такое матерія? Въ прошломъ столѣтіи Кондильякъ, въ своемъ трактатѣ о чувствахъ, разбирая участіе, какое каждому изъ чувствъ принадлежитъ въ дѣлѣ познанія, приходитъ къ заключенію, что собственно осозаніе есть то чувство, чрезъ которое мы приходимъ въ соприкосновеніе съ вещами, виѣ нась существующими, и что поэтому чрезъ него только мы убѣждаемся въ существованіи виѣшняго міра. Дѣйствительно, и всѣ другія виѣшнія чувства потому только могутъ быть названы виѣшними, т. е. даютъ намъ знаніе о виѣшнемъ мірѣ, что служатъ для нась посред-

никами соприкосновенія съ виѣшнимъ міромъ, и въ этомъ своемъ значеніи суть не что иное какъ видоизмѣненія основнаго чувства—осозанія. Поэтому ощущенія, получаемыя нами посредствомъ осозанія, должно признать основными, общими и первоначальными, а какъ осозаніе есть по преимуществу органъ виѣшняго наблюденія, то посему и самое свойство вещей, которое узнается нами чрезъ осозаніе, необходимо должно представляться намъ важнѣйшимъ, основнымъ свойствомъ и существеннымъ признакомъ виѣшняго существованія. Таково именно свойство—протяженіе. Итакъ понятно, почему Декартъ въ протяженіи полагалъ сущность вещей; дѣйствительно, только протяженное можетъ быть предметомъ виѣшняго наблюденія; другое, правда, не протяженіе, а непроницаемость признаютъ основнымъ свойствомъ вещей материальныхъ; но непроницаемость есть свойство состоящее въ томъ, что одно тѣло не дозволяетъ проникнуть въ занимаемое имъ мѣсто другому тѣлу; слѣдовательно занятіе извѣстнаго мѣста, наполненіе иѣкоторой части пространства,—т. е. протяженность составляетъ необходимый признакъ и условіе непроницаемости. Такимъ образомъ для виѣшняго наблюденія первоначальнымъ и основнымъ свойствомъ вещей является протяженность, а то, чemu свойственно протяженіе, т. е. находится въ пространствѣ, и само пространственно, мы называемъ тѣломъ; тѣлесность—необходимый признакъ матеріи; матеріальное тоже что тѣлесное; безтѣлесной матеріи быть не можетъ; посему и тогда, какъ матерія въ извѣстномъ состояніи (въ воздухообразномъ, или газообразномъ) ускользаетъ отъ не-посредственнаго восприятія виѣшнихъ чувствъ, мы все же представляемъ се состоящую изъ протяженныхъ частицъ, или незамѣтныхъ для нашихъ чувствъ тѣлецъ, такъ назыв. атомовъ. Такъ какъ протяженность основное свойство матеріи, то и всѣ другія свойства, различаемыя посредствомъ другихъ чувствъ, такъ назыв. чувственныя качества мы необходимо представляемъ пространственно существующи-

ми, т. е. помѣщаемъ ихъ въ тѣлахъ. Далѣе, всякое тѣло, какъ показываетъ опытъ, измѣняетъ свое состояніе только когда дѣйствуетъ на него другое тѣло, слѣдоват. способно только къ дѣйствіямъ страдательнымъ, а не активнымъ; кому же и самыя ощущенія, посредствомъ которыхъ мы различаемъ качества вещей, также суть состоянія пассивныя; поэтому еще въ древности матерію опредѣляли какъ начало пассивное, недѣятельное. Будучи пассивною, матерія сама по себѣ не можетъ образовать такую или иную форму; образованіе вещей изъ матеріи предполагаетъ слѣдоват. другое начало,—дѣятельное. Вотъ почему мы обыкновенно матеріи противополагаемъ силу. И если Лейбницъ отвергъ ученіе Декарта, что въ протяженіи заключается существенное свойство тѣлъ, то это потому, что понятіе силы, какъ начала дѣятельного, казалось ему болѣе выражающимъ существо вещей. Но, какъ справедливо замѣтилъ еще Локкъ, понятіе силы мы заимствуемъ первоначально изъ внутренняго опыта, ибо къ понятію этому мы приходимъ единственно благодаря тому, что въ себѣ самихъ наблюдаемъ различные проявленія дѣятельныхъ силъ, каковы воля и разсудокъ, или мышленіе. А такъ какъ мы предположили держаться пока исключительно внѣшняго наблюденія, и опредѣлить то понятіе о матеріи, которое получается единственно на основаніи внѣшняго опыта, то посему понятіе силы мы должны устранить. И дѣйствительно, тѣ, которые слѣдуютъ неуклонно внѣшнему опыту, обыкновенно утверждаютъ, что понятіе силы есть фиктивное, не имѣющее реальнаго значенія. Сила въ отдѣльности отъ матеріи какъ нѣчто отличное отъ нея,—пустая абстракція, иначе; на самомъ дѣлѣ, т. е. реально существующею, говорять, должно признать только матерію. И такое утвержденіе понятно. Въ самомъ дѣлѣ, что такое сила съ точки зрѣнія внѣшняго опыта, иначе: что представляетъ намъ внѣшнее наблюденіе въ томъ случаѣ, когда мы приходимъ къ понятію силы и пользуемся этимъ понятіемъ? Мы замѣчаемъ какую либо перемѣну, а всякая

перемѣна въ протяженномъ, т. е. съ точки зрѣнія виѣшняго наблюденія, можетъ состоять только въ перемѣщеніи, или что тоже въ *движениі*. Отсюда объясняется стремленіе—всѣ силы природы свести къ движению; поэтому же реальнымъ основаніемъ ощущеній, слѣд. и всѣхъ чувственныхъ качествъ вещей, признается движение. Движение бываетъ или явное, состоящее въ перемѣщеніи всей массы тѣла, или скрытое, т. назыв. частичное, состоящее въ перемѣщеніи частицъ тѣла; первое есть механическое движение, а послѣднее—динамическое. Законъ сохраненія силъ, утверждающій что никакая сила не исчезаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ прекращается ея обнаруженіе, но переходитъ въ другую силу,—означаетъ собственно переходъ виѣшняго видимаго движения цѣлаго тѣла во внутреннее, скрытое движение частицъ; такъ механическое движение переходитъ въ теплоту. Различныя состоянія тѣлъ также опредѣляются болѣею или менышею способностію ихъ къ движенію.

Въ настоящее время нерѣдко говорятъ о разоблаченіи наукой тайнъ природы, о раскрытии внутренняго ея устройства. Новѣйшія открытия возбуждаютъ самыя смѣлые надежды; многимъ кажется, что ничего нѣтъ невозможнаго для науки; даже осторожные и серьезные ученые считаютъ рискованнымъ утверждать, что тотъ или иной вопросъ не можетъ быть когда либо решенъ наукой. Но замѣчательно, что рѣчи о разоблаченіи тайнъ природы, ея внутренняго устройства наукой, слышатся главнымъ образомъ по поводу того, что, при помощи принятой теперь атомистической теоріи, удалось изъяснить многія свойства и законы соединенія простыхъ химическихъ тѣлъ, именно такъ назыв. газовъ, и даже найдены способы опредѣлить величину малѣйшихъ частицъ, скорость и различныя направленія движений свойственныхъ этимъ частицамъ. Господство атомистической теоріи, вслѣдствіе удобопримѣнимости ея къ изъясненію явлений природы, наиболѣе способствовало утвержденію въ

новѣйшей наукѣ механическаго взгляда на природу<sup>1)</sup>). Но эта же самая теорія не показывает ли очевиднѣйшимъ образомъ, что съ точки зренія виѣшняго наблюденія, какъ бы ни углублялся анализъ фактовъ, кромѣ тѣль и свойственныхъ имъ движений для насъ ничего иного и быть не можетъ. Конечно атомы недоступны для виѣшняго наблюденія, тѣмъ не менѣе мы представляемъ ихъ не иначе какъ по аналогіи съ тѣлами, подлежащими чувственному воспріятію, отъ которыхъ атомы различаются только своею малостію и недѣлимыстію.

Послѣ этого совершенно понятно, что когда тотъ же методъ прилагается и къ явленіямъ внутренней жизни, то, вместо изъясненія этихъ явленій,—неизбѣжно приходитъ къ отрицанію отличительного ихъ характера; является стремление приравнить ихъ къ явленіямъ виѣшней природы. Но для всякаго непредубѣжденного ясно, что внутреннія явленія рѣшительно не соизмѣримы съ явленіями тѣлесными, или материальными, подлежащими виѣшнему наблюденію. Что общаго имѣютъ мысль, чувство, желаніе съ тѣлами и ихъ свойствами? Отсюда для тѣхъ, которые хотятъ стоять на почвѣ виѣшняго наблюденія, ничего болѣе не остается какъ отрицать внутреннія явленія именно какъ внутреннія<sup>2)</sup>). Дѣйствительно, материализмъ превращаетъ внутрен-

1) См. изложеніе этой теоріи и объясненіе научнаго значенія ея въ химіи,—въ рѣчи проф. А. Столѣтова: *Очеркъ развитія нашихъ сельскій о газахъ*, стр. 126—139. 1879 г. Москва.

2) „Если мы говоримъ, разсуждаетъ Карпентеръ, что электричество служитъ выражениемъ химического измѣненія, то какъ же можемъ мы не признавать мысль за выражение химическихъ измѣненій? Правда, онъ замѣчаетъ: „этимъ мы вовсе не имѣемъ претензій объяснять психическое явленіе“. Но для насъ иметь интересъ слѣдующее разъясненіе этого замѣчанія. „Ни одинъ физикъ, говоритъ онъ далѣе, не скажетъ, что онъ въ состояніи понять, какимъ образомъ электричество развивается вслѣдствие химическихъ измѣненій, онъ знаетъ только, что такое отношеніе причинъ и слѣдствій существуетъ между двумя разрядами явленій; онъ знаетъ что каждое химическое измѣненіе сопро-

нюю жизнь въ механизме тѣлесныхъ, именно частичныхъ движений, происходящихъ въ нашемъ тѣлѣ по необходимымъ законамъ взаимодѣйствія. Такому взглѣду на душевную жизнь всегда будетъ противиться собственное наше внутреннее чувство и самосознаніе. Ибо, какъ сказано, виѣшнія тѣлесные явленія и внутреннія душевныя совершенно весомѣримы между собою. Изъ виѣшніхъ, доступныхъ чувственному восприятію, или же недоступныхъ, но предполагаемыхъ по умозаключенію, тѣлесныхъ движений, каковы бы эти движения ни были, никогда не могутъ быть выведены и объяснены внутреннія духовныя явленія. Итакъ вотъ граница виѣшняго наблюденія и самаго умозрѣнія, поскольку оно опирается на такомъ наблюденіи!

Если материализмъ приходитъ къ отрицанію внутренняго, духовнаго міра, не будучи въ состояніи изъяснить отличительного его характера изъ данныхъ виѣшняго опыта (и въ этомъ отношеніи является по преимуществу отрицательнымъ направлениемъ мысли), то противоположное ему направление (которое можно назвать субъективнымъ идеализмомъ), опирающееся единственно на внутреннemъ опытѣ,— наоборотъ— отрицаетъ бытіе материальнаго міра.

Всѣ восприятія виѣшніхъ чувствъ, насколько сознаются нами, т. е. даны въ нашемъ сознаніи, суть внутреннія на-

---

вождаются колебаніемъ въ электричествѣ, и потому всякий разъ, когда ему приходится наблюдать нарушение электрическаго равновѣса, онъ склоненъ принимать какоенибудь химическое измѣненіе за его физическую причину. *Основанія физиологии ума*, т. I, стр. 35. Такимъ образомъ Карпентеръ, отказываясь отъ объясненія психическихъ явленій, пользуется этой уступкой для того только, чтобы усилить аналогію между мыслию и электричествомъ, въ ихъ отношеніи къ химическому процессу, которымъ, по предположению Карпентера, то и другое явленіе одинаково условливается. Но сравнивая мысль и электричество въ сказанныхъ отношеніяхъ, Карпентеръ, къ сожалѣнію, не обратилъ вниманія на то, что электричество есть явленіе видимое, доступное для виѣшняго наблюденія, слѣдъ однородное съ химическимъ измѣненіемъ, которымъ возбуждается, между тѣмъ какъ мысль ничего общаго не имѣть съ химическимъ процессомъ.

ши состоянія; въ этомъ отношеніи вѣтъ различія между ощущеніями, отъ какого бы виѣшняго чувства они ни про исходили. Конечно, такія свойства, какъ непроницаемость, протяженность, въ большей степени, чѣмъ другія, кажутся намъ виѣ пась существующими, однако и эти свойства по-знаваемы для насъ только въ формѣ ощущеній, давныхъ въ насъ, а не виѣ насъ. На этомъ основаніи, какъ известно, Бэрклей пришелъ къ отрицанію материального міра. Матерія сама по себѣ ничто, пустое слово, если отдать отъ нея всѣ свойства, различаемыя посредствомъ чувственныхъ воспріятій, а какъ эти воспріятія или представлениія не виѣ, а въ насъ, въ нашемъ сознаніи даны, то слѣдоват. матерія и не существуетъ какъ иѣчто отдѣльное отъ представляющаго духа; истинный субъектъ всѣхъ представляемыхъ на-ми свойствъ, дѣйствій, состояній есть духъ представляющій, а не матерія. Отсюда основной тезисъ философіи Бэрклия таковъ: существуютъ только идеи, или представлениія и духи какъ существа представляющія. Отрица, такимъ образомъ, объективное существованіе вещей представляемыхъ, т. е. существованіе ихъ виѣ духа представляющаго, и полагая бытіе вещей въ ихъ представляемости, или иначе,—отождествляя вещи съ представленіями, Бэрклей не могъ однако удовлетворительно решить вопросъ, откуда же происходитъ у насъ увѣренность въ существованіи виѣ насъ материаль-наго міра, почему мы вещи, которые на самомъ дѣлѣ не что иное какъ совокупность представлений или ощущеній, представляемъ существующими виѣ пась, а не въ насъ? Если вещи, на самомъ дѣлѣ, суть не болѣе какъ представлениія, имѣющія мѣсто лишь въ нашемъ сознаніи, въ на-шемъ духѣ, то и вообще весь представляемый нами объек-тивный міръ должно разсматривать и изыснять какъ произ-веденіе представляющаго духа. Дѣйствительно, коль скоро умозрѣніе слѣдуетъ этой точкѣ зрѣнія на вещи, исходящей изъ внутренняго опыта, то недостаточно при этомъ одного утвержденія, что бытіе вещей состоитъ въ ихъ представлн-

мости, что онъ не что иное какъ наши представлениі; является необходимость изъяснить изъ представляемаго духа, какимъ образомъ мы приходимъ къ тому что представляемое нами, слѣдовательно данное только въ нашемъ сознаніи въ формѣ представлений, мы полагаемъ виѣ себѧ какъ существующее независимо, отдельно отъ нашего сознанія? Это именно и было задачею философіи Фихте, которая исходила изъ той же точки зрѣнія, какъ и философія Беркли; но эта послѣдня философія ограничивала наше познаніе наблюдениемъ, и потому была сенсуалистическою, своди всякое наблюденіе къ ощущенію, какъ первичному факту, данному въ нашемъ сознаніи, философія же Фихте есть умозрительная, поелику самое наблюденіе онъ пытался изъяснить путемъ умозрѣнія. Фихте различалъ въ нашемъ духѣ двоякую дѣятельность: центробѣжную и центростремительную, активную и пассивную. По существу своему духъ есть сила дѣятельная, но онъ же и ограничиваетъ постоянно свою дѣятельность,—ограничиваетъ вслѣдствіе того, что обращается на себя, обращается же на себя, и чрезъ то полагаетъ предѣлъ своей дѣятельности, съ тою цѣлью, дабы прийти къ сознанію себя. Я свободенъ на столько, на сколько сознаю себя свободнымъ; самосознаніе необходимо, такимъ образомъ, какъ условіе свободы духа, но чтобы имѣть самосознаніе, для этого я долженъ обратиться къ себѣ, а такое обращеніе къ себѣ (рефлексъ) не можетъ не задерживать свойственнаго духу стремленія къ дѣятельности. Ограничиваая себѣ, духъ чрезъ то является самому себѣ страдательнымъ, а такъ какъ это самоограниченіе есть актъ предшествующей сознанію, какъ его условіе, то посему оно и представляется намъ независимымъ отъ насъ и слѣдоват. существующимъ виѣ насъ. Такова въ сущности теорія Фихте. Можно ли признать достаточноымъ это объясненіе того какъ происходит въ насъ представление объективнаго міра? Очевидно изъясненіе это далеко не рѣшаеть вопроса, да и не можетъ быть онъ рѣшень съ точки зрѣнія Фихте. Если самоограниченіе духа

есть актъ происходящій безсознательно, то этимъ вовсе не объясняется, какимъ образомъ мы могли бы представлять какъ виѣ настъ существующее то, что на самомъ дѣлѣ есть произведеніе нашего духа. Мы не знаемъ, какъ возникаютъ въ настъ ощущенія; они происходятъ безсознательно и однако ощущенія, именно какъ ощущенія, мы никогда не полагаемъ виѣ себѣ, напротивъ ощущенія ясно различаемъ отъ предметовъ ощущаемыхъ. По учению Фихте, это объясняется тѣмъ, что когда мы рефлектируемъ на ощущеніе, какъ собственное наше состояніе, то рефлексія превращаетъ ощущеніе въ представленіе,—просто потому, что ощущенію противополагаетъ то что ощущается, предметъ ощущаемый, но это противоположеніе есть актъ очевидно происходящій въ нашемъ духѣ, да и самъ предметъ, который и противополагается субъективному состоянію духа, для настъ есть только причина этого состоянія, и какъ состояніе это—стратительное, то и предметъ всегда представляется намъ причиной ограничивающею нашъ духъ, приводящею его въ состояніе пассивное; предметъ для настъ есть то чѣмъ мы сами его представляемъ; онъ есть граница духа, потому что мы *представляемъ* его какъ нѣчто ограничивающее, слѣд. и самое ограниченіе духа предметомъ есть то, что представляется, полагается духомъ же, и какъ полагаемое духомъ, есть въ сущности уже не ограниченіе, а самоограниченіе. Но все же этимъ не объясняется, почему мы не только различаемъ предметъ ощущаемый отъ самыхъ ощущеній, какъ состояній субъективныхъ, но и полагаемъ его *виѣ* духа ощущающаго. Рефлексія, точно, есть сила различающая, и потому она вполнѣ достаточна для того, чтобы мы противополагали ощущеніе ощущаемому, т. е. различали одно отъ другаго, въ одномъ вида причину, а въ другомъ дѣйствіе; но рефлексія сама по себѣ никакъ не можетъ привести настъ къ тому, чтобы различаемое нами мы не только различали, но и полагали какъ виѣ настъ существующее. Существовать виѣ чего бы то ни было значитъ занимать определенное мѣ-

сто, находиться въ пространствѣ. Итакъ пространство дѣлаетъ ощущаемое нами предметомъ внѣшнаго созерцанія. Но именно пространство и не можетъ быть объяснено и выведено изъ какихъ бы то ни было ощущеній, ибо ощущенія, какъ внутреннія состоянія, сами по себѣ не пространственны; равнымъ образомъ пространство не есть только образъ представлениія, т. е. способъ дѣятельности свойственной духу, ибо представленіе пространства очевидно не то же что само пространство. Вообще,—какъ изъ *внѣшняго* нельзя вывести *внутреннее*, такъ и наоборотъ, *внѣшнее* не можетъ быть выведено изъ *внутрення*. Никогда не были, да и не могутъ бы бѣ, удачными попытки изъяснить и вывести пространство изъ какихъ бы то ни было состояній и дѣйствій нашего духа, также какъ и наоборотъ,—невозможно вывести состояній и дѣйствій духа и молекулярныхъ движений внутреннихъ органовъ нашего тѣла.

Ограничиваая себя, и чрезъ то сознавая себя ограниченнымъ существомъ, духъ, по учению Фихте, въ то же время стремится преодолѣть эту ограниченность, расширить свою дѣятельность, и въ этомъ состоить непрерывно продолжающееся развитіе духа, именно въ постоянномъ переходѣ отъ ограниченности къ преодолѣнію ея. Ограничение, следовательно, необходимо для духа въ интересѣ собственнаго его развитія; не будь ограничевія, не было бы и стремленія къ свободѣ, т. е. къ освобожденію отъ всякой ограниченности, къ преодолѣнію ея. Отсюда у Фихте получается такое понятіе о внѣшнемъ мірѣ. Внѣшній міръ, т. е., все то, что мы представляемъ какъ міръ виа насть существующій, есть нечто ограничивающее свободу нашего духа, преграждающее нашу дѣятельность, но вмѣстѣ съ тѣмъ и возбуждающее духъ къ дѣятельности, къ расширенію своей свободы. Внѣшний міръ съ точки зрењія Фихте не имѣть самостоятельного значенія; онъ есть только средство къ развитію духа и существуетъ для насть настолько, насколько мы полагаемъ его какъ существующій. Уже не познаніе разсматривается здѣсь

какъ относящееся необходимо къ бытію, какъ его дѣйствіе, послѣдствіе, или отображеніе въ духѣ, а наоборотъ, самое бытіе рассматривается какъ зависимое отъ познающей дѣятельности духа, какъ полагаемое имъ въ интересѣ своего развитія; самъ же духъ не есть бытіе (субстанція), но дѣятельность, творческая сила, созидающая бытіе. Онъ есть существо по преимуществу активное, а цѣль его дѣятельности—свобода, торжество надъ всякимъ ограниченіемъ.

Нужно ли говорить, сколь противоположенъ этотъ взглядъ на отношеніе человѣческаго духа къ миру взгляду на тотъ же предметъ материалистическому. Съ точки зренія материализма не виѣшній міръ—произведеніе духа, представляющаго его, а наоборотъ, духъ есть часть и продуктъ виѣшняго міра; онъ есть существо не активное, а пассивное, всецѣло зависимое отъ окружающаго его міра, и цѣль его существованія можетъ заключаться лишь въ наслажденіи, въ пріобрѣтеніи и употребленіи благъ, доставляемыхъ ему виѣшнимъ міромъ. Какъ сказано выше, внутреннее и виѣшнее невозможнo выводить одно изъ другаго; точно такимъ же образомъ невозможно изъяснить вполнѣ жизнь духа, если ограничиться этимъ возврѣніемъ на отношеніе его къ виѣшнему миру, и наоборотъ, нельзѧ также признать вполнѣ достаточнымъ и соответствующимъ природѣ духа и противоположный означенному возврѣнію взглядъ Фихте.

*Матеріализмъ* отрицааетъ самостоятельное значеніе духовнаго міра, *субъективный идеализмъ* отрицааетъ самостоятельное значеніе матеріального міра. Невозможно, чтобы и матеріализмъ и идеализмъ были одинаково истинными, и однажъдь несомнѣнно, что оба эти ученія имѣютъ твердую опору въ нашемъ сознаніи, именно одно во виѣшнемъ наблюденіи, а другое во внутреннемъ опытѣ. Не очевидно ли отсюда, что невозможно совершенно отвергнуть ни то ни другое ученіе во всей его цѣлости. Слѣдовательно, истины, повидимому, должно искать въ срединѣ, т. е. въ соединеніи, а вмѣсть съ тѣмъ и во взаимномъ ограниченіи означенныхъ учений—одного посредствомъ другаго.

III.

Противоположность, представляемая субъективнымъ идеализмомъ и материализмомъ, какъ видно изъ предъидущаго, является послѣдствіемъ того, что одно изъ этихъ направлений исходитъ съ точки зре́нія ви́шняго наблюденія и на немъ единственно хочетъ опереться, а другое, напротивъ, основывается на внутреннемъ наблюденіи (при чёмъ и ви́шний опытъ превращаетъ въ опытъ внутренній, тогда какъ материализмъ, наоборотъ, факты и явленія, известные по внутреннему опыту, хочетъ превратить въ объекты ви́шняго наблюденія). Не слѣдуетъ ли признать, поэтому, что материальный и духовный міръ, явленія тѣлесныя и явленія духовныя, ви́шняя и внутрення, совершенно тождественны и различаются не по сущности, а потому лишь что рассматриваются нами съ различныхъ точекъ зре́нія, т. е. только являются намъ двойственными, въ дѣйствительности же каждое духовное явленіе материально. Ви́шнее и внутреннее наблюденіе—это различные способы разсмотрѣнія явленій; одно и тоже явленіе по необходимости будетъ представляться намъ двойственнымъ, коль скоро мы можемъ рассматривать его и по тому и по другому способу, если т. е. оно доступно и для ви́шняго и для внутренняго воспріятія. Конечно, если известное явленіе можетъ быть предметомъ только ви́шняго наблюденія, то и природа этого явленія всегда оказывается однородною. Но не таковы явленія психическая. Каждое изъ явленій этого рода имѣть характеръ двойственный,—не само въ себѣ двойственно, но представляется таковымъ потому, что двоякимъ образомъ мы можемъ рассматривать его, ибо двоякимъ образомъ воспринимается нами. Представленіе и тотъ первыи процессъ, которымъ сопровождается его возникновеніе,—это не два разнородныхъ явленія, а одно и тоже явленіе, но только представляющееся съ точки зре́нія ви́шняго наблюденія какъ первыи процессъ, а съ точки зре́нія самонаблю-

денія какъ представліеніе. Подобнымъ же образомъ должно разумѣть и всѣ психическіе акты; каждый изъ нихъ связанъ съ чисто тѣлеснымъ процессомъ, совершающимся въ организмѣ, и есть не что либо отличное отъ этого процесса, а самый этотъ процессъ только рассматриваемый съ точки зре́нія внутренняго опыта.

Но если всякое психическое явленіе есть процессъ материальный, совершающійся въ нашемъ тѣлѣ, если, такимъ образомъ, въ сущности есть то чѣмъ является, но только не для внутренняго, а для виѣшняго наблюденія или опыта, то не значитъ ли это, что точку зре́нія внутренняго опыта схѣдуетъ признать обманчивою, ложною? Въ такомъ случаѣ самая эта точка зре́нія оставалась бы необъяснимою; было бы не понятно, какимъ образомъ чисто физическій процессъ, молекуляриое движеніе, можетъ представляться намъ не какъ этотъ процессъ, не какъ движеніе, но какъ мысль, чувство, желаніе. Пусть даже дѣйствительно обманываетъ настъ внутреннее наше сознаніе, пусть дѣйствительно оно должно представлять намъ тѣлесный процессъ не какъ этотъ процессъ, не въ видѣ движенія, но какъ нѣчто совершение отличное отъ него, совершенно несходное съ тѣмъ, что онъ есть на самомъ дѣлѣ,—во всякому случаѣ и это обманчивое сознаніе наше, и это ложное представліеніе, какое оно даетъ намъ о перемѣнахъ и явленіяхъ происходящихъ въ насъ, суть факты, требующіе изъясненія. Мы не можемъ отвергнуть и признать ложнымъ свидѣтельство нашего сознанія уже потому, что это свидѣтельство необходимо, не зависитъ отъ настъ, сдѣловат. имѣть основаніе въ нашей природѣ. Потому-то мы и нашли нужнымъ искать примиренія точки зре́нія, свойственной виѣшнему чувственному созерцанію, съ внутреннимъ самосознаніемъ.

Затрудненіе это повидимому разрѣшается просто: выше сказано, что психическія явленія отличаются двойственнымъ характеромъ, и этотъ характеръ ихъ поставленъ въ зависимость отъ того, что этого рода явленія, не такъ какъ

чисто физические процессы, составляютъ предметъ только вѣшняго наблюденія (и въ этомъ отношеніи оказываются также материальными), но сверхъ того еще особеннымъ образомъознаются нами чрезъ самосознаніе; и этотъ-то именно внутренній образъ представлениія душевныхъ явленій самимъ себѣ, это самосознаніе, и есть внутренняя сторона самихъ явленій, есть та отличительная черта, которая раздѣляетъ эти явленія отъ процессовъ чисто физическихъ. Конечно явлеія психической также суть, въ основаніи своеи, процессы материальные, но эти процессы имѣютъ внутреннюю сторону, которую и открываютъ въ нашемъ сознаніи. То, что мы называемъ психическимъ феноменомъ въ собственномъ смыслѣ, и есть эта внутренняя сторона физиологического процесса, насколько такой феноменъ признается нами. Однако же самый феноменъ психической, напр. чувство, желаніе, одно ли и тоже что и сознаніе этого феномена, или же сознаніе психическихъ явленій должно различать отъ самихъ явленій? Если бы сознаніе психическихъ явленій было тождественно съ самими явленіями, таکъ чтобы каждое явленіе само себя сознавало; въ такомъ случаѣ сколько есть различныхъ психическихъ феноменовъ, столько же должно быть и различныхъ сознаній. Но сознаніе—одно; единство и нераздѣльность есть его существенный характеръ; поэтому-то мы не можемъ не различать сознанія отъ психическихъ явленій, которымъ свойственны множественность и разнообразіе. Психические феномены не могли бы быть объектомъ для нашего сознанія, еслибы совершенно не различались отъ него. Правда, наше я есть вмѣстѣ и субъектъ и объектъ, но не само оно, а только разнообразный его состоянія и дѣятельности составляютъ для него непосредственный объекти. Итакъ сознаніе психическихъ явленій не тоже что эти явленія; ибо сознаніе одно, а явленій множество. Откуда этотъ характеръ единства, свойственный сознанію? Скажутъ, что хотя психическихъ явленій много, но процессъ составляющей, таکъ сказать, вѣшнюю сторону ихъ въ сущности одинъ,—это именно молекулярный процессъ, происходящій

въ нашей нервной системѣ,—отсюда и единство сознанія; но въ такомъ случаѣ остается необъяснимымъ разнообразіе и множественность сознаваемыхъ нами психическихъ явлений. Не объясняется ли это разнообразіе и множественность психическихъ явлений разнообразіемъ поводовъ служащихъ къ возбужденію нервного процесса, а также разнообразіемъ отношеній каждого вновь полученнаго возбужденія къ другимъ, прежде испытаннымъ впечатлѣніямъ, и оставившимъ свои слѣды въ нашемъ мозгу. Подобно тому, какъ одинъ и тотъ же телеграфъ служить средствомъ передачи разнообразныхъ извѣстій, такъ равно и молекулярный процессъ нервной системы является для нашего сознанія посредникомъ къ воспріятію разнообразныхъ впечатлѣній. Сравненіе съ телеграфомъ въ настоящемъ случаѣ наиболѣе употребительно.

Но если сознаніе наше есть не что иное какъ внутренняя сторона нервного процесса, есть такъ сказать самовоспріятіе этого процесса, а различные психические феномены, сознаваемые нами суть также внутреннія видоизмѣненія этого процесса, зависящія отъ различныхъ поводовъ къ его возбужденію, то слѣдуетъ въ такомъ случаѣ признать душевныя явленія имѣющими уже не двойственный въ отличіе отъ чисто физическихъ процессовъ,—какъ предположено, а тройственный характеръ, ибо сверхъ опредѣленного психического состоянія, всякий разъ какъ возникаетъ такое состояніе, мы имѣмъ еще сознаніе этого состоянія. Конечно психическія явленія и самое сознаніе,—которымъ эти явленія сопровождаются, по своей природѣ однородны, однако же различіе между ними такъ значительно, что исключаетъ всякую возможность рассматривать ихъ въ одинаковой мѣрѣ только какъ одну внутреннюю сторону физиологического нервного процесса. Ибо каждый такой процессъ самъ по себѣ есть явленіе единичное, частное и болѣе или менѣе моментальное, а потому съ нимъ можетъ связываться только единичное, вполнѣ опредѣленное, психическое состояніе,

между тѣмъ какъ сознаніе наше обнимаетъ разнообразныя состоянія, сравниваетъ ихъ, сопоставляетъ; оно въ одинаковой мѣрѣ простирается не только на настоящія, но и на прошедшія состоянія. Возможно ли допустить мысль, что какой бы то ни было молекулярный процессъ въ нервной системѣ, какъ этотъ единичный фактъ, по внутренней своей сторонѣ обнимаетъ въ себѣ и другое, не только настоящіе, но и прежде бывшіе процессы, и притомъ такъ, что эти процессы не имали не смысливаются, но различаются, и даже болѣе того: оцѣниваются каждый по своему значенію и достоинству, и не только оцѣниваются, но и преобразуются, исправляются различнымъ образомъ. Однимъ словомъ, разнообразныя проявленія ума и воли, составляющія свѣтлую область сознанія и самосознанія, никакимъ образомъ не могутъ быть рассматриваемы просто какъ только внутренняя сторона молекулярныхъ процессовъ нашей нервной системы, иначе пришлось бы допустить множество явныхъ несообразностей.

Такимъ образомъ и это воззрѣніе, которое мы здѣсь рассматриваемъ, какъ ни кажется оно на первый взглядъ простымъ и натуральнымъ, представляетъ трудности непреодолимыя. Не смотря на то, оно рѣшительно принимается многими современными психологами и учеными<sup>1)</sup>. Какія же

1) Очеркъ этого воззрѣнія сообщается въ рѣчи г. Свѣтилина „умѣренный материализмъ“, сказанной на годичномъ актѣ С.-Петербург. духов. Академіи 17 февр. 1878 г. Это же воззрѣніе, и повидимому въ качествѣ окончательного решения вопроса о связи душевныхъ явлений съ тѣлесными, указывается въ статьѣ г. Любимова: „изъ исторіи физическихъ учений съ эпохи Декарта“, Рус. Вѣт., № 5, 1880 г. Здѣсь приведена, заслуживающая вниманія, выдержка изъ психофизики Фехнера. Извѣстно сравненіе души и тѣла съ двумя согласно идущими часами, сдѣланное Лейбницемъ, причемъ Лейбница считалъ возможнымъ изъяснить согласный ходъ часовъ тѣмъ, что или одни часы действуютъ на другое и взаимно уравновѣшиваютъ свой ходъ, или же постороннимъ лицемъ производятся постоянно во взаимное согласіе, или, наконецъ, по причинѣ своего устройства, совершенно независимо другъ отъ друга идутъ согласно,— и оста-

основанія въ ихъ глазахъ оправдываютъ принятіе ими такого воззрѣнія? Основанія эти большею частію заключаются въ разнаго рода аналогіяхъ, сравненіяхъ, которыя скорѣе говорятъ противъ подкрѣпляемаго ими воззрѣнія, чѣмъ въ пользу его; говорятъ напр. что одна и также вещь, одно явленіе, для различныхъ чувствъ представляется различно, т. е. съ разными свойствами, изъ которыхъ каждое безусловно различно отъ всѣхъ другихъ, ибо не можетъ быть объяснено и выведенено одно изъ другаго, таковы свойства: фигура, цветъ, вкусъ, запахъ и т. д. Но этотъ примѣръ не

---

наводится на послѣдней гипотезѣ такъ назыв. представлennой гармонії. По поводу этого сравненія Фехнеръ говоритъ слѣдующее: Лейбницъ забылъ еще одно возможное воззрѣніе, и притомъ самое простое. Часы могутъ идти согласно между собою и никогда не расходиться, ибо они *всегда* не суть *двое различныхъ часовъ*... То что въ стоящему наблюдателю кажется,—цѣликомъ или въ главнейшей существеннѣйшей части,—органическими часами съ двигателемъ и механизмомъ органическихъ колесъ и рычаговъ, то самому наблюдаемому субъекту внутренно является совсѣмъ иначе—какъ его собственный духъ съ ходомъ (*mit dem Gange*) ощущеній, хотѣній, мыслей... Если ктонибудь, поясняетъ Фехнеръ, стоитъ заутри круга, то для него выпуклая сторона совсѣмъ скрыта вогнутую покрышкой; если же онъ находится въ круга, то наоборотъ выпуклая покрышка скрываетъ вогнутую сторону. Но обѣ стороны столь же неразрывно соединены между собою какъ духовная и тѣлесная стороны человѣка, и ихъ можно по сравненію рассматривать какъ внутреннюю и вѣшнюю стороны круга. Такжѣ невозможно усмотреть заразъ обѣ стороны круга, какъ съ того или другаго пункта человѣческаго существованія усмотреть заразъ обѣ стороны человѣка. *Какъ* только мы *мыслимъ* точку наблюденія, мѣняются и стороны круга—та которая усматривается и та которая скрыта за усматриваемою. Стр. 67-я. Противъ этой замѣтки Фехнера нельзя въ свою очередь не замѣтить, что хотя бы Лейбницъ и не забылъ воззрѣнія, на которое указываетъ Фехнеръ, то онъ не могъ бы согласиться съ нимъ, ибо для этого слѣдовало бы ему отказаться отъ всей своей философіи; притомъ же, еслибы Лейбницъ призналъ что *двоє часовъ не двое, а одни*, тогда не было бы и самого вопроса о *согласіи двухъ часовъ между собою*. Наконецъ нельзя сказать и того, чтобы Лейбницъ забылъ воззрѣніе указанное Фехнеромъ, ибо воззрѣніе это въ сущности есть то самое, котораго держался Синоза, а Лейбницъ, какъ известно, решительно расходился со Синозомъ и оспаривалъ его философское ученіе.

можетъ идти въ сравненіе съ тѣмъ, что требуется объяснить; ибо когда одна и также вещь дѣйствуетъ на различные чувства, и чрезъ то является со многими свойствами, то при этомъ очевидно для насъ не только различіе свойствъ, но и то, что эти свойства относятся къ одной и той же вещи; мы не только ощущаемъ напр. цветъ, вкусъ, величину куска сахара, но видимъ также и самую вещь, обладающую этими свойствами; по крайней мѣрѣ для насъ очевидно соединеніе этихъ свойствъ въ одной вещи; напротивъ, что первыи процессъ и соответствующій ему психическій феноменъ,—ощущеніе, мысль, желаніе, суть только двѣ различные стороны, или явленія одной сущности—это лишь утверждается какъ гипотеза, а зовсе не познается нами какъ фактъ очевидный; сверхъ того, различные свойства вещи, воспринимаемыя посредствомъ разныхъ чувствъ, хотя невыводимы одно изъ другаго,—однакожъ однородны по крайней мѣрѣ, ибо всѣ материальны, каковы напр. твердое, мягкое, горькое, сладкое; если же укажутъ на столь разнородныя явленія, какъ дрожаніе частицъ звучащаго тѣла и самый звукъ, относящіяся однако-же къ одному и тому же предмету, то не слѣдуетъ забывать, что подобныя различія условливаются именно тѣмъ, что требуется объяснить, т. е. различiemъ внѣшняго наблюденія и внутренняго восприятія, ибо мы имѣемъ здѣсь съ одной стороны материальный процессъ, а съ другой—ощущеніе этого процесса. По объясненію Фехнера (см. подстрочн. примѣч.) одна и также линія представляется намъ то вогнутою, то выпуклою, если рассматривать ее съ разныхъ сторонъ; подобнымъ же образомъ явленія духовныя и соответствующіе имъ тѣлесные процессы суть только различные стороны, или же двоякое представление одного и того же, зависящее отъ двойственной точки зрѣнія. И относительно этого соображенія мы должны замѣтить прежде всего, что определенія: выпуклый и вогнутый точно соответствуютъ и такъ связаны одно съ другимъ, что одно безъ другаго не мыслимы; между тѣмъ мы не толь-

ко можемъ мыслить тѣлесные процессы происходящими отдельно отъ духовныхъ явлений,—и точно чисто физические процессы въ насть, однородные съ процессами происходящими въ нашемъ тѣлѣ, не сопровождаются обыкновенно явлениями духовными,—но даже не въ силахъ понять, какая необходимая связь могла бы быть между тѣми и другими, и дѣйствительно ли есть такая связь. При томъ же, различіе опредѣленій: *вонутая и выпуклая линія* можно объяснить различиемъ точки зрѣнія на предметъ, ибо предметъ познанія и субъектъ познающій съ принадлежащими ему способами познанія въ этомъ случаѣ не тождественны; когда же различіе духовныхъ явлений и соотвѣтствующихъ имъ физиологическихъ процессовъ хотятъ объяснить различиемъ точекъ зрѣнія со стороны наблюдающаго, то забываютъ, что наблюдающій при этомъ самъ же для себя и служитъ предметомъ объясненія, и что разность точекъ зрѣнія, чѣмъ изъясняется предметъ, сама входитъ въ разрядъ явлений изъясняемыхъ. Наконецъ для доказательства однородности явлений психическихъ съ явленіями физическими ссылаются на то, что дѣятельность чисто духовная, напр. умственный трудъ, также требуетъ соотвѣтственной затраты физической силы (по закону взаимоотношения и сохраненія силъ), источникомъ которой служить питаніе,—какъ и всякая физическая работа. Но если бы и дѣйствительно со всею точностью было доказано полное соотвѣтствіе между дѣятельностью духовною и затратою физической силы, то отсюда слѣдовало бы только, что духовные явленія, состоянія и дѣятельности сопровождаются процессами тѣлесными, на которые и употребляется физическая сила, но тождество тѣхъ и другихъ остается все же недоказаннымъ.

Разсмотрѣнное до сихъ поръ воззрѣніе, хотя и принимается въ настоящее время многими учеными, нельзя однако считать новымъ и оригинальнымъ. Оно было выражено еще въ философской системѣ Спинозы и составляетъ основную идею этой системы. Справедливость требуетъ при томъ за-

мѣтить, что идея эта у Спинозы проведена съ большою послѣдовательностью. Двойство, признаваемое современными психологами отличительнымъ характеромъ психическихъ явлений, Спиноза распространялъ на всѣ явленія природы, такъ какъ, по учению Спинозы, мышленіе, которое онъ признавалъ сущностю душъ, и протяженіе,—сущность тѣла, суть параллельные свойства одной безконечной субстанціи, т. е. всеобщей сущности бытія, такъ что всякое явленіе въ мірѣ, по этому взгляду, и материально и вмѣстѣ идеально, будучи съ одной стороны модусомъ протяженія, а съ другой—модусомъ мышленія. И онъ также училъ, что невозможно выводить модусовъ мышленія изъ модусовъ протяженія, т. е. духовныхъ явлений изъяснять изъ тѣлесныхъ, и потому полагалъ, что тѣ и другія суть только различныя стороны или формы существованія одного и того же, но не ограничивалъ этого утвержденія областю психологическихъ явлений. И въ самомъ дѣлѣ, если психические процессы въ сущности одинаковы съ процессами физическими, т. е. материальны, то нѣтъ основанія двойство считать принадлежностю только первыхъ, но и во всякомъ материальномъ процессѣ надлежитъ въ такомъ случаѣ предполагать внутреннюю сторону. Къ этому именно выводу, дѣйствительно, приходитъ, довольно распространенное въ настоящее время, учение, имеющее себѣ монизмъ (въ противоположность дуализму). По этому учению способность ощущать, т. е. испытывать разнообразныя внутреннія состоянія, изъ которой какъ изъ зародыша развиваются всѣ дальнѣйшія формы субъективной жизни, должна быть приписана даже простѣйшимъ элементарнымъ частицамъ матеріи, слѣд. должна быть признана общимъ свойствомъ ея, а не принадлежностю однихъ лишь органическихъ существъ. Въ законосообразной связи дѣйствительныхъ измѣненій, происходящихъ въ неорганической природѣ,—читаемъ въ одной изъ статей недавно издававшагося у насъ журнала *Знаніе*,—(1875 г. № 2-й: *Борьба за существование въ небесномъ пространствѣ*, ст. К. Дю-Прелля) намъ

открывается лишь чистая ви́шность, причинная сторона сущности матеріи, тогда какъ внутренняя сторона отсту-  
паетъ такъ далеко, что можно, пожалуй, подумать, что су-  
щество матеріи исчерпывается одною этою ви́шнотою. Органическая природа, напротивъ, обнаруживаетъ преиму-  
щественно внутреннюю сторону своего существа, такъ что сюда легко можетъ вкрасться заблуждение, будто напр., психическая функция не могутъ быть подведены подъ законы матеріи, будто въ нихъ исключительно господствуетъ про-  
изволъ, который никакимъ взаимодѣйствиемъ съ ви́шней стороны не можетъ войти въ предѣлы законосообразности; моментъ причинности здѣсь почти исчезаетъ отъ нашихъ взоровъ.—Чѣмъ яснѣе выступаетъ причинная сторона су-  
щества матеріи, какъ напр. въ движеніи звѣздъ, тѣмъ бо-  
льше скрытой остается внутренняя; тамъ же, напротивъ, гдѣ эта послѣдняя ясно высказывается, напр. въ произвольныхъ дѣйствіяхъ человѣка, мы съ трудомъ признаемъ ви́шнюю причинную сторону. Это заставляетъ насъ проводить каче-  
ственныя различія между психическими и механическими проявленіями природы, которыхъ въ дѣйствительности не существуетъ. Въ этомъ отношеніи въ самомъ естествознаніи, у его главныхъ дѣятелей, проявляется здравая реакція противъ чисто ви́шняго объясненія явлений. Все болѣе и болѣе обнаруживается потребность отыскать внутреннюю связь измѣненій и взять за образецъ для всѣхъ явлений тѣ явленія изъ области нашего опыта, гдѣ мы находимъ эту связь. А это не иначе можетъ быть сдѣлано, какъ только признавъ предварительно способность ощущенія за основное свойство всякой матеріи.—Стараніе естествоиспытателей вывести эмпирическіе факты ощущеній организованной матеріи изъ извѣстного расположенія ея атомовъ останутся всегда тщетны; потому что изъ матеріи, сущность которой исчерпывается причинными, временными и пространственными элементами, никакой анализъ не выведетъ другихъ явлений какъ опять таки причинные, временные, простран-

ственныи, такъ какъ всѣ силы природы являются только соединеніями простѣйшихъ атомныхъ силъ. Продолжительный споръ между материализмомъ и спиритуализмомъ, заключится, по всѣмъ вѣроятіямъ, тѣмъ что въ ощущеніи организованной матеріи мы признаемъ только возвышеніе основнаго свойства, присущаго атомамъ всякой матеріи. Если Шопенгауэръ называлъ всякую силу волею, а новѣйшие естествоиспытатели, напр. Уоллесъ, считаютъ силу воли за видоизмѣненную энергию матеріи, то отсюда само собою слѣдуетъ, что мы признаемъ... способность ощущенія за первоначальное свойство матеріи, которая во всѣхъ царствахъ природы законосообразно управляетъ по началамъ желанія или нежеланія; сила этого ощущенія можетъ быть, конечно, принята возможно малая (стр. 101—103). Съ этимъ разсужденіемъ вполнѣ гармонируетъ то воззрѣніе Фехнера, что атомы, какъ простѣйшии элементы тѣлеснаго міра, составляющіе основу мірозданія, суть такие материальные пункты, или пунктуальные интенсивности (Intensitten), которые не абсолютно мертвы, но имѣютъ психическое значеніе и могутъ быть названы потенциально - психическими реальностями, ибо каждое органическое существо есть такая сложная система атомовъ, которая во внешнемъ явленіи образуетъ тѣло, а во внутреннемъ явленіи — душу. Еще рѣшительнѣе въ этомъ отношеніи взглядъ Лотце, который находитъ, что столько же есть въ мірѣ сознательныхъ или безсознательныхъ душъ, сколько существуетъ метафизическихъ или физическихъ раздѣльныхъ тѣлесныхъ атомовъ<sup>1)</sup>). Подобныя воззрѣнія имѣютъ свое основаніе (какъ это видно въ особенности изъ приведенного выше разсужденія Дю-Прелля) очевидно въ томъ, что недостаточность

<sup>1)</sup> См. краткую характеристику философ. ученія Фехнера, — где указывается также различіе этого ученія отъ сходнаго со мною ученія Лотце — въ критической статьѣ Фр. Гоффмана: *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, 77 Bd. 1-es Heft (1880).

чисто виѣшняго чувственаго созерцанія восполняется данными изъ внутренняго опыта, а недостаточность эта чувствуется постоянно даже тѣми, которые хотятъ держаться исключительно почвы виѣшняго опыта, признавая только виѣшнее наблюденіе вполнѣ достовѣрнымъ. Говоря напр о силахъ и процессахъ виѣшней физической природы, замѣчаютъ обыкновенно, что сущность этихъ силъ и процессовъ намъ совершенно неизвѣстна и недоступна; не трудно видѣть, что подъ сущностю силъ и явлений природы разумѣется ихъ внутренняя, скрытая сторона, но самая мысль о существованіи этой внутренней скрытой стороны во виѣшней природѣ гдѣ имѣть свой источникъ какъ не во внутреннемъ опьте? Мы невольно предполагаемъ повсюду въ природѣ жизнь, подобную той, какую сами въ себѣ сознаемъ. Съ другой стороны намъ говорять, что одна изъ главныхъ причинъ, задерживающихъ надлежащее познаніе природы, заключается въ томъ что „человѣкъ старается навязать міру свое собственное существо“... „Когда мы думаемъ, что міръ дѣйствительно таковъ, какимъ онъ отражается въ нашихъ ощущеніяхъ, или какимъ возбуждается наше эстетическое чувство, мы замѣняемъ дѣйствительныя вещи нашими ощущеніями и чувствами“... „Въ преодолѣніи этой точки зрянія и въ постепенномъ прокладываніи дороги тому сознанію, что представлениа наши не суть самыя вещи, а только признаки, указывающіе на эти послѣднія, въ этомъ именно, по меньшей мѣрѣ на столько же, насколько и въ обиліи наблюденныхъ фактовъ, заключаются успѣхи познанія природы<sup>1)</sup>. Такимъ образомъ для насъ, въ нашихъ понятіяхъ и представленияхъ о бытіи вещей, повидимому неизбѣжны постоянныя колебанія въ ту или другую изъ двухъ сторонъ нашей познавательной дѣятельности, или въ сторону внутренняго опыта или въ сторону виѣшняго созерцательного наблюденія. Спиритуализмъ и материа-

<sup>1)</sup> Знаніе. 1876 г., № VII; ст. Вундта: Историческое развитіе учений о веществѣ, стр. 24—25.

лизмъ--это крайняя точки взгляда, между которыми постоянно происходят такія колебанія мысли. Потому и не удивительно, что и тѣ воззрѣнія, которые стараюсь уравновѣсить обѣ точки зренія, предполагаютъ повсюду наравнѣ съ вѣшней стороны бытія сторону внутреннюю и скрытую и въ связи съ этимъ каждую реальную сущность рассматриваютъ какъ единство вѣшнаго и внутреннаго, или по прежней философской терминологии, объективнаго и субъективнаго, реальнаго и идеальнаго,—и эти воззрѣнія легко разрѣшаются въ ту или другую изъ названныхъ выше крайностей.

---

Выше было сказано, что бытіе для насъ по преимуществу есть то что открывается во вѣшнемъ опыта, между тѣмъ какъ познаніе, будучи процессомъ, въ насъ происходящимъ, есть предметъ внутренняго опыта—самонаблюденія или самосознанія. Отсюда, какъ только хотятъ держаться исключительно вѣшнаго опыта, внутренній же опытъ исключается, то при этомъ и познавательные процессы рассматриваются какъ часть дѣятельности, составляющей объектъ вѣшнаго опыта; противоположность познанія и бытія, такимъ образомъ, исчезаетъ; наоборотъ, когда внутренній опытъ служитъ исходною точкою и основаниемъ для решенія вопроса, то бытіе, такъ сказать, поглощается познаніемъ, ибо рассматривается какъ продуктъ познавательной дѣятельности или прямо отождествляется съ познаніемъ; противоположность бытія и познанія также исчезаетъ, но теперь остаются только познавательные процессы какъ данные; если же и вѣшній и внутренній опытъ признаются равно необходимыми органами познанія, и одинъ не исключается въ пользу другаго, то въ соответствіе съ этимъ, по-видимому, ничего болѣе не остается, какъ согласиться съ тѣмъ воззрѣніемъ, что бытіе и познаніе—это двѣ совершенно несводимыя одна на другую стороны одной и той же

дѣйствительности. Таковы единственно возможныя решенія вопроса объ отношеніи познанія и бытія. Предъидущій разборъ ихъ показалъ, что ни съ однимъ изъ нихъ нельзя согласиться вполнѣ. Однакоже въ самомъ началѣ изслѣдованія мы остановились на томъ предположеніи, что познаніе и бытіе должно признать соотвѣтствующими одно другому, что нельзя допустить ни совершенного тождества того и другаго, ни совершенной раздѣльности одного отъ другаго, а только отношеніе соотвѣтствія должно быть признано дѣйствительно существующимъ. Но это предположеніе не совпадаетъ ли съ разсмотрѣннымъ выше воззрѣніемъ о двойственной природѣ всего существующаго и познаваемаго нами? Конечно совпадаетъ, но только не вполнѣ; ибо воззрѣніе это, какъ мы видѣли, вызываетъ противъ себя серьезные возраженія. И для устраненія этихъ возраженій необходимо привести въ ясность заключающуюся въ немъ истину и дополнить нѣкоторыми существенными опредѣленіями.

Если бы то изъ чего слагается наше познаніе, т. е. наши представлениія, было не болѣе какъ только внутреннею стороною происходящаго въ насъ материальнаго процесса, тогда для нашего сознанія не существовало бы никакого различія между истинными и ложными представлениіями, ибо тѣ и другіе одинаково были бы выраженіемъ необходимыхъ материальныхъ процессовъ. Дѣйствительно, когда на самомъ дѣлѣ представлениія суть не болѣе какъ состоянія чувствующаго, или ощущающаго существа, то въ этомъ отношеніи ничѣмъ не различаются ложные представлениія отъ истинныхъ, коль скоро тѣ и другіе внушаются намъ дѣйствиемъ на насъ вѣнчихъ предметовъ; бываютъ напр. завѣдомо ложные представлениія, мы сознаемъ ихъ ложность, но изменить ихъ не въ состояніи.

Но когда рѣчь идетъ объ истинности и ложности представлений, то берется во вниманіе не это ихъ отношеніе къ сопровождающимъ ихъ тѣлеснымъ процессамъ, которое для сознанія нашего и не существуетъ, а отношеніе къ пред-

метамъ, составляющимъ содержание представлений. Ближайшимъ образомъ, конечно, наши представления, какъ состояния внутрення, должны соответствовать процессамъ физиологическимъ външнихъ и внутреннихъ органовъ восприятія, но какъ эти процессы возбуждаются външними предметами, то мы и относимъ представления къ этимъ предметамъ, а не къ процессамъ въ наше происходящимъ. И если отношеніе представлений къ сопровождающимъ ихъ физиологическимъ процессамъ необходимо, то отношенія къ предметамъ представляемымъ имѣютъ болѣе свободный характеръ; отъ наше зависить представление темное, неясное уяснить, неполное разширить, неправильное исправить, словомъ—привести въ наибольшее соотвѣтствіе съ предметомъ, подвергая свои чувства многократно и при различныхъ условіяхъ дѣйствію этого предмета. Очевидно, такимъ образомъ, что а) соотвѣтствіе познанія и бытія есть нечто такое, чего требуется достигнуть, а не просто существуетъ; слѣдовательно, не должно смышивать этого соотвѣтствія съ тѣмъ отношеніемъ, которое существуетъ между представленими и сопутствующими имъ физиологическими процессами, ибо б) пусть наши представления, идеи, составляютъ внутреннюю сторону тѣлесныхъ процессовъ, и въ этомъ отношеніи подлежатъ законамъ механическимъ, такъ что имъ свойственна необходимость; но главное ихъ значеніе не въ этомъ состоять, а въ томъ, что мы относимъ ихъ къ предметамъ представляемымъ, сопоставляемъ съ ними, устанавливаемъ между ними отношеніе соотвѣтствія,—и это уже есть дѣло свободы, а не слѣпой безсознательной необходимости.

Такое согласованіе идей съ ихъ предметами, составляющее дѣль познавательной дѣятельности, не есть ли, однако, приспособленіе въ смыслѣ теоріи Дарвина, и потому не есть ли также законъ природы, дѣло необходимости. Конечно, такъ какъ истина состоитъ въ соотвѣтствіи идей съ ихъ предметами, и такое соотвѣтствіе прямо не дано, а только ищется нами, то въ этомъ смыслѣ, дѣйствительно, можно

сказать, что мы приспособляемъ свои представлениа къ предметамъ познанія. Но мотивомъ такого приспособленія служить не борьба за существованіе, не узкій интересъ самосохраненія, а стремленіе къ истинѣ, которое, напротивъ, требуетъ даже самоотреченія, забвенія своихъ личныхъ интересовъ, отрѣшенія отъ себя. Такое самопожертвованіе возможно лишь потому для человѣка, что онъ обладаетъ способностію *отвлечения*. Мышленіе и есть именно такая способность отвлечения не только отъ вещей, но и отъ своихъ собственныхъ своекорыстныхъ побужденій. Въ мышленіи открывается для насъ область самоопределѣнія. Какъ способность отвлекающая и обобщающая, оно ставить насъ какъ бы въ себя и приводить насъ въ общеніе съ въ насъ существующимъ міромъ. Мышленіе, правда, дѣйствуетъ также по законамъ свойственнымъ ему, но это уже не суть законы механической необходимости; они имѣютъ значеніе нормативное, ибо опредѣляютъ для насъ главнымъ образомъ *идеальныхъ цѣли*, а не реальнуу дѣйствительность, а потому и сами имѣютъ по преимуществу характеръ идеальный (см. статью о законахъ мышленія).

Но какъ способность отвлекающая и обобщающая, мышленіе не есть ли дѣятельность принадлежащая не отдельной личности, а всецѣлой совокупности человѣческихъ личностей, будучи единою во всѣхъ; не есть ли эта дѣятельность откровеніе общаго духа, возвышающагося надъ каждою отдельною личностію, безграничнаго и потому безличнаго, относительно котораго отдельная личности суть не болѣе какъ временные и несовершенные обнаруженія его (какъ думалъ Гегель,— и вообще учать пантейсты)?

Познаніе истины, какъ цѣль мыслящей дѣятельности, отрѣшаетъ человѣка отъ самого себя, приводитъ къ забвенію своихъ личныхъ эгоистическихъ интересовъ, но это самоотреченіе есть въ тоже время самоутвержденіе человѣческой личности. Человѣкъ отрѣшается отъ необходимости физической, свойственной его материальной природѣ, но

чрезъ это самоотреченіе онъ достигаетъ свободы духа, утверждаетъ нравственное достоинство своей личности, а потому мышленіе не только не есть дѣятельность безличная, напротивъ способствуетъ развитію, усовершенію моральной личности человѣка. Какимъ образомъ возможна была бы эта свобода духа и его господство надъ материальною необходимостію, если бы онъ былъ неболѣе какъ продуктомъ и обнаружениемъ этой необходимости? Съ другой стороны какимъ образомъ человѣкъ могъ бы возвышаться въ собственныхъ глазахъ и вмѣнять себѣ въ заслугу дѣятельность, направленную къ познанію истины, если бы эта дѣятельность не была принадлежностію его личнаго духа? Пантегисты вполняютъ права, когда въ человѣкѣ строго разграничаютъ духовное его существо отъ природы материальной, но они очевидно впадаютъ въ заблужденіе, рассматривая это существо какъ такую силу, которая, сама по себѣ будучи общемъ и безличною, только временно проявляется въ отдельныхъ индивидуумахъ, между тѣмъ какъ именно въ духовномъ существѣ человѣка по преимуществу открывается его личность, почему необходимо признать это существо не только отличнымъ отъ материальной природы, самостоятельнымъ, но также индивидуальнымъ существомъ. Такимъ образомъ, чтобы ни говорили прогивъ дуализма, но проявленія духовной жизни человѣка не могутъ быть иначе поняты .. изъяснены, какъ только съ точки зрѣнія дуализма, полагающаго рѣшительную и твердую границу между духомъ и тѣломъ.

# СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ.

(Наука и религія Б. Чичерина. Москва 1879 г.).

—

Извѣстно, что на практикѣ всегда люди домогались и домогаются свободы, и когда нужно, безъ малѣйшихъ колебаній ее отстаиваютъ.—Но и самые рѣшительные поборники свободы готовы иногда отрицать оную въ теоріи. И въ самомъ дѣлѣ, не видимъ ли мы какъ повсюду обнаруживается господство необходимыхъ законовъ?—Ужели человѣкъ есть исключеніе въ этомъ отношеніи,—и натуральная необходимость не дѣйствуетъ въ немъ такъ же непреодолимо и послѣдовательно какъ во всѣхъ другихъ существахъ и повсюду въ природѣ? Для психолога, также какъ для естествоиспытателя и вообще для науки,—говорится въ одной рѣчи, произнесенной въ цюрихскомъ университѣтѣ,—необходимо то общее, недопускающее исключеній, предположеніе, что всѣ явленія въ совокупности и каждое въ отдѣльности, всякое событие слѣдуютъ неизмѣннымъ законамъ, и задача научного изысканія въ томъ именно состоять чтобы открыть и опредѣлить эти законы... Наука о духѣ должна отвергнуть фантастическое, созданное романтикою, представление о проявленіяхъ духа какъ о чёмъ-то

слишкомъ измѣнчивомъ и самодвижущемся (*Leben und Leben*), слѣдя примѣру физики, которая давно уже изгнала подобную фантастическую жизнь изъ природы. Она, эта наука, напротивъ утверждаетъ, что всякое внутреннее существование протекаетъ въ твердыхъ, всегда и неизмѣнно повторяющихся пропорціахъ обоядной условности<sup>1)</sup>). Что человѣкъ имѣть способность опредѣлять себя къ дѣйствію независимо отъ какой либо натуральной необходимости, т. е. обладаетъ свободою,—предположеніе это многимъ кажется невозможнымъ, такъ какъ имъ нарушается единство міросозерцанія: необходимо въ такомъ случаѣ признать, что человѣкъ не есть такое существо, въ которомъ все изъяснялось бы изъ общихъ законовъ природы, что слѣдовательно сверхъ этихъ законовъ существуютъ еще иные законы, что кромѣ физического міра есть еще иной міръ. Но если возможно такое двойственное отношеніе къ свободѣ, если защищая всѣми способами свободу на практикѣ, въ то же время отрицаютъ и знать не хотятъ ее въ теоріи,—то удивительно ли что въ теченіе вѣковъ продолжается споръ о свободѣ? Есть стало быть основанія и для того, чтобы утверждать, и для того, чтобы отрицать бытіе свободы. Поэтому задача относительно вопроса о свободѣ должна состоять не въ томъ, чтобы доказывать существование или несуществование свободы въ человѣческомъ духѣ, ибо одинаково можно доказывать и то и другое, а въ томъ чтобы показать, какимъ образомъ свобода и необходимость могутъ совмѣщаться въ человѣкѣ, такъ что можно рассматривать его и какъ свободное и вмѣстѣ какъ несвободное, подлежащее необходимости, существо.

Г. Чичеринъ въ своей книгѣ *Наука и религія* доказываетъ, и притомъ не разъ, что человѣкъ обладаетъ свободою волею. „Человѣкъ какъ существо разумное, говоритъ онъ, исполняетъ нравственный законъ не въ силу естеств-

<sup>1)</sup> Fichte's Zeitschr. f. Phil. LXXV, 1. 27.

венной необходимости, а на основании собственного своего разумного решения. От него зависит исполнить его или не исполнить, уклониться от закона и возвратиться к нему... Ты философы, которые отвергают свободу воли, тем самым уничтожаете ответственность человека и т. д. Но каким образом, спрашивает затем г. Чичеринъ, возможна свобода? „Какъ согласить ее съ непреложнымъ закономъ съединенія причинъ и слѣдствій, которымъ управляетъ вѣшній міръ, и которому необходимо подчиняется и человѣкъ какъ чувственное существо?“ Однакожъ соглашеніе свободы и необходимости, о которомъ столь ясно и решительно выраженъ вопросъ, не указано. Вместо этого продолжается и далѣе доказываніе свободы. (Стр. 144 и дал.). При этомъ оказывается что яснѣйшимъ образомъ, по мнѣнію г. Чичерина, свобода обнаруживается въ воздержаніи отъ всякаго дѣйствія и въ отрицаніи всякаго побужденія къ дѣйствію. „Какъ въ теоретической области, говоритъ онъ, разумъ идетъ отъ отвлеченія къ отвлечению, пока не доходитъ до чистаго отрицанія (до понятія небытія?), такъ и въ практической области онъ отрицає всякое частное побужденіе и тѣмъ возвышается къ сознанію безусловной своей сущности, или своей независимости отъ чего бы то ни было, кроме самаго себя“. (Стр. 145). Въ отрицаніи всякаго побужденія г. Чичеринъ видитъ такимъ образомъ высшее проявленіе свободы. Но такое отрицаніе имѣть далеко неравное значение, смотря по тому, отъ чего оно происходитъ. Если отрицаніе это есть слѣдствіе апатіи, косности (на Обломова никакія побужденія не дѣйствуютъ), то оно означаетъ не торжество, а скорѣе лишеніе свободы. Если же то что г. Чичеринъ называетъ отрицаніемъ всякаго частного побужденія есть состояніе не пассивное, а дѣятельное, исполненное энергіи, и потому имѣющее опредѣленную цѣль, то такое состояніе не только не исключаетъ, напротивъ предполагаетъ не обходимо иѣкоторое побужденіе. Собственно говоря невозможно представить такое состояніе полнаго безразличія, въ

которомъ не дѣйствовали бы никакія побужденія, какъ это справедливо утверждалъ еще Лейбницъ противъ Декарта. На возраженіе что и отрицательное отношеніе къ дѣйствію должно имѣть свое побужденіе, г. Чичеринъ отвѣчаетъ: „такимъ побужденіемъ можетъ быть идея свободы, нежеланіе связать себя чѣмъ бы то нибыло“. Т. е. идея свободы, независимости отъ всякихъ побужденій? Но въ томъ-то и дѣло что такая свобода невозможна; если держаться подобнаго понятія о свободѣ, то самый глупый человѣкъ, какъ замѣтилъ Лейбницъ, былъ бы наиболѣе свободенъ. Мы можемъ воздерживаться отъ извѣстнаго дѣйствія только въ виду опредѣленной цѣли, и свобода дѣйствія нужна для чего нибудь, а не просто для свободы. Свобода отъ всякихъ побужденій есть совершенная пустота, невозможная въ дѣйствительности.

Далѣе, послѣ довольно продолжительного разсужденія о правѣ, государствѣ, обѣ исторіи мы встрѣчаемъ у г. Чичерина слѣдующее положеніе: „Противоположныя опредѣленія духа, бесконечное и конечное, идеи и жизнь, свобода и необходимость должны быть приведены къ идеальному соглашенію“ (156—157). Изъ послѣдующаго разясненія этой мысли видно, что соглашеніе свободы и необходимости, по мнѣнію г. Чичерина, есть идеалъ, который нѣкогда долженъ осуществиться. Такимъ образомъ вопросъ устраиваетъ, но не рѣшается, и это на томъ основаніи что рѣшеніе его есть дѣло исторіи, т. е. по мнѣнію г. Чичерина, рѣшеніе можетъ быть только практическое, а не теоретическое: сама жизнь должна впослѣдствіи рѣшить вопросъ о свободѣ и необходимости, и пока такого рѣшенія нѣть, напрасно было бы пытаться его представить. Но допуская что рѣшеніе это осуществится въ исторіи, слѣдуетъ признать, что то будетъ рѣшеніе для всего человѣчества; между тѣмъ такое или иное рѣшеніе его необходимо требуется и нравственнымъ интересомъ отдельной личности, и дѣйствительно такъ или иначе рѣшается каждымъ, кто только

сознаетъ въ себѣ этотъ нравственный интересъ. Г. Чичеринъ самъ говоритъ, что значеніе человѣческой личности не ограничивается тѣмъ что она становится органомъ всемирно-исторического процесса, ибо человѣкъ имѣть абсолютное значеніе, и что поэтому, сверхъ общаго решенія вопроса о свободѣ и необходимости, состоящаго во взаимномъ проникновеніи двухъ противоположныхъ началъ—общаго и частнаго—которое должно осуществиться исторіею въ цѣломъ человѣчествѣ,—сверхъ этого, нравственный законъ въ отношеніи къ лицу требуетъ, чтобы вицшнее состояніе человѣка соотвѣтствовало внутреннему или нравственному его достоинству (т. е. чтобы добродѣтель награждалась, а порокъ наказывался?), „ибо чрезъ это только нравственный законъ можетъ быть верховнымъ закономъ для существа, соединяющаго въ себѣ чувственный элементъ съ разумнымъ“ (т. е. добродѣтель теряетъ обязательную силу, коль скоро не вознаграждается достойнымъ образомъ?).—Однако это сочетаніе противоположностей, по словамъ г. Чичерина, есть только требованіе, которое хотя вытекаетъ изъ нравственного закона, но не можетъ быть имъ выполнено. Въ приложеніи ко всему человѣчеству требованіе это исполняется исторіею, относительно же отдѣльного лица оно осуществляется Провидѣніемъ (стр. 157—159). Итакъ Провидѣніе согласуетъ свободу и необходимость для отдѣльного лица, въ отношеніи же къ человѣчеству оно есть дѣло исторіи. Хотя и не вполнѣ ясно это разграничение исторіи и Провидѣнія въ дѣлѣ соглашенія свободы и необходимости; но не въ этомъ дѣло. Вопросъ именно въ томъ, каково это единство свободы и необходимости, осуществляемое Провидѣніемъ для отдѣльного лица, и существующее осуществляться въ исторіи для всего человѣчества. Одно изъ двухъ: или такое единство существуетъ, тогда оно должно быть представлено именно какъ дѣйствительность; или же оно есть только цѣль, требующая осуществленія, но въ такомъ случаѣ нужно же знать какъ понимать эту цѣль, ибо само

но себѣ ясно что человѣкъ самъ долженъ стремиться къ осуществленію ея, такъ какъ только чрезъ него такая цѣль можетъ осуществиться; тѣмъ болѣе важно разъяснить: въ чёмъ состоитъ свобода и необходимость и какова должна быть ихъ взаимная связь? Кстати мы имѣемъ уже опыты тщательного изслѣдованія и решенія поставленныхъ здѣсь вопросовъ, опыты на столько поучительные и важные по своимъ послѣдствиямъ, что не худо съ ними предварительно ознакомиться.

I.

Если споръ съ давняго времени продолжается,—читаемъ въ трактатѣ о свободѣ и необходимости извѣстнаго англійскаго философа Юма,—и все еще остается не решеннымъ, то изъ этого одного мы можемъ заключить что есть некоторая двусмысленность въ выраженіи и что спорящие усвояютъ неодинаковый смыслъ терминамъ, которые употребляются ими въ спорѣ... Если бы люди своимъ выраженіямъ усвояли тѣ же идеи, то было бы невозможно чтобы они столь долго держались различныхъ мнѣній о томъ же предметѣ. По мнѣнію Юма именно такой случай недоразумѣнія представляетъ спорный вопросъ о свободѣ и необходимости. Поэтому ему казалось, что весь споръ о свободѣ и необходимости не шелъ далѣе словъ, и что нужно лишь установить точный смыслъ этихъ словъ дабы положить конецъ спору и чтобы все согласились въ решеніи вопроса о свободѣ и необходимости.

Всѣ признаютъ, разсуждаетъ Юмъ, что въ природѣ всякое дѣйствіе необходимо опредѣляется извѣстнымъ образомъ своею причиною, и потому не можетъ произойти иначе нежели какъ происходитъ. Къ такому заключенію о необходимости, господствующей будто бы повсюду въ природѣ,—приводить насъ единственно то что мы обыкновенно замѣчаемъ единообразіе въ дѣйствіяхъ природы; однообра-

зіє же это состоять въ томъ что подобные предметы постоянно являются соединенными вмѣстѣ, и оттого мы привыкаемъ при появленіи одного изъ нихъ тотъ часъ же заключать о другомъ. Эти-то два обстоятельства и составляютъ содержаніе той необходимости, которую мы усвояемъ матеріи. Безъ постоянного соединенія (*conjunction*) подобныхъ объектовъ и происходящаго отсюда заключенія отъ одного къ другому мы не имѣли бы понятія о необходимости или внутренней связи (*connection*) предметовъ<sup>1)</sup>.

Но тѣ же два обстоятельства, продолжаетъ Юмъ, мы находимъ и въ добровольныхъ поступкахъ человѣческихъ и въ дѣйствіяхъ души. Общепризнано что существуетъ значительное единообразіе въ дѣйствіяхъ человѣческихъ во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, и что человѣческая природа остается одинаковою и въ своихъ основаніяхъ и въ своихъ проявленіяхъ. Посему исторія собственно ничего нового не представляетъ намъ, и главная ея польза заключается въ открытии постоянныхъ и общихъ началъ (*principles*) человѣческой природы, такъ какъ она даетъ материаъ для познанія правильныхъ побужденій, которыми опредѣляются образъ дѣйствій и поступки людей. На однообразіи въ человѣческихъ побужденіяхъ и дѣйствіяхъ основывается польза опыта пріобрѣтаемой въ теченіи долгой жизни, путемъ разнообразной дѣятельности и общественныхъ сношеній. Не будь однообразія въ человѣческихъ дѣйствіяхъ, не были бы возможны никакія общія правила о людяхъ. Конечно однообразіе это не простирается такъ далеко чтобы при тѣхъ же обстоятельствахъ все точно такъ же поступали, но такой правильности и въ природѣ нѣть. Художникъ, обрабатывая бездушный материалъ, такъ же можетъ обмануться въ своемъ расчетѣ какъ и политикъ, который

1) Юмъ строго различаетъ эти два термина: *conjunction* и *connection*. Такъ напр. о соединеніи причинъ и дѣйствій онъ говоритъ: One event follows another, but we never can observe any tie between them. They seem conjoined, but never connected. *Essay and Treatises*, vol 11, 77 ed. 1804.

управляетъ поведеніемъ чувствующихъ и разумныхъ дѣятелей. Неодинаковость послѣдствій всегда зависитъ отъ разности причинъ, но такъ какъ многія причины ускользаютъ отъ нашего вниманія, то отсюда многое происходитъ для насъ непредвидѣнно и вопреки ожиданіямъ. Вообще же связь между побужденіями и дѣйствіями такъ же правильна и равномѣрна какъ и связь между причиной и дѣйствіемъ ея во всѣхъ областяхъ природы. Эта правильная связь каждымъ признается на дѣль, ибо прежній опытъ служить обыкновенно основаніемъ для заключеній относительно будущаго. Связь между человѣческими дѣйствіями такова что никто не былъ бы въ состояніи вести свое дѣло съ надеждою на успѣхъ, если бы онъ не разсчитывалъ на известный правильный порядокъ въ человѣческихъ дѣлахъ. Не иначе думаютъ объ этомъ и философы. Ибо не говори о томъ, что почти каждое дѣйствіе ихъ жизни предполагаетъ такое мѣшаніе, мало есть такихъ научныхъ изслѣдований, которымъ оно не было бы присуще существеннымъ образомъ. Чѣмъ была бы исторія, если бы мы недовѣрили правдивости историка на основаніи того что мы знаемъ о людяхъ по опыту? Какимъ образомъ политика была бы наукой, если бы законы и формы управления не оказывали равномѣрнаго влиянія на общество? Гдѣ было бы основаніе морали, если бы известные характеры не обладали некоторымъ определеннымъ могуществомъ производить известныя чувства и если бы эти чувства не оказывали правильнаго вліянія на дѣйствія? И какимъ образомъ мы могли бы критиковать поэтовъ и писателей художественныхъ произведений, если бы мы не имѣли возможности провозглашать поведеніе и чувства выводимыхъ ими дѣйствующихъ лицъ соотвѣтственными или же не соотвѣтствующими такимъ-то характерамъ и такимъ-то обстоятельствамъ этихъ лицъ? Такимъ образомъ нельзя ни наукой заняться, ни предпринять какое либо дѣло, если не признать ученія о необходимости и подобнаго рода заключеній отъ мотивовъ къ дѣйствіямъ и отъ характеровъ къ поведенію.

Но если все люди безъ колебанія признаютъ ученіе о необходимости—и на практикѣ, и когда разсуждаютъ, то почему же на словахъ они такъ рѣшительно отрицаютъ это ученіе, и даже всегда обнаруживали склонность къ противному мнѣнію? Юмъ предлагаетъ такое объясненіе этого явленія. Когда мы станемъ разсматривать дѣйствія причинъ тѣлесныхъ, то окажется, что все наше знаніе въ этомъ отношеніи не простирается далѣе того наблюденія, что известные предметы постоянно являются соединенными и что наша душа слѣдя привычному для нея переходу мысли (*customari transition*) при появленіи одного ожидаетъ наступленія другаго. Не смотря на то люди имѣютъ склонность вѣрить, что они способны проникать глубже въ силы природы и могутъ усмотреть некоторую необходимую связь между причиной и дѣйствіемъ. На самомъ дѣлѣ, какъ это старается Юмъ доказать въ другомъ мѣстѣ, предполагаемая нами необходимая связь между причиной и дѣйствіемъ есть не что иное какъ привычка—связывать въ мысли два различные явленія, о которыхъ мы знаемъ по опыту что они всегда слѣдуютъ одно за другимъ, привычка, которая образуется въ нашемъ умѣ единственно отъ того что такія явленія мы всегда встрѣчаемъ въ дѣйствительности происходящими вмѣстѣ. Но такое предположеніе имѣть мѣсто только когда мы рассматриваемъ явленія происходящія въ тѣлахъ. Когда же обращаются къ разсмотрѣнію дѣйствій собственной души и при этомъ не ощущается никакая подобная связь между побужденіемъ и дѣйствіемъ, то на этомъ основаніи полагаютъ, что есть различіе въ дѣйствіяхъ смотря потому, происходить ли они отъ тѣлесной силы или же отъ мысли и ума. Но стоитъ лишь убѣдиться что о причинности всякаго рода намъ ничего болѣе неизвѣстно какъ только постоянное соединеніе тѣхъ же явленій, и основаніе на немъ умозаключеніе отъ одного къ другому,—и коль скоро окажется что тѣ же два обстоятельства вообще должно признать имѣющими мѣсто и въ дѣйствіяхъ произ-

вольныхъ, тогда безъ труда признаемъ мы туже необходимость общею для всѣхъ причинъ.

Итакъ Юмъ думалъ положить конецъ спорамъ о свободѣ и необходимости посредствомъ отрицанія свободы. Но такое рѣшеніе вопроса можетъ удовлетворить только одну изъ спорящихъ сторонъ; тѣ же которые признаютъ свободу воли, и думаютъ что такое признаніе совершенно необходимо, очевидно никакъ не могли бы удовольствоваться мнѣніемъ Юма; ибо съ такимъ же правомъ, какъ и Юмъ, могутъ сослаться на свидѣтельство общаго сознанія. Юмъ говоритъ что люди обыкновенно такъ разсуждаютъ и такъ поступаютъ какъ бы они были убѣждены въ томъ что человѣческія дѣйствія необходимы, а потому только на словахъ признаютъ свободу. Но тоже самое можно сказать и относительно мнѣнія Юма и его послѣдователей, а именно что всѣ отрицающіе свободу только на словахъ отрицаютъ, на дѣлѣ же и поступаютъ и разсуждаютъ какъ люди ни мало не сомнѣвающіеся въ томъ что они обладаютъ свободою. Юмъ самъ очевидно не скрывалъ отъ себя односторонности предложенного имъ рѣшенія вопроса; это видно изъ того что онъ нашелъ нужнымъ разъяснить, откуда въ насъ происходитъ сознаніе свободы; во всякомъ случаѣ сознаніе это—фактъ для всякаго очевидный, котораго нельзя никакъ отрицать. Мы видѣли какъ Юмъ изъясняетъ этотъ фактъ. Подробнѣе онъ высказывается объ этомъ въ одномъ изъ примѣчаній (F), составляющихъ приложеніе къ его *Опытамъ* и *Трактатамъ*. Здѣсь онъ говорить, что *необходимость* дѣйствія материальнаго или духовнаго есть свойство лежащее не въ дѣйствующемъ, а въ мыслящемъ или познающемъ существѣ, рассматривающемъ это дѣйствіе, и состоитъ въ томъ что мышленіе вынуждается заключать о существованіи этого дѣйствія по нѣкоторымъ предшествующимъ предметамъ; поэтому свобода, какъ противоположность необходимости, по мнѣнію Юма, просто есть отсутствіе подобной вынужденности мышленія,

и въкторая вестѣсненість (looseness) и безразличіе чувствуемое нами въ отношеніи къ тому — переходимъ ли мы или же не переходимъ отъ представлениія одной вещи къ представлению другой послѣдующей. Между тѣмъ Юмъ полагаетъ что процессъ мысли въ сущности одинъ,—будетъ ли онъ относиться къ послѣдовательности дѣйствій матеріальныхъ, или предметомъ его будетъ такая же послѣдовательность явленій духовныхъ, а этотъ процессъ мысли и есть то что мы признаемъ необходимостію. Отъ чего же это различіе при тождествѣ процесса мысли, составляющаго существо не необходимости,—различіе состоящее въ томъ что этотъ процессъ въ одномъ случаѣ имѣть характеръ принудительности, а въ другомъ случаѣ является менѣе связаннымъ и непринужденнымъ? Это-то именно и требовалось объяснить, если вѣрою толкованіе, какое Юмъ даетъ понятіямъ свободы и необходимости, но Юмъ не находитъ никакого объясненія для столь важнаго пункта въ его ученіи, чѣмъ очевидно изобличается слабость и искусственность и самаго ученія о свободѣ и необходимости. Если споръ о свободѣ и необходимости продолжается въ теченіи вѣковъ и все еще нельзя признать его рѣшеннымъ вполнѣ, то на этомъ основаніи можно думать одно изъ двухъ: можно предположить что споръ этотъ держится единственно на недоразумѣніи, какъ утверждалъ Юмъ, т. е. спорящія стороны въ сущности согласны и расходятся только на словахъ, а не на дѣлѣ; поэтому дабы положить конецъ спорамъ слѣдуетъ только опредѣлить точно значеніе словъ, около которыхъ бесплодно вращается споръ. Но какъ мы видимъ теперь, такой способъ рѣшенія вопроса вовсе его не решаетъ, ибо хотя Юмъ и находитъ что понятіе необходимости въ томъ смыслѣ, какой онъ придаетъ этому понятію, одинаково приложимо и къ явленіямъ природы и къ дѣйствіямъ человѣческимъ, обыкновенно признаваемымъ свободными, и слѣдовательно свобода не что иное какъ обманъ, пустое слово, однако же вмѣстѣ съ тѣмъ, вопреки собст-

венному выводу, Юмъ долженъ былъ признать что есть различіе между дѣйствіями тѣлесными и духовными, состоящее въ томъ что необходимость далеко не въ равной степени чувствуется нами при разсмотрѣніи тѣхъ и другихъ, и даже въ послѣднемъ случаѣ, т. е. когда рассматриваемъ дѣйствія души, вовсе не замѣчается. Но если выводъ оказывается такимъ образомъ невѣрнымъ, то слѣдовательно должно и то предположеніе которое привело къ такому выводу, именно что въ спорѣ о свободѣ и необходимости скрывается просто недоразумѣніе, что противныя стороны только на словахъ, а не на дѣлѣ расходятся. Поэтому слѣдуетъ теперь допустить иное предположеніе,—что обѣ эти стороны имѣютъ серьезныя основанія выступать одна противъ другой, что слѣдовательно утверждая во всей силѣ необходимость, не слѣдуетъ также отрицать и свободу. А потому только такое рѣшеніе вопроса мы должны признать болѣе или менѣе близкимъ къ истинѣ, которое бы допускало въ равной мѣрѣ и свободу наряду съ необходимостію. Такое рѣшеніе вопроса мы находимъ у Канта.

Кантъ относительно этого вопроса сходится съ Юмомъ въ томъ, что необходимость также и по Канту, выражаясь словами Юма, есть опредѣленіе заключающееся не въ дѣйствующемъ существѣ, къ которому оно прилагается, а въ мыслящемъ, для которого дѣйствіе служитъ предметомъ разсмотрѣнія. По Канту необходимость, которую мы противополагаемъ свободѣ, есть нечто иное какъ форма нашей мысли, понятіе разсудка (категорія) И такъ какъ это понятіе, будучи формою мысли, имѣть всеобщее значеніе въ отношеніи къ предметамъ нашего опытнаго познанія, т. е. неизбѣжно, по природѣ нашего ума, повсюду прилагается нами, то поэтому все познаваемое въ опыте, не только вѣшнемъ но и внутреннемъ, является намъ какъ необходимое! Въ чёмъ же состоитъ эта необходимость? Въ числѣ понятій разсудка, необходимо присущихъ нашему мышленію, такъ на-

зываемыхъ категорій, сверхъ понятія необходимости, есть еще важнѣйшее понятіе причинности; въ силу этого понятія мышленіе устанавливаетъ связь между всѣми предметами опыта познанія, и связь эта необходима; она состоить въ томъ что все познаваемое нами посредствомъ опыта мы мыслимъ либо какъ причину, которая необходимо производить известныя дѣйствія, или какъ дѣйствіе столь же необходимое известной причины; отсюда все что мы знаемъ по опыту связывается для насъ въ непрерывно продолжающійся рядъ причинъ и дѣйствій; въ этотъ рядъ входятъ какъ дѣйствія человѣческія, такъ и явленія природы, и вѣтъ мѣста свободѣ въ этомъ ряду, ибо она была бы нарушеніемъ,—перерывомъ сплошной цѣни причинъ и дѣйствій. Но не будучи въ ряду причинъ и дѣйствій,—свобода однакоже можетъ быть *одинъ* этого ряда, въ его основаніи. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь необходимость, заключающаяся въ причинной связи познаваемыхъ нами вещей, есть, какъ сказано, не свойство самихъ вещей, а только форма нашей мысли, она присуща мышленію, а не самимъ вещамъ, каковы онъ суть въ себѣ самихъ. Поэтому мы можемъ допустить, что сами по себѣ вещи, не зависимо отъ того какъ познаются они нашимъ мыслію,—не необходимы, а свободныя дѣйствія высочайшей, творческой причины. Однакожъ мы только можемъ допустить это и неболѣе, ибо мы не въ состояніи отрѣшиваться отъ необходимыхъ формъ нашей мысли, безъ которыхъ вещи для насъ непознаваемы; поэтому и невозможна для насъ знать, каковы вещи въ себѣ. Но эта недостаточность мышленія, которое въ состояніи лишь признать возможность свободы, а не категорически утверждать ея существование,—восполняется нравственнымъ нашимъ сознаніемъ, или такъ называемымъ у Канта практическимъ разумомъ. Не маловажное пріобрѣтеніе для насъ составляетъ уже и то, если мы нашли возможнымъ, разбирая вопросъ теоретически, допустить свободу наряду съ необходимостію. Но это пріобрѣтеніе получаетъ для

насъ несравненно большую важность, и простое допущение свободы превращается въ драгоценное убѣжденіе что мы ею несомнѣнно обладаемъ,—коль скоро мы переходимъ на почву нравственно-практическаго сознанія. Нравственный законъ, какъ принципъ опредѣляющій практическую нашу дѣятельность, есть столь же необходимая принадлежность этого сознанія какъ мышленію необходимо присущи означенныя выше понятія. Между тѣмъ онъ *погельваетъ*, обязываетъ насъ поступать такъ, а не иначе. Какой смыслъ имѣла бы эта обязательность нравственного закона, ясно сознаваемая нами, если бы мы не могли исполнять его вѣлѣній, если бы т. е. не были *свободны* въ нашихъ дѣйствіяхъ? Итакъ свобода (автономія) есть несомнѣнная принадлежность нашей воли. Что воля наша свободна, это такъ же для насъ достовѣрно, какъ несомнѣнъ нравственный законъ, какъ достовѣрна его обязательность. Вмѣстѣ съ отрицаніемъ свободы необходимо отрицается и законъ нравственный; но отрицать нравственный законъ никто не решится явно и сознательно. Однако жъ, съ другой стороны, несомнѣнно для насъ также и то что мы необходимо мыслимъ соединенными по закону причинности и собственные наши дѣянія, какъ и все прочее что только входитъ въ кругъ нашего опытного познанія, слѣд. столь же необходимы какъ необходимы явленія природы. Итакъ ничего больше не остается какъ и здѣсь примѣнить тоже разграничение свободы и необходимости, на которое выше указано: по сокровеннѣйшему для нашего познанія своему основанию дѣйствія человѣческой воли свободы; но насколько тѣ же дѣйствія составляютъ предметъ теоретического познанія, т. е. рассматриваются подъ формою причинности, которая есть законъ нашей мысли, то съ этой точки зрѣнія каждое такое дѣйствіе является какъ необходимое, т. е. соединеннымъ съ другими дѣйствіями, условіями и обстоятельствами по закону причинности. На этомъ основаніи Кантъ различаетъ эмпирический характеръ человѣка отъ сверхчувствен-

наго, умопостигаемаго характера. По своему эмпирическому характеру человѣкъ—существо несвободное, подлежащее закону натуральной необходимости, по своему же умопостигаемому характеру онъ—свободенъ.—Такимъ образомъ Кантъ нашелъ возможнымъ примирить свободу и необходимость и вполнѣ признать одну наряду съ другою только посредствомъ строгаго раздѣленія одной отъ другой.

Но достигается ли цѣль этимъ раздѣленіемъ свободы и необходимости? Въ самемъ ли дѣлѣ остаются неприкосновенными какъ свобода и необходимость, такъ равно и соединенные съ ними интересы умственные и нравственные, коль скоро будемъ совершенно раздѣлять свободу отъ необходимости, и одну по отношенію къ другой будемъ ставить въ положеніе вполнѣ независимое? Признаніе закона необходимости требуется интересомъ умственнымъ, интересомъ познанія, ибо для теоретического разума все познаваемое имъ является подчиненнымъ всеобщему и необходимому закону причинности, такъ что и самое познаніе какой бы то ни было вещи условливается возможностію вывести и изъяснить эту вещь изъ предшествующихъ ей условій по закону причинности; поэтому признать какое либо явленіе дѣйствиемъ свободы значить отказаться отъ всякаго изъясненія этого явленія, признать его для насъ непояятнымъ, непостижимымъ. Такъ какъ однакоже для насъ трудно признать что либо неизъяснимымъ, то поэтому нѣтъ такого явленія, такого дѣйствія, для кото-раго мы не старались бы отыскать соответствующія ему условія. Съ другой стороны необходимо признать свободу въ интересѣ нравственному, ибо если нѣтъ свободы, то нѣтъ ни долга, ни совѣсти, ни добродѣтели и порока, ни вины и заслуги, а потому ни наградъ ни наказаній, ни похвалъ ни порицаній не должно быть. Трудно и даже невозможно поступиться какимъ либо изъ этихъ двухъ важнейшихъ интересовъ. Конечно для кого наука составляетъ все, тотъ готовъ принести ей всѣ возможныя жертвы. Одна-

кожъ если бы на самомъ дѣлѣ пришлось во имя науки жертвовать завѣтнѣйшими, самыми дорогими убѣжденіями, отъ которыхъ зависитъ достоинство человѣка, смыслъ самой жизни, то безъ сомнѣнія это было бы вѣрнымъ призна-  
комъ того что интересъ науки должно понять; такое конечное разстройство человѣческаго сознанія могло бы потребоваться только въ угоду мнѣю научныхъ теорій, а никакъ не во имя науки. Ибо назначеніе человѣка и смыслъ его жизни безспорно заключается въ гармоніи дарованныхъ ему силъ и стремле-  
ній духа, а не въ разрушении одной силы въ пользу дру-  
гой. Между тѣмъ если принять Кантово решеніе вопроса о свободѣ и необходимости, то дѣйствительно легко прийти къ выводамъ, которые могутъ оказаться опасными и даже па-  
губными въ нравственномъ отношеніи. Въ самомъ дѣлѣ, нравственное достоинство жизни будетъ ли обеспечено тѣмъ предположеніемъ что хотя все что только входитъ въ кругъ нашего опытнаго познанія, — всѣ явленія и дѣйствія, слѣд. и собственные наши поступки, все это подлежитъ закону необходимости, однакожъ виѣ этого круга, въ глубинѣ не-  
достигаемой для нашего познанія, существуетъ свобода? Свобода — это есть самая сущность нашего бытія. Но она для насъ не познаваема, ибо не можетъ быть предметомъ опыта, слѣдовательно находится виѣ пространства и времени, такъ какъ пространство и время по Канту суть формы опытнаго познанія. Поэтому наоборотъ, все на что прости-  
рается опытное наше познаніе, а опытъ объемлетъ все что находится въ пространствѣ и совершается во времени, — не имѣть для насъ существеннаго значенія. Дѣйствительно, все познаваемое нами путемъ опыта, слѣд. и вся наша жизнь, поскольку она составляетъ предметъ опытнаго по-  
знанія — все это, по Канту, не болѣе какъ только явленіе, а явленіе тоже что представлениѳ, т. е. явленіе есть то что не существуетъ само по себѣ, а только представляется су-  
ществующимъ, какъ данное только въ вашемъ представле-  
ніи, — и потому вѣчно призрачное, не дѣйствительное; итакъ

всі наша життя, всі діла наши и стремленія—пустой призракъ, миражъ, ложь и обманъ.—Истинное наше бытіе и существо заключается въ свободной волѣ, а свободная воля лежитъ въ пространства и времени, въ ограниченного нашего сознанія. Прямой выводъ отсюда тотъ что слѣдуетъ пренебречь всѣми интересами этой жизни, въ которой ничего нѣтъ истинного и существенного, слѣдуетъ отвернуться отъ всего что беспокоитъ и волнуетъ человѣческую душу и вмѣсто ожидаемаго удовлетворенія производить въ насъ одно лишь страданіе, какъ послѣдствіе обманутой надежды. Является такимъ образомъ скептицизмъ и пессимизмъ (Шопенгауэръ).

Съ другой стороны, если свобода не входитъ въ міръ явленій и потому непознаваема, ибо лежитъ въ пространства и времени, то на какомъ же основаніи мы можемъ утверждать что она есть, существуетъ? По Канту только то познаемо что можетъ быть предметомъ опыта, т. е. въ чёмъ мы можемъ удостовѣриться путемъ наблюденія, но что познаемо; то единственно и существуетъ для насъ и такъ именно существуетъ какъ познается. Итакъ нѣть свободы; повсюду царствуетъ одна натуральная необходимость и человѣкъ безраздѣльно подвластенъ этой необходимости. Поэтому въ познаніи требованій природы и въ удовлетвореніи ихъ заключается высшая и единственная возможная задача человѣческой дѣятельности. Высшее благо человѣка не въ жизни, а въ ней самой и достигается не путемъ отрицанія, а путемъ признанія и удовлетворенія законныхъ потребностей жизни. Является такимъ образомъ материалистический доктринализмъ и соединенный съ нимъ самодовольный эгоистический оптимизмъ.

Но мы видѣли уже что отрицаніе свободы есть крайность, съ которой менѣе всего можно примириться. Слѣдовательно надлежитъ искать иного выхода—средняго между отрицаніемъ удовольствій и благъ жизни во имя свободной воли и отрицаніемъ свободы ради наслажденія всѣми благами

жизни. Такой выходъ очевидно заключается въ томъ предположеніи что свобода, будучи сущностю духа и всякой жизни, не остается въ міра явленій неподвижною и бездѣятельною, но входитъ въ этотъ міръ какъ живая организующая сила, при чёмъ и самый этотъ міръ явленій получаетъ иное значение: онъ уже не есть просто совокупность представленій, данныхъ въ нашемъ сознаніи; сверхъ этого субъективнаго, ему принадлежитъ также и объективное значеніе, ибо свобода, которая есть сущность и причина всего (абсолютное), входя въ міръ явленій, дѣлаетъ его обнаружениемъ или осуществленiemъ самой сущности, т. е. дѣйствительнымъ и истиннымъ бытіемъ. Съ этой точки зрения исчезаетъ противорѣчіе между свободою и необходимости: все есть дѣло свободно творящаго духа<sup>1)</sup>). Такова

<sup>1)</sup> Пзвѣстный нашъ писатель, графъ Л. Н. Толстой въ своеоч сочиненіи *Война и Миръ* нашть нужны освѣтить представленную имъ картину событий двѣнадцатаго года довольно обширными разсужденіемъ о свободѣ и не необходимости. Повидчому онъ рѣшаетъ этотъ вопросъ въ смыслѣ, сказаний формулы, что свобода осуществляется въ необходимомъ, что необходимое есть не болѣе какъ форма проявления свободы. Такъ онъ говорить: „Свобода, начиная неограниченна, есть сущность жизни въ сознаніи человѣка. Необходимость безъ содержанія есть разумъ человѣка (?) съ его тремя формами (время, пространство и причинность). Свобода есть то что рассматривается. Необходимость есть то что рассматривается. Свобода есть содержаніе. Необходимость есть форма. Только при разъединеніи двухъ источниковъ познаванія, относящихся другъ къ другу какъ форма къ содержанию (источники эти—съ одной стороны сознаніе, а съ другой разумъ и опытъ), получаются отдельно, взаимно исключающіеся и непостижимые понятія о свободѣ и необходимости. (Т. VI, стр. 283, изд. 2-е 1869 г.). Къ сожалѣнію все разсужденіе Л. Н. Толстаго о свободѣ и необходимости отличается крайнею нелѣпостью и неустойчивостю понятій. Уже то возбуждаетъ недоумѣніе какъ поставленъ самый вопросъ. „Если воля, говорить онъ, каждого человѣка была свободна, т. е. что каждый могъ поступать такъ какъ ему захотѣлось, то вся исторія есть рядъ беззаконныхъ случайностей. Если даже одинъ человѣкъ изъ миллиона въ тысячелѣтій періодъ времени имѣлъ возможность поступить свободно, т. е., такъ какъ ему захотѣлось, то очевидно, что одинъ свободный поступокъ этого человѣка, противный законамъ (какъ будто свобода исключаетъ всѣй законъ и только против-

точка зре́нія идеалистическої філософії Фихте, Шеллінга і Гегеля.— Їх же точка зре́нія слідує очевидно і г. Чичеринъ.

ний законамъ поступокъ можно назвать свободнымъ), уничтожаетъ возможность существованія какихъ бы то нибыло законовъ для всего человѣчества (?!). Если же есть хоть одинъ законъ, управляющій дѣйствіями людей, то не можетъ быть свободной воли, ибо воля людей должна поддѣжать этому закону. Въ этомъ противорѣчіи заключается вопросъ о свободѣ воли, съ древнѣйшихъ временъ занимавшій лучшіе умы человѣчества и съ древнѣйшихъ временъ поставленный во всемъ его громадочь значенія". Если бы дѣйствительно вопросъ о свободѣ воли заключалъ въ себѣ такое чудовищное противорѣчіе, тогда и сачай этотъ вопросъ былъ бы не возможенъ, тогда единственно возможный отвѣтъ состоялъ бы въ отрицаніи самаго вопроса,— т. е. въ решительномъ отрицаніи свободы, чѣмъ устранился и самий вопросъ. Но повидимому Л. Н. Толстой полагаетъ что вопросъ о свободѣ имѣть реальное основаніе въ природѣ человѣка и слѣд. не устранимъ, т. е. путемъ простаго отрицанія свободы не можетъ быть решенъ, ибо онъ говоритъ далѣѣ: „Вопросъ состоять въ томъ, что, гляди на человѣка, какъ па предметъ наблюденія съ какой бы то нибыло тойто зре́нія, богословской, исторической, этической, философской, мы находить общий законъ необходимости, которому онъ поддѣжть также, какъ и все существующее. Гляди же на него изъ себя какъ на то, что мы сознаечъ, мы чувствуемъ себя свободными. Сознаніе это есть совершенно отдельный и независимый отъ разума источникъ самопознанія. Чрезъ разумъ человѣкъ наблюдаетъ себя, но знаетъ онъ самъ себя только чрезъ сознаніе (?). Безъ сознанія себя немыслимо и никакое наблюденіе и приложеніе разума. Для того, чтобы понимать, наблюдать, умозаключать, человѣкъ долженъ прежде сознавать себя живущимъ. Живущимъ человѣкъ знаетъ себя не иначе какъ хотящимъ, т. е. сознаетъ свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизніи, человѣкъ сознаетъ и не можетъ сознавать иначе, какъ свободною"... Съ другой стороны „если бы сознаніе свободы не было отдельнымъ и независимымъ отъ разума источникомъ самопознанія, оно бы подчинялось разсужденію и опиту; но въ дѣйствительности такого подчиненія никогда не бываетъ и не мыслимо (?). Рядъ опитовъ и разсужденій показываютъ каждому человѣку что онъ, какъ предметъ наблюденія, поддѣжть известнимъ законамъ, и человѣкъ подчиняется имъ и никогда не борется съ разъ узаннымъ имъ закономъ тяготѣнія или непроницаемости. Но тотъ же рядъ опитовъ и разсужденій показываетъ ему, что полна свободы, которую онъ сознаетъ въ себѣ—невозможна, что всякое дѣйствіе его зависитъ отъ его организаціи, отъ его характера и дѣйствующихъ на него могізовъ, но человѣкъ никогда не подчиняется выводамъ

Но эта точка зрения дает слишком много, больше чёмъ нужно: ибо свободу она возводить въ принципъ мі-

этихъ опыта и разсужденій". Но разѣ сознаніе, которое свидѣтельствуетъ о нашей свободѣ, не есть опытъ и разѣ разсужденія не могутъ основываться на этомъ именно опыте<sup>2</sup>. „Всякій человѣкъ, дилѣт и мыслитель, какъ бы неотразимо ему ни доказывали разсужденіе и опытъ то, что невозможно представить себѣ два поступка въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ, чувствуетъ, что безъ этого безсмыслично представления (составляющаго сущность свободы), онъ не можетъ представить себѣ жизни".... „Если понятіе о свободѣ для разума представляется безсмысличнымъ противорѣчіемъ, какъ возможность совершить два поступка въ одинъ и тотъ же моментъ времени или дѣйствія безъ причины (свобода предполагаетъ возможность совершить не два поступка въ одно время, а тотъ или другой по выбору изъ двухъ представляющихся поступковъ, какъ равно исполнимыхъ для насъ, а потому понятіе о свободѣ вовсе не есть безсмысличное противорѣчие для разума), то это доказываетъ только то что сознаніе не подлежитъ разуму" (т. е. не разумно?). Итакъ, по мнѣнію Л. Н. Толстого, и свобода и необходимость одинаково для насъ несомнѣны, ибо удостовѣряются различиями, но равно необходимыми для насъ способами познанія. Однакожъ дѣло получаетъ далѣе та旎 видъ, что будто только незнаніе причинъ рождаетъ въ насъ понятіе свободы. „Когда мы совершенно не понимаемъ причинъ поступка, въ случаѣ ли злодѣйства, добродѣтели или даже безразличного по добру и злу поступка, мы въ такомъ поступкѣ признаемъ наибольшую долю свободы".... „Но если хоть одна изъ безчисленныхъ причинъ извѣстна намъ, мы признаемъ уже извѣстную долю необходимости и несмѣемъ требовать возмездія за преступленіе, менѣе признаемъ заслугу въ добродѣтельномъ поступкѣ, менѣе свободы въ казающемся оригинальномъ поступкѣ".... „Если мы имѣемъ большой рядъ опыта, если наблюденіе наше постоянно направлено на отысканіе соотношеній въ дѣйствіяхъ людей между причинами и слѣдствіями, то дѣйствія людей намъ представляются тѣмъ болѣе необходимыми и тѣмъ менѣе свободными, чѣмъ вѣрѣте мы связь послѣдствія съ причинами" (стр. 277). Правда, никогда не бываетъ такъ чтобы въ какомъ либо дѣйствіи человѣка мы могли усмотрѣть или одну чистую необходимость, или одну только свободу. Напротивъ, „каждое дѣйствіе человѣка представляется намъ не иначе, какъ извѣстными соединеніемъ свободы и необходимости".... „И чѣмъ болѣе въ какомъ бы то нибыло дѣйствіи мы видимъ свободы, тѣмъ менѣе необходимости; и чѣмъ болѣе необходимости, тѣмъ менѣе свободы". По мнѣнію Л. Н. Толстого „отношеніе свободы и необходимости уменьшается и увеличивается, смотря по той точкѣ зрѣнія, съ которой разматривается поступокъ" (272—273), а именно: а) чѣмъ яснѣе и очевиднѣе для насъ связь извѣстнаго поступка съ условіями

ро исторический, такъ что и самая необходимость получаетъ значение сомнительное, превращающе въ свободную игру духа. Между тѣмъ коль скоро признаніе свободы вынуждается, какъ сказано, нравственнымъ интересомъ, то очевидно слѣдуетъ стремиться лишь къ тому чтобы усвоить свободѣ подобающее значеніе именно въ области этихъ интересовъ. Расширеніе понятія свободы за предѣлы соб-

среды, въ которой человѣкъ живетъ, тѣмъ необходимѣе представляется намъ эта поступокъ, и наоборотъ; б) чѣмъ отдаленнѣе отъ насть по времени совершение извѣснаго дѣйствія, подлежащее нашему сужденію, тѣмъ болѣе оно важнѣе намъ необходимымъ, а чѣмъ ближе къ насть, тѣмъ больше усматривается въ немъ свободы; наконецъ с) чѣмъ яснѣе представляется намъ послѣдовательность причинъ, съ которыми находится въ связи обсуждаемое дѣйствіе, тѣмъ болѣе это дѣйствіе представляется намъ не свободнымъ, и наоборотъ (274—278). Но вопреки всѣмъ этимъ соображеніямъ, повидимому кловящимся къ признанію какъ свободы таъ и необходимости, въ заключеніи онъ высказываетъ слѣдующее разсужденіе: „Какъ для астрономіи трудность признанія движенія земли состояла въ томъ чтобы отказаться отъ непосредственнаго чувства неподвижности земли и такого же чувства движения планетъ, такъ и для истории трудность признанія подчиненности личности законамъ пространства, времени и причинъ состоитъ въ томъ, чтобы отказаться отъ непосредственнаго чувства независимости своей личности. Но какъ въ астрономіи новое воззрѣніе говорило: „правда, мы не чувствуемъ движенія земли, но допустимъ ея неподвижность, мы приходимъ къ безсмыслицѣ; допустивъ же движение, когоаго мы не чувствуемъ, мы приходимъ къ законамъ“, такъ и въ истории новое воззрѣніе говоритъ: „правда, мы не чувствуемъ нашей зависимости, но допустивъ нашу свободу, мы приходимъ къ безсмыслицѣ; допустивъ же свою зависимость отъ вѣшаго мира, времени и причинъ, приходимъ къ законамъ“. Въ первомъ случаѣ надо было отказаться отъ сознанія несуществующей неподвижности въ пространствѣ и признать несуществующее наши движение; въ настоящемъ случаѣ точно также необходимо отказаться отъ несуществующей свободы и признать несуществуюшую нами зависимость“ (289—290). Дѣло въ томъ, что Л. Н. Толстой признаетъ доказаннымъ господство въ исторіи общихъ и необходимыхъ законовъ. „Съ тѣхъ порь, говорить онъ, какъ первый человѣкъ сказалъ и доказалъ (?!), что количество рожденій, или преступлений, подчиняется математическимъ законамъ и что известны географическая и политикоэкономическая условія опредѣляютъ тотъ или другой образъ правленія... уничтожились въ сущности тѣ основания, на которыхъ строилась исторія“ (стр. 287).

ственno принадлежащей ей области грозитъ нарушенiemъ (какъ это дѣйствительно и было) интересовъ наукъ эмпирическихъ, для которыхъ важиѣшею опорою служить увѣренность въ господствѣ повсюду въ природѣ неизмѣнной, недопускающей никакихъ колебаній и отступленій, закономѣрности. Руководясь этою мыслю, попытаемся обсудить этотъ вопросъ о свободѣ и необходимости для того чтобы разъяснить по крайней мѣрѣ истинный смыслъ этого вопроса и содѣйствовать болѣе или менѣе правильной его постановкѣ.

## II.

Юмъ, какъ мы видѣли, требовалъ для рѣшенія вопроса о необходимости и свободѣ установить точный смыслъ этихъ понятій, но при этомъ онъ ограничился опредѣленіемъ того что должно разумѣть, по его мнѣнію, подъ названіемъ необходимости, которую обыкновенно противополагаютъ свободѣ, такъ какъ тѣмъ изъясненіемъ необходимости, къ которому онъ пришелъ, исключается свобода, и слѣдов. самый вопросъ—какъ должно понимать свободу—дѣлается излишнимъ. Но замѣчательно что то изъясненіе необходимости, которое даетъ Юмъ, заключаетъ въ себѣ прямое отрицаніе всякой необходимости. Ибо, по объясненію Юма,—что мы называемъ необходимостію, это есть съ одной стороны простая послѣдовательность фактовъ, наблюдаемыхъ въ нась или виѣ нась, между которыми, при ближайшемъ разсмотрѣніи, не оказывается никакой необходимой связи (какъ это старается доказать самъ же Юмъ въ трактатѣ: Of the idea of necessary connection), а съ другой стороны привычка нашего ума, въ силу этой послѣдовательности, отъ одного факта заключать о другомъ. И какъ послѣдовательность фактовъ не есть необходимая, ибо мы не видимъ причины почему за известнымъ фактомъ слѣдуетъ этотъ, а не другой, напр. послѣ толчка происходитъ движение, и можемъ представить себѣ тѣже факты совер-

шенно въ иномъ порядкѣ; такъ и названная привычка на-  
шего ума не заключаетъ въ себѣ ничего необходимаго.  
Юмъ говоритъ что если бы не было однообразія и пра-  
вильности въ происходеніи явлений природы, то не было  
бы у насъ и понятія необходимости, а между тѣмъ самъ  
же онъ признаетъ далѣе, что правильность эта не такова  
чтобы ею не допускались никакія исключения, т. е. иными  
словами, правильность эта вовсе не есть необходимая. Вотъ  
почему Кантъ не могъ согласиться съ Юмомъ въ томъ, что  
понятіе необходимости означаетъ не болѣе какъ извѣстную  
намъ по опыту простую послѣдовательность явлений во  
времени. Напротивъ, онъ призналъ понятіе необходимости  
присущимъ нашему уму a priori, т. е. независимо отъ вся-  
каго опыта, и потому означающимъ нѣчто большее, чѣмъ  
простая послѣдовательность явлений. По Канту необходимость  
состоитъ въ причинной связи явлений, т. е. въ томъ  
что мы мыслимъ отношеніе между причиною и дѣйствіемъ  
всегда какъ необходимое. Но и это опредѣленіе необходимости  
оказывается недостаточнымъ для разграничения ея  
отъ свободы. Ибо и воля наша есть причина своихъ дѣй-  
ствій, однакоже отношеніе между волею и ея дѣйствіями не  
есть необходимое. Такимъ образомъ изъясненіе необходимости  
у Юма, и у Канта таково, что противоположность  
между необходимостью и свободою исчезаетъ: необходимость  
разрѣшается въ свою противоположность въ свободу, и на-  
оборотъ. И въ самомъ дѣлѣ такова ли противоположность  
свободы и необходимости чтобы между ними ничего не бы-  
ло общаго? Не происходятъ ли та и другая изъ одного об-  
щаго основанія и не составляютъ ли онъ лишь двѣ стороны  
въ обнаруженіи одного начала? Послѣдующая за Кантомъ  
германскай философія дѣйствительно имѣла въ виду, глав-  
нымъ образомъ, сблизить понятія свободы и необходимости  
такимъ образомъ чтобы, не отрицая ни свободы ни необхо-  
димости, ту и другую вывести изъ одного общаго корня—  
изъ одного основанія. Въ своемъ основаніи свобода и не-

обходимость тождественны, ибо основание это есть начало творческое и ничемъ неограничиваемое въ своей дѣятельности, слѣдов. свободное, но на низшихъ степеняхъ своего обнаружения оно дѣйствуетъ слѣпо и безсознательно,— и потому дѣятельность его есть также *необходимая*. Въ дальнѣйшемъ же своемъ развитіи тоже самое начало становится духомъ, который, сознавая себя свободнымъ, противополагаетъ себя вѣнчайшей природѣ, въ которой онъ видитъ царство необходимости. Но полагая въ основаніе свободы и необходимости одно общее начало, и рассматривая ту и другую какъ формы обнаружения или развитія этого начала, одни видѣли цѣль такого развитія въ области сознательной, въ господствѣ разумной свободы надъ безсознательною необходимостью; другіе же, именно Шопенгауера и его послѣдователи, такою цѣлью хотя также признаютъ свободу (въ смыслѣ отрицанія всякой ограниченности), но свободу не сознательную, а безсознательную, основываясь на томъ, что всѣ формы сознательной жизни, съ ихъ точки зрѣнія, не выражаютъ всей полноты міротворящаго начала, которое они опредѣляютъ какъ волю. Итакъ несомнѣнно что уже съ давнихъ порь и до послѣдняго времени въ философіи господствуетъ очевидное стремленіе примирить и свести къ одному принципу понятіе свободы и понятіе необходимости, хотя повидимому оба эти понятія взаимно исключаютъ другъ друга. Дѣйствительно, должно сознаться что и въ самомъ непринужденномъ, безъискусственномъ словоупотребленіи *необходимость* нерѣдко понимается такъ что она вполнѣ входитъ въ область свободы. Говорить не только о необходимости физической, но также о логической и моральной. Но физическая необходимость далеко не тоже что необходимость логическая, и точно также она неравна моральной необходимости, и наоборотъ. Необходимость логическая и моральная относятся къ *свободной* дѣятельности духа, и потому должны быть строго различаемы отъ необходимости физической, которая *не свободна*. Когда свобода и необходими-

мость противополагаются, то при этомъ, очевидно, должно разумѣть необходимость физическую. Итакъ задача состоитъ въ томъ чтобы выяснить прежде всего характеръ физической необходимости въ сравненіи съ логическою и моральною, и разсмотрѣть затѣмъ необходимость логическую и моральную какъ область свободы.

Замѣчательно что логическимъ и моральнымъ законамъ въ иѣкоторомъ смыслѣ даже въ большей степени свойственна необходимость, чѣмъ законамъ физическимъ, а именно: логическая и моральная необходимость есть безусловная, между тѣмъ какъ физическая необходимость есть только условная.

Когда тѣло, находящееся на извѣстномъ разстояніи отъ поверхности земли, будучи лишено всякой опоры, падаетъ, то это явленіе происходитъ необходимо. Необходимость здѣсь заключается въ самомъ происхожденіи явленія. Самое явленіе не есть необходимое, но отношеніе къ причинѣ, которая производить его, необходимо. Явленіе это происходитъ необходимо потому, что причина, производящая его, есть сила дѣйствующая извѣстнымъ образомъ и непрерывно; необходимость эта есть фактическая, состоящая въ томъ, что извѣстный фактъ неизбѣжно происходитъ, коль скоро дѣйствуетъ причина, которая производить этотъ фактъ. А отсюда далѣе видно, что необходимость фактическая есть условная; именно существеннымъ условіемъ такой необходимости всегда служить присутствіе извѣстной силы, дѣйствующей всегда одинаковымъ образомъ. Пусть будетъ устроено условіе, и необходимость зависящая отъ такого условия исчезнетъ. Предположимъ напр. что притягательная сила земли не дѣйствуетъ, т. е. еслибы эта сила отсутствовала, или же если бы она была парализована, тогда конечно и паденіе тѣль не было бы необходимостю. Но развѣ такой случай возможенъ? Возможенъ, по крайней мѣрѣ, для мысли, т. е. мы можемъ его представить, хотя и не осуществимъ для нась. И не только мы можемъ представить такой случай, но даже желать его осуществленій. Не

возможно физически для насъ перенестись на другую планету, но мы можемъ этого желать и представить какъ возможное. Въ Библії повѣстуется объ Иліи и Енохѣ, что они живыми взяты на небо. Противъ этого можно возразить лишь то, что такой случай физически невозможенъ, т. е. несуществимъ для насъ при дѣйствіи существующихъ законовъ и силъ природы. Но логического противорѣчія неѣтъ въ сказанномъ библейскомъ повѣстованиі, слѣд. логически возможенъ случай, о которомъ свидѣтельствуется въ этомъ повѣстованиі, равно и морально этотъ случай возможенъ, и не только возможенъ, но и желателенъ, ибо мы можемъ желать чтобы это дѣйствительно было такъ какъ разсказывается и вѣрить этому. И тоже самое должно сказать вообще о чудесахъ, т. е. что только физически они не возможны, но физическая невозможность есть условная, а не безусловная, т. е. они невозможны лишь при данныхъ въ природѣ условіяхъ и для насъ невозможны, такъ какъ мы необходимо подчиняемся этимъ условіямъ; но логически они возможны, равно и морально возможны, и не только возможны, но и желательны и достойны вѣры, на сколько именно оправдываются моральными мотивами. Возьмемъ другой физической законъ: когда одно движущееся тѣло встречается съ другимъ, то при этомъ одно изъ нихъ отталкивается, какъ бы выѣсняется другимъ; это происходитъ вслѣдствіе непроницаемости, по которой два тѣла не могутъ находиться въ томъ же самомъмѣстѣ; и это физически необходимо, т. е. въ дѣйствительности всегда происходитъ то именно что требуется этимъ всеобщимъ свойствомъ тѣлъ, такъ что если бы нѣчто представлялось намъ нарушающимъ этотъ законъ, то мы признали бы такое нарушеніе невѣроятнымъ и только кажущимся. Какъ напр. мы объясняемъ тотъ случай, когда двѣ жидкости смѣшиваются между собою? Мы не думаемъ что одно вещество проникаетъ другое и занимаетъ съ нимъ одно и тоже мѣсто, напротивъ полагаемъ что частицы одного вещества размѣщаются въ промежуткахъ между частицами

другого вещества. Не смотря на то различные спиритические опыты, въ которыхъ тѣла повидимому утрачиваютъ свою непроницаемость, находятъ себѣ вѣру; въ древности стоики отрицали непроницаемость тѣлъ, т. е. что мы признаемъ физически невозможнымъ, то они признавали возможнымъ и даже дѣйствительнымъ, и это очевидно показываетъ что физическая необходимость не такова, чтобы ею совершен-но исключалась возможность, по крайней мѣрѣ для мысли, противнаго этой необходимости; мысленно по крайней мѣрѣ мы въ состояніи допустить таковую возможность. Ни въ логическомъ, ни въ моральномъ отношеніи ничто не препятствуетъ намъ представлять что тѣла проницаемы, только опытъ, но не умъ и не воля,—противится такому представленію.

Но, скажутъ, какое же дѣло наукъ до того что люди невѣжественные, незнающіе законовъ природы, люди суевѣрные, дающіе волю своей фантазіи, или сами придумываютъ разныя небылицы, или вѣрять фантастическимъ и чудовищнымъ повѣствованіямъ другихъ и тѣшатъ свое воображеніе завѣдомо ложными и несообразными съ дѣйстви-тельностю представлениями?

Для насъ важенъ въ этомъ случаѣ тотъ фактъ, что иначе люди относятся къ необходимости физической, и со-вершенно иначе—къ необходимости логической и мораль-ной,—и это имѣтъ свое основаніе въ свойствахъ той и другой необходимости. Никто въ здравомъ умѣ не захочетъ чтобы зло вообще было принимаемо за добро, чтобы черное считалось бѣлымъ и ложь пользовалась всѣми правами истины. Такой порядокъ вещей ни для кого не можетъ быть желательнъ, тѣмъ менѣе можно мечтать о чёмъ либо подобномъ. Напротивъ, и дурной человѣкъ свое уваженіе къ нравствен-нымъ требованіямъ свидѣтельствуетъ по крайней мѣрѣ тѣмъ, что старается самая худшая намѣренія прикрыть лициною добродѣтели. Никто также незахочетъ быть уличеннымъ въ неумѣніи или нежеланіи правильно и здраво мыслить. Но въ

тоже время мы можемъ желать, чтобы силы и законы природы или недѣйствовали въ известныхъ случаяхъ, или иначе дѣйствовали, и о подобного рода желаніяхъ можно сказать что для насъ они неосуществимы, но безумными или дурными назвать ихъ нельзя.

Религія учитъ что нѣкогда и небо и земля обновятся, т. е. сдѣлаются иными. Для кого нѣть и не можетъ быть въ мірѣ иныхъ силъ и законовъ кромѣ тѣхъ, которые свойственны физической природѣ, тотъ конечно такое вѣрованіе долженъ признать суевѣріемъ. Но думающіе такимъ образомъ очевидно непонимаютъ того что безъ вѣры въ иной лучшій міръ невозможна была бы никакая цивилизациѣ, не было бы и самой науки. Человѣкъ никогда не довольствуется дѣйствительностю въ томъ ея видѣ какъ она есть и стремится ее улучшить, т. е. измѣнить существующій, окружающій его, міръ на иной лучшій и болѣе сообразный съ его идеаломъ. Онъ хочетъ быть господиномъ природы, имѣя въ виду обратить ее въ орудіе своихъ цѣлей и стремленій. Конечно мы можемъ достигать господства надъ природою, какъ выразился Бэконъ, только повинуясь ей, т. е. слѣдя за законами, „для чего и необходимо изученіе природы“. Однако прежде чѣмъ сознана была вполнѣ эта необходимость, люди, какъ известно, мечтали побѣдить природу и подчинить ее своимъ цѣлямъ средствами совершенно несоответственными законамъ природы, не соображаясь съ физическою необходимостю и вопреки еї. Магія, алхімія, всякаго рода волшество—все это памятники долговременныхъ усилий восторжествовать надъ природою средствами чуждыми природѣ, физически невозможное сдѣлать невозможнымъ. Но опытъ убѣдилъ въ бесплодности подобныхъ усилий,—и только опытъ; не разумъ внушилъ человѣку что онъ долженъ сообразоваться съ натуральною необходимостю и подчиняться ей,—ибо физическая необходимость не тоже что необходимость логическая т. е. рациональная; разумъ знаетъ только эту послѣднюю необходимость и ее лишь ищетъ по-

всюду. Этимъ различиемъ натуральной и логической необходимости вполовинѣ уясняется для насъ и разрѣшается разногласіе между англійскими эмпиріками и вѣмецкими рационалистами или интеллектуалистами относительно того какъ понимать причинность. Мы видѣли что и Юмъ и Кантъ понятіе необходимости связывали съ другимъ понятіемъ, именно съ понятіемъ причинности. Но это послѣднее понятіе имѣло для нихъ неодинаковое значеніе. Посредствомъ анализа этого понятія Юмъ старался доказать, что хотя мы и предполагаемъ необходимую связь между тѣмъ что называемъ причиной и тѣмъ что представляется намъ какъ дѣйствіе этой причины, однако на самомъ дѣлѣ такой необходимой связи нѣтъ; въ дѣйствительности есть только простая послѣдовательность фактовъ, и такъ какъ эта послѣдовательность всегда однакова, то мы и привыкаемъ въ своей мысли связывать предыдущее съ послѣдующимъ, и кажется намъ что одно имѣетъ необходимую связь съ другимъ. Выходя изъ такого понятія о причинной связи явлений послѣдующіе англійскіе философы эмпиріки, къ которымъ слѣдуетъ причислить также Д. С. Милля, Льюиса и др., задачу научнаго изслѣдованія ограничиваютъ простымъ описаніемъ и обобщеніемъ фактовъ, разумѣя подъ обобщеніемъ установление или опредѣленіе наиболѣе общихъ, т. е. напечатющіе повторяющихся, отношений послѣдовательности и совмѣстности наблюдавшихъ фактовъ. Иной взглядъ на то же понятіе причинности выразилъ Кантъ. Понятіе это, по Канту, не эмпиріческаго происхожденія; напротивъ, какъ имѣющее всеобщее и необходимое значеніе, оно должно быть причислено къ понятіямъ сверхопытнымъ, т. е. рациональнымъ, необходимо присущимъ нашему мышленію. Все известное намъ по опыту не имѣетъ характера строгой необходимости, ибо не исключаетъ возможности противнаго; а между тѣмъ отношеніе между причиной и дѣйствіемъ мы мыслимъ какъ необходимое. Юмъ, основываясь на этомъ соображеніи, пришелъ къ тому заклю-

ченію, что понятіе причинности есть фиктивное (какъ съдѣствіе привычки, или же какъ продуктъ субъективной ассоціаціи представлений); напротивъ Кантъ на томъ же самомъ основаніи, какъ сказано, утверждалъ, что понятіе причинности дано a priori, есть понятіе сверхопытное, т. е. рациональное. Ясно что названные философы имѣли въ виду не ту же самую необходимость, когда одинъ доказывалъ что между причиною и дѣйствиемъ *нетъ* никакой *необходимой* связи, другой же утверждалъ, что отношение между причиной и дѣйствиемъ мы всегда мыслимъ какъ *необходимое* и иначе не можетъ мыслить, и что поэтому причина и дѣйствіе всегда должны имѣть *необходимую* взаимную связь. Юмъ имѣть въ виду очевидно необходимость фактическую, т. е. натуральную, которая дѣйствительно, какъ мы видѣли, не такова сама по себѣ чтобы ею исключалась возможность противнаго для мысли, ибо люди всегда желали и желаютъ и даже усиленно домогаются того что несовмѣстимо съ натуральною необходимостью и что было бы исключениемъ, рѣшительнымъ отрицаніемъ ея. Когда же Кантъ утверждалъ что причинное огношеніе, по самому своему понятію, имѣть характеръ всеобщности и *необходимости*, недопускающей ничего противнаго, то онъ разумѣлъ при этомъ очевидно необходимость рациональную, которая дѣйствительно исключаетъ для насъ противное этой необходимости. Но въ тоже время такая необходимость не только не исключаетъ свободы, напротивъ она именно относится къ области свободы, ибо совпадаетъ съ необходимостію моральною. Поэтому, если Кантъ полагалъ что свобода для разума теоретического невозможна, такъ какъ ова будто бы исключается свойственнымъ ему понятіемъ причинности, то и съ точки зрѣнія самого Канта нельзѧ не признать этого просто недоразумѣніемъ. Рациональное понятіе причинности дѣйствительно исключаетъ противное ей, но въ какомъ смыслѣ? Не въ томъ чтобы это противное не могло быть, а въ томъ что оно *не должно* быть; ибо въ чемъ состоить рациональное

понятіе причинности? Если мы для всякаго дѣйствія, для всякаго явленія предполагаемъ предшествующую ему причину, то это еще не есть рациональное понятіе о причинности. Предположеніе это не идетъ далѣе простой послѣдовательности во времени. Юмъ полагалъ что понятіе причинности это именно и означаетъ. Но Кантъ справедливо находилъ противъ Юма, что въ понятіи причинности содержится нечто большее. Что же именно? Не что иное какъ требование разумной цѣли,—т. е. рациональное понятіе причинности заключаетъ въ себѣ указаніе главнымъ образомъ на конечную причину. Причина дѣйствующая, т. е. предшествующая своему дѣйствію, не есть еще вся причина; для полноты причинности необходима еще цѣль дѣйствія, и только съ присоединеніемъ цѣли опредѣление причинности вполнѣ удовлетворяетъ нашъ разумъ, такъ что если въ дѣйствительности нечто представляется намъ вполнѣ цѣлесообразнымъ, то и возможность противнаго теряетъ для насъ всякую цѣну и какъ бы вовсе исключается. Выше сказано что люди мечтали побѣдить природу, не соображаясь съ физическою необходимостію и даже вопреки ей. Теперь для насъ ясно, что это значитъ. Руководясь глубокою увѣренностью въ томъ что въ природѣ все устроено цѣлесообразно и предназначено для блага человѣка, люди нѣкогда лишь о томъ заботились чтобы различными способами открыть въ различныхъ предметахъ и явленіяхъ природы предполагаемое цѣлесообразное отношеніе къ человѣку, сдѣлать явною таинственную связь природы съ потребностями человѣческой жизни и воспользоваться такимъ открытиемъ. Когда же, съ теченіемъ времени, изъ общаго міросозерцанія мало по малу была вытѣснена эта увѣренность въ повсюдной приспособленности природы къ нуждамъ и желаніямъ человѣка, тогда, вмѣсто этой рациональной необходимости, во взглядѣ на природу сдѣлалась господствующей необходимость фактическая или собственно натуральнаа. Но насколько этого рода необходимость пред-

ставляется неудовлетворительною для разума, настолько познание этой необходимости естественно пробуждает въ человѣкѣ усиленное стремленіе къ тому чтобы собственными силами внести въ природу то приспособленіе къ своимъ нуждамъ, которое прежде онъ только предполагалъ, и такимъ образомъ сдѣлать натуральную необходимость органомъ необходимости рациональной, или что тоже, свободы. Понимаемая такимъ образомъ причинность, именно въ смыслѣ цѣлесообразности, не только, какъ сказано выше, не исключаетъ свободы, напротивъ входитъ въ ея область, предполагается самимъ понятіемъ ея. Ибо дѣятельность свободная есть по преимуществу цѣлесообразная; свободѣ именно свойственно полагать цѣли и дѣйствовать по цѣлямъ. И если рациональная причинность исключаетъ противное себѣ въ томъ именно смыслѣ, что это противное не должно быть, то равнымъ образомъ и о свободѣ тоже самое сдѣлуетъ сказать. Понятіе свободы конечно предполагаетъ возможность дѣйствовать такъ и иначе, но самый актъ выбора, какъ обнаруженіе свободы, исключаетъ возможность противного тому что избирается какъ цѣль дѣятельности.

Итакъ необходимость натуральная есть собственно фактическая, и какъ фактическая, она познается путемъ опыта. Отсюда эмпирики не хотятъ знать никакой иной необходимости кромѣ натуральной; дѣятельность для нихъ есть высшая инстанція, далѣе и выше которой понятія ихъ не восходятъ. Но человѣкъ на самомъ дѣлѣ никогда не до вольствуется дѣятельностью какъ она есть. Опытъ могъ научить человѣка признавать натуральную необходимость непреодолимою и ей подчиняться. Не смотря на то, ни въ самомъ себѣ ни въ себя, человѣкъ не можетъ уважать эту необходимость, ибо сознаетъ въ себѣ нѣчто высшее по достоинству. Онъ ищетъ лучшаго и это лучшее находить въ себѣ самому, въ идеяхъ разума и въ нравственныхъ стремленіяхъ. Въ этихъ идеяхъ для него также заклю-

чается необходимость, но необходимость не фактическая а идеальная, не условная а безусловная.

Извѣстно что Кантъ съдѣующимъ образомъ формулировалъ нравственный принципъ: „дѣйствуй всегда по такому правилу, относительно которого ты могъ бы желать чтобы оно было всеобщимъ закономъ“. Мы видѣли что, относительно физическихъ законовъ, мы можемъ иногда желать чтобы ихъ не было, или по крайней мѣрѣ чтобы они не дѣйствовали въ извѣстномъ случаѣ. Относительно же нравственныхъ законовъ совершенно наоборотъ, мы желаемъ чтобы законы эти дѣйствовали повсюду и у всѣхъ. Человѣкъ, который напр. говорить неправду съ корыстной цѣлью, или дозволяетъ себѣ какой либо другой, заслуживающей осужденія, поступокъ, незахочетъ конечно чтобы и другіе всѣ такъ же поступали, и будетъ осуждать въ другихъ именно то въ чёмъ самъ виновенъ. Такое отношение наше къ моральнымъ законамъ ясно указываетъ на безусловное достоинство для насъ этихъ законовъ, а отсюда вытекаетъ обязательность ихъ для насъ и притомъ безусловная, ибо ни при какихъ обстоятельствахъ и условіяхъ жизни основные нравственные законы не теряютъ своей обязательности для насъ.—Поэтому признаніе обязательности нравственныхъ законовъ для насъ необходимо; само по себѣ высокое достоинство этихъ законовъ дѣлаетъ для насъ совершенно необходимымъ признаніе ихъ обязательности. Даже человѣкъ своими дѣйствіями попирающій нравственные законы, если онъ несовершенно утратилъ человѣческій образъ, не можетъ отказать въ невольномъ уваженіи къ нравственному долгу и въ признаніи его. Въ этомъ именно признаніи нравственныхъ законовъ, вынуждаемомъ ихъ высокимъ авторитетомъ, и состоить моральная необходимость. Но если признаніе моральныхъ законовъ въ объясненномъ смыслѣ необходимо, то исполненіе ихъ не есть необходимо, и въ этомъ состоить различие нравственной необходимости отъ натуральной. Тогда какъ физически необходимое совершаєт-

ся само собою, независимо отъ нашей воли, причемъ не-рѣдко мы не хотимъ того что происходитъ, и состоять въ этой именно необходимости совершения, моральная необходимость есть напротивъ то что мы признаемъ и чего хотимъ, но что однажды не только не совершается необходимо, а напротивъ нерѣдко даже вовсе неисполняется, ибо въ дѣйствительности именно наичаше дѣлается то чего не должно быть. Это различіе между натуральною и моральною необходимостію мѣтко указано въ извѣстномъ изречении А. Павла: не то что хочу дѣлаю, но чего не хочу, то совершаю. Рим. VII, 15. 16.

Разсмотримъ теперь подробнѣе въ чёмъ состоить та моральная необходимость, которая составляетъ область свободы, противоположную натуральной необходимости, и каково взаимное отношеніе той и другой.

### III.

Опредѣляя свободу какъ способность души человѣческой къ самоопределѣнію, обыкновенно полагаютъ, что такая способность есть принадлежность нашей воли, и потому когда доказываютъ что человѣкъ обладаетъ свободою, то обыкновенно разумѣютъ свободу воли. Но свобода можетъ обнаруживаться и дѣйствительно обнаруживается не только въ актахъ воли, а также и въ умственной дѣятельности. Говорять вѣдь не только о свободѣ воли, но и о свободѣ мысли, при чёмъ разумѣютъ не однозначно отсутствіе внѣшнихъ стѣсненій и ограниченій, препятствующихъ выраженію и распространенію какихъ либо идей, т. е. свободу въ смыслѣ политическомъ, но и свободу въ смыслѣ философскомъ, состоящую во внутренней независимости и способности къ самоопределѣнію нашего мышленія. По крайней мѣрѣ кто признаетъ свободу воли, какъ способность ея къ самоопределѣнію, тотъ долженъ признать эту же способность и въ отношеніи къ уму. Это неподлежитъ

сомнѣнію, но слѣдуетъ ли различать свободу воли отъ свободы ума или мышленія? Не есть ли свобода мышленія особый видъ проявленія свободной воли, или наоборотъ? Не состоять ли свобода мышленія въ томъ, что мы можемъ признавать или непризнавать что либо, а признаніе или непризнаніе не совпадаютъ ли съ хотѣніемъ или нехотѣніемъ? Но при такомъ отождествленіи актовъ воли съ проявленіями мысли необходимо допустить одно изъ двухъ: или что существо-  
нашей души заключается именно въ мышленіи, какъ учила картезіанская школа, разсматривая акты воли какъ обнаруженія (модусы) мышленія; но тогда пришлось бы, слѣдя направ-  
ленію этой школы, признать собственно принадлежащую душѣ, преимущественно свойственною и предназначеною ей, жизнь исключительно созерцательную, бездѣятельную; или же—что сущность ея есть воля, какъ училъ Шопен-  
гауэръ, и въ такомъ случаѣ слѣдовало бы согласиться съ Шопенгауеромъ и въ томъ, что сознаніе, мысль—времен-  
ные и несоразмѣрныя съ сущностью души проявленія ея, и  
что поэтому истинная цѣль, къ которой душа стремится, и  
высочайшее бытіе ея заключается въ свободѣ отъ всякой  
индивидуальной ограниченности, въ состояніи полной без-  
сознательности и отсутствія всякой опредѣленной мысли.  
Воззрѣнія очевидно слишкомъ одностороннія. Воля, лишен-  
ная сознанія и несопровождаемая ясною и опредѣленною  
мыслию, такая воля не свободна; и потому признаніе ума  
не существенною, временною формою проявленія воли ве-  
детъ къ отрицанію свободы, что мы и видимъ въ этикѣ  
Шопенгауера. Равнымъ образомъ умъ самъ по себѣ, огра-  
ничиваемый теоретическими созерцаніями и несопровожда-  
емый практическимъ воздействиемъ воли на жизнь, также  
ведетъ къ отрицанію свободы, что мы и видимъ въ этикѣ  
Спинозы, послѣдователя картезіанской школы. Итакъ необ-  
ходимо признать не только что свобода или самоопределѣ-  
ніе есть свойство, равно принадлежащее уму и волѣ, но и  
то что свобода ума и воли возможна лишь при ихъ взаимо-

дѣйствіи. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ въ умственной дѣятельности необнаруживается то что называется, характеромъ личности, т. е. качества воли, каковы: послѣдовательность, стойкость, нерѣшительность, прямота или скрытность, изворотливость и друг., и наоборотъ, въ дѣятельности практической развѣ не проявляются качества принадлежащія собственно уму, каковы напр. легкомысліе и основательность, проницательность и непредусмотрительность и др.

Дѣятельность свойственная уму состоять въ познаніи, а цѣль познанія есть истина; коль скоро мы доходимъ до истины и убѣждаемся что достигли истинного познанія, то при этомъ мы испытываемъ чувство умственного удовлетворенія. Не очевидно ли отсюда что познаніе истины есть потребность свойственная нашему уму? Не всѣ въ одинаковой степени сознаютъ въ себѣ эту потребность. Но то несомнѣнно во всякомъ случаѣ, что влеченіе къ истинѣ по природѣ должно быть свойственно нашему уму. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ допустить что стремленіе къ знанію, любовь къ истинѣ искусственно можно создать и привить къ уму человѣческому. Никто не скажетъ что наука не есть плодъ натурального развитія человѣческаго ума. Но хотя умъ нашъ, по самой своей природѣ, вообще направляется къ познанію истины, однако это непрепятствуетъ прилепляться ко лжи, обману, упорствовать въ заблужденіи до ослѣпленія, до потери способности различать истину и ложь. И въ томъ именно что умъ имѣть возможность переходить на сторону лжи и обмана и заключается его свобода. Допустимъ что эта возможность осуществилась. Если это неболѣе какъ отдельный случай, если заблужденіе произошло потому лишь что ошибаться свойственно человѣку, то и послѣ этого возможность уклоняться въ сторону лжи или заблужденія и обмана все же остается не болѣе какъ только возможностію, ибо отдельный случай легко исправимъ, а главное, заблужденіе можетъ быть невольное, а такого рода заблужденія не только не дѣлаютъ никакого ущерба свойственному намъ

расположенію къ истинѣ, напротивъ и сами являются по-  
следствиемъ этого расположенія, ибо только тотъ не ошиба-  
ется, кто равнодушенъ къ истинѣ. Коль скоро же человѣкъ  
непросто впадаетъ въ ошибку, но становится поборникомъ  
лжи, когда онъ является приверженнымъ къ заблужденію,  
такъ что болѣе или менѣе утрачиваетъ и самую способность  
къ познанію истины, то такое увлечение ума справедливо  
признается состояніемъ рабства, лишніемъ свободы. Ибо  
умъ въ такомъ случаѣ становится орудіемъ постороннихъ  
для него интересовъ. Собственно уму принадлежащей ин-  
тересъ есть тотъ, чтобы познать истину и представить ее  
въ наибольшемъ свѣтѣ. Но такой интересъ можетъ быть  
совершенно заглушенъ иными чуждыми ему побужденіями.  
И это можетъ дойти до того даже что является желаніе во  
что бы то нистало скрыть истину. Наоборотъ, когда человѣкъ  
все болѣе и болѣе укрѣпляясь въ стремленіи къ истинѣ,  
теряетъ наконецъ и самую возможность сдѣлаться  
(вамѣренно) сторонникомъ лжи и обмана, то такое утвер-  
дившееся, неизмѣнное направленіе къ истинѣ, съ исключе-  
ніемъ самой возможности обмана и лжи, по справедливости  
считается высшимъ проявленіемъ и торжествомъ свободы  
умственной. Если бы первоначальная свобода ума состояла  
въ простомъ безразличіи, при которомъ умъ съ одинаковою  
легкостію и рѣшимостію могъ бы склоняться и на сторону  
истины, и на сторону лжи (такъ иногда была понимаема  
свобода), тогда ковечно и то и другое направленіе одинаково  
было бы выраженіемъ умственной свободы, ибо свобода за-  
ключала бы въ себѣ простую и равную возможность обо-  
ихъ направленій. Между тѣмъ мы считаемъ, по всей спра-  
ведливости, умъ вполнѣ свободнымъ только тогда, если онъ  
неизмѣнно устремленъ къ познанію истины. Противополож-  
нѣе же этому направленіе, какъ мы сказали, обыкновенно  
признается рабствомъ. Не ясно ли это показываетъ что умъ  
никогда не можетъ быть въ простомъ безразличіи (*tabula rasa*);  
что уже первоначально ему должно быть свойствен-

но некоторое расположение къ истинѣ. А чтобы быть свободнымъ умственно, при естественномъ расположении къ истинѣ, для этого достаточно имѣть лишь простую возможность уклоняться отъ такого расположения. Для чего нужна эта возможность? Безъ нея расположение къ истинѣ небыло бы свободнымъ. Впослѣдствіи же хотя бы такая возможность и прекратилась, то это уже не было бы ущербомъ для свободы; напротивъ это было бы ея торжествомъ, ибо самое это исключение возможности стать на сторону лжи—можетъ произойти только чрезъ свободу, быть только ея дѣломъ. Если же въ самомъ началѣ уму свойственно преимущественное расположение къ истинѣ, то теперь понятно также и то почему направление противоположное сказанному расположению признается умственнымъ рабствомъ. Ставясь на сторону лжи и обмана, умъ чрезъ это какъ бы чуждается самаго себя,—какъ бы отпадаетъ отъ того что ему должно быть свойственно; это конечно есть уже извращеніе природы ума, но въ этомъ же заключается ясное доказательство свободы человѣческаго духа, ибо никакая вещь въ мірѣ, никакая сила никогда недѣйствуетъ такъ сказать наперекоръ себѣ, вопреки собственной своей природѣ, но именно такъ какъ требуетъ эта природа. Невозможно конечно допустить чтобы, при своемъ естественномъ расположении къ истинѣ, умъ могъ самъ собою, безъ всякихъ столовыхъ поводовъ и побужденій, принимать направление противное названному расположению. Такими поводами и побужденіями, извращающими природу ума, дѣйствительно, являются эгоистические интересы и страсти, не только материальные, но и духовные, каковы самолюбіе, гордость, честолюбіе. Вотъ почему всѣ такія страсти, какъ враждебная истинѣ, осуждаются; не сама по себѣ страсть, а только ея враждебность въ отношеніи къ истинѣ достойна порицанія: когда познаніе истины переходитъ въ живую страстную приверженность къ ней, то такая увлекающаяся до самоизвѣснія, преданность истинѣ не только не порицается, на-

противъ справедливо восхваляется какъ величайшая доблесть и совершенство души; и дѣйствительно качество это внушиаетъ намъ невольное уваженіе и даже удивленіе въ отношеніи къ лицу, отмѣченномъ этимъ свойствомъ. Такъ самое достоинство нашей личности зависитъ отъ того какъ мы относимся къ истинѣ, принимаемъ ли ее съ полнымъ убѣжденіемъ и искренностю, или же напротивъ отвергаемъ ее и враждуетъ противъ нея. Съ другой стороны, хотя первоначальные задатки страстей заключаются въ натуральныхъ свойствахъ нашего тѣлеснаго организма (въ такъ назыв. темпераментѣ) и въ тѣлесныхъ потребностяхъ лежитъ источникъ эгоистическихъ интересовъ и побужденій, однако известно что одни и тѣ же свойства одинаково могутъ направляться и къ добрымъ и къ дурнымъ цѣлямъ, могутъ обнаруживаться съ равною силою и въ подвигахъ добра и въ злодѣяніяхъ. Рѣшающею силою въ настоящемъ случаѣ, отъ которой зависитъ такое или иное направление нашихъ натуральныхъ побужденій и свойствъ, очевидно должно быть знаніе, и при томъ, такъ какъ страсти развиваются преимущественно на почвѣ практическихъ идей и стремлений, то и знаніе, имѣющее рѣшающую силу въ отношеніи къ направленію воли, есть именно то, которое относится къ вопросамъ нравственно-практическимъ, знаніе того въ чёмъ заключается истинное наше блаю, или что тоже знаніе добра; наконецъ только тогда знаніе это можетъ имѣть для насъ рѣшающую силу, когда оно, будучи пріобрѣтено собственнымъ нашимъ трудомъ, сдѣлается органическимъ достоиніемъ нашей души, что называется убѣжденіемъ. Какимъ же образомъ пріобрѣтается такое знаніе?

Есть истины теоретическія и есть истины практическія. Первая состоятъ въ познаніи дѣйствительности какъ она есть, а также необходимыхъ условій, которымъ подлежить всякая дѣйствительность. Практическія же истины состоятъ въ опредѣленіи того что и какъ мы должны дѣлать и чего не дѣлать. Понятно само собою что отношеніе наше къ тѣмъ

и другимъ истинамъ никакимъ образомъ не можетъ и не должно быть одинаковое. Для пріобрѣтенія знаній теоретическихъ мы имѣемъ два источника: съ одной стороны чувственное наблюденіе, которое служить органомъ познанія дѣйствительности какъ она есть, съ другой стороны—разумъ, для которого предметомъ служатъ всеобщія и необходимыя условія и отношенія дѣйствительности. Поэтому и для удостовѣренія въ истинности знаній теоретическихъ мы имѣемъ только два пути: или свидѣтельство опыта, или же рациональное доказательство. Можно ли теперь сказать, что и для познанія истинъ нравственно-практическихъ мы пользуемся тѣми же источниками и такъ же точно удостовѣряемся въ нихъ? И во первыхъ, разумъ можетъ ли служить такимъ источникомъ? Если бы истинны моральный прямо заключались въ разумѣ, то эти истинны можно было бы выводить чрезъ умозаключенія, точно такъ же какъ мы выводимъ истинны логическія и математическія, и подобно тѣмъ и другимъ, могли бы быть доказываемы,—если не прямо, то косвеннымъ образомъ. Но этого на самомъ дѣлѣ нѣть. Кантъ утверждалъ, что нравственный законъ, въ которомъ содержится принципъ нравственной нашей дѣятельности и основаніе для обсужденія нашихъ поступковъ, необходимо присущъ нашей волѣ, или что тоже, а priori данъ въ практическомъ нашемъ разумѣ (Кантъ назыв. волю практическимъ разумомъ); поэтому онъ полагалъ что означенный законъ можно вывести и опредѣлить путемъ разсужденія, независимо отъ опыта, и точно въ этомъ именно состоитъ главная задача его практической философіи. Но удалось ли Канту решить удовлетворительно эту задачу? Такъ какъ всѣ наши познанія, пріобрѣтаемыя нами не путемъ опыта, а посредствомъ правильнаго методического размышленія, т. е. чрезъ умозрѣніе, по Канту, имѣютъ лишь значеніе формальное, ибо содержаніемъ такого рода знаній служать формальные условія различныхъ дѣятельностей нашего духа, то и определеніе нравственного закона, выведенное тѣмъ

же способомъ, такъ же должно быть формальное, т. е. оно должно выражать не болѣе какъ форму вашей нравственной дѣятельности. Это именно и выражаетъ, по Канту, уже упомянутое выше, слѣдующее опредѣленіе нравственного закона: „дѣйствуй всегда по такому правилу, относительно котораго ты могъ бы желать, чтобы оно было всеобщимъ закономъ“. Подобный же взглядъ относительно принципа нравственной нашей дѣятельности, или закона нравственнаго,—именно что а ргот мы можемъ опредѣлить только форму нашей дѣятельности, и что поэтому если мы захотимъ выразить этотъ законъ, то по необходимости получимъ лишь формальное понятие объ немъ—такой взглядъ мы встрѣчаемъ и въ книгѣ г. Чичерина. „Разумъ, говоритъ онъ, въ существѣ своемъ есть общее начало, чистое сознаніе закона. Подчиненіе частнаго общему составляеть для него необходимое требованіе, выраженіе внутренняго его естества. Слѣдовательно, когда разумъ ставитъ сознаніе общаго закона выше всякихъ частныхъ стремленій, онъ въ этой оцѣнкѣ выражаетъ только собственную свою сущность; онъ признаетъ себя верховнымъ мѣриломъ опыта, господствующимъ началомъ въ жизни человѣка, какъ разумнаго существа. И это сознаніе имѣетъ силу для всѣхъ разумныхъ существъ... Такимъ образомъ, продолжаетъ г. Чичеринъ, мы приходимъ къ тому что Кантъ называлъ катего-рическимъ императивомъ практическаго разума, къ верховному нравственному закону, истекающему изъ существа самаго разума. Какъ и всѣ опредѣленія чистаго разума, этотъ законъ имѣетъ характеръ формальный. Онъ не говоритъ что именно человѣкъ долженъ дѣлать; содержаніе дѣятельности дается жизнью, слѣдоват. зависить отъ опытныхъ данныхъ. Но высшимъ мѣриломъ всякаго опыта онъ ставить подчиненіе частныхъ стремленій сознанію общаго закона. Это подчиненіе называется *обязанностію*... (стр. 135 и дал.). Можно ли согласиться съ такимъ взглядомъ на законъ нравственный, точно ли онъ есть начало формальное? Напр-

тивъ, законъ нравственный, указывая что мы должны дѣлать, неопредѣляетъ формы дѣятельности<sup>1)</sup>; формы, въ какихъ проявляются нравственные свойства и дѣйствія, безконечно могутъ разнообразиться и измѣняться, смотря по условіямъ времени и мѣста; но содержаніе нравственнаго закона, будучи однажды опредѣлено, должно всегда оставаться тѣмъ же. Нравственный законъ предписываетъ любить Бога и ближняго, но въ какихъ формахъ проявлять любовь,— это не можетъ быть въ точности опредѣлено разъ на всегда, ибо жизнь сама создаетъ формы для нравственныхъ стремленій и дѣйствій. И въ самомъ дѣлѣ, приведенная выше формула Канта никакъ неопредѣляетъ форму нравственной дѣятельности; смыслъ ея очевидно заключается въ томъ что лишь такое правило имѣть нравственное значеніе, которое было бы безусловно обязательно для каждого,—могло бы быть всеобщимъ закономъ. Т. е. формула Канта указываетъ лишь иѣкоторую, правда важнѣйшую и отличительную, черту нравственнаго закона, но этимъ еще не опредѣляется, какова должна быть дѣятельность согласная съ этимъ закономъ, тѣмъ болѣе что и самъ законъ при этомъ остается еще неизвѣстнымъ. Г. Чичеринъ утверждаетъ да-лѣе что сама по себѣ форма нравственнаго закона уже опредѣляетъ и содержаніе его. „Не смотря на свой формальный характеръ, говоритъ онъ, нравственный законъ имѣть свое отвлеченно общее содержаніе, вытекающее изъ самой его формы. Это содержаніе дается намъ понятіемъ о законѣ, какъ связи разумныхъ существъ. Отсюда вытекаютъ необходимыя отношенія разумныхъ существъ между собою. Каждое изъ нихъ, какъ носитель абсолютного начала, имѣть абсолютное достоинство; слѣдовательно оно всегда должно

<sup>1)</sup> Заповѣти опредѣляютъ что дѣлать и чего не дѣлать, но не то какъ что либо дѣлать. Богатый юноша приходитъ къ Спасителю и спрашивается, чѣмъ ему дѣлать, дабы спастись.

быть цѣлью, а никогда не можетъ быть уничтожено на степень простаго средства. Отсюда, отрицательно, требование *уваженія къ личности* каждого, а положительно, требование *живаго сознанія связи и истекающей отсюда дѣятельности на пользу другихъ*, т. е. требование *любви къ ближнимъ* (стр. 136—137).

Итакъ содержание нравственного закона дается понятиемъ о законѣ какъ *связи разумныхъ существъ*. Но откуда взялось самое это понятие? Требование подчиненія частныхъ стремленій сознанію общаго закона можетъ создать въ обществѣ известный порядокъ, но взаимная любовь и уважение не слѣдуютъ изъ того требованія. О связи разумныхъ существъ, въ смыслѣ взаимной любви, не говоритъ приведенная выше формула Канта. Формула эта требуетъ лишь признавать нравственнымъ только то что дѣлается по сознанію долга. Кантъ полагалъ даже, что добре дѣло наибольшую нравственную цѣну имѣть не тогда какъ оно совершается по внушенію любви къ ближнему, но когда исполняется единственно по сознанію долга. Кантъ пожалуй допускалъ любовь, но любовь *интеллектуальную*, о которой училъ еще Спиноза; любовь же эта состоять въ признаніи истины, познанной нашимъ разумомъ, въ настоящемъ случаѣ, въ признаніи безусловно обязательной силы нравственнаго закона (*уваженіе къ закону*). А какъ самый законъ при этомъ остается неизвѣстнымъ, то и признаніе обязательности его ни на чёмъ не основано, т. е. взято изъ жизни, а не выведено изъ разума. Въ самомъ дѣлѣ можетъ ли разумъ научить человѣка любви къ ближнему? Древняя философія—это совершиеннѣшее и чистѣшее выраженіе человѣческаго разума, однако не научила человѣчество любви къ ближнему. Напротивъ, такъ какъ разумному противоположно неразумное, то для греческихъ философовъ, а затѣмъ и вообще для классическихъ народовъ древности противоположность эта нагляднымъ образомъ представлялась въ томъ что сами себя они противополагали варварамъ, а

также—въ противоположности свободныхъ и рабовъ, и еще частиѣ въ противоположности просвѣщенныхъ и невѣжественныхъ, мудрецовъ и глупцовъ. Ап Павла посл. къ Римл. I, 14. Послѣдствіемъ же такого рода противоположеній является съ одной стороны горделивое превозношеніе однихъ и угнетенное положеніе другихъ. Не напрасно поэту А. Павелъ называлъ евангельскую проповѣдь безуміемъ для елиновъ. Коринт. 1, 23.

Но быть можетъ нравственные истины суть плодъ дозговременного исторического опыта, если нельзя признать ихъ прямо заключающими въ природѣ разума человѣческаго, и если невозможно вывести ихъ рациональнымъ путемъ? Дѣйствительно, чѣмъ различаются истины моральныя отъ теоретическихъ? Истина теоретическая состоитъ очевидно въ простомъ созерцаніи или представлениіи того что есть, причемъ требуется чтобы представлениe соотвѣтствовало тому что представляется, или иначе, выражало дѣйствительность такою именно какова она есть. Предметомъ теоретического познанія можетъ быть, впрочемъ, не самая дѣйствительность, а то или иное изъ необходимыхъ и всеобщихъ условій дѣйствительности, каковы напр. пространство, время, число; или же условія и формы самого познанія; но и въ такомъ случаѣ мы требуемъ чтобы познаніе было согласно съ предметомъ познанія, чтобы предметъ этотъ былъ изъясненъ правильно и всѣ наши представления точно соотвѣтствовали бы дѣйствительнымъ отношеніямъ, формамъ и условіямъ данного предмета. Вообще теоретическая истина состоитъ въ представлениіи и изъясненіи какой либо вещи, какого либо предмета.—Практическое же положеніе, истина моральная, въ отличие отъ теоретической, состоитъ въ опредѣлѣніи дѣйствія, т. е. въ опредѣлѣніи того что дѣлать и чего недѣлать, а также въ оцѣнкѣ дѣйствій, въ опредѣлѣніи нравственного ихъ достоинства. Тамъ главная цѣль, которая имѣется въ виду, заключается въ представлениіи, или изъясненіи, т. е. въ познаніи, а здѣсь въ

дѣйствіи. Но о томъ что дѣлать и чего не дѣлать, и какъ что либо дѣлать научаетъ насъ главнымъ образомъ жизнен-ный опытъ Итакъ обратимся къ даннымъ этого опыта и спросимъ: какія именно дѣйствія могутъ и должны быть предметомъ нравственныхъ опредѣленій, и что должно быть главнымъ основаніемъ или принципомъ таковыхъ опредѣленій?

IV.

Всякое дѣйствіе имѣть опредѣленную цѣль; цѣль эта всегда заключается въ удовлетвореніи извѣстной потребно-сти. То дѣйствіе, которое приводитъ насъ къ осуществленію извѣстной цѣли, мы называемъ удачнымъ, хорошимъ, цѣлесообразнымъ; дѣйствіе же не соответствующее своей цѣли обыкновенно мы считаемъ дурнымъ, неудачнымъ. Но различая, такимъ образомъ, дѣйствія цѣлесообразныя и не цѣлесообраз-ныя, мы можемъ одобрять одни и порицать другія только тогда, если отъ нашей воли зависитъ исполнять ихъ или неисполнять, такъ что свободная воля есть необходимое предположеніе, безъ которого невозможна нравственная дѣятельность; съ другой стороны и произвольные дѣйствія въ нравственномъ отношеніи безразличны,—если только не имѣютъ никакого значенія въ отношеніи къ важнѣйшимъ интересамъ нашей или чужой жизни. Только такія свободные дѣйствія мы при-знаемъ добрыми, которые способствуютъ удовлетворенію важнѣйшихъ, существеннѣйшихъ потребностей нашей жизни, и только тѣ дѣйствія мы порицаемъ какъ дурные или злые, которые препятствуютъ достижению этой цѣли. Итакъ благо и все противное благу, или же добро и зло—вотъ предметы нашей воли, которая всегда бываетъ направлена или на то или на другое. Свобода же воли состоять въ томъ что мы можемъ склоняться въ ту и другую сторону, можемъ въ своихъ дѣйствіяхъ избирать въ качествѣ цѣли и то и другое, и добро и зло. Но подобно тому какъ въ

природѣ нашего ума лежитъ извѣстное расположение къ истинѣ, которое обнаруживается въ особенности при усвоеніи важнѣйшихъ коренныхъ истинъ въ удобопріемлемости этихъ истинъ,—такъ точно и наша воля по природѣ направлена преимущественно къ добру. Но въ чемъ же состоить добро и зло и что должно служить критеріемъ для оцѣнки нашихъ дѣйствій?

Мы сказали что только тѣ дѣйствія обыкновенно признаются добрыми, которые имѣютъ цѣлію удовлетвореніе важнѣйшихъ потребностей жизни. Слѣдовательно въ удовлетвореніи потребностей жизни заключается наше благо, а все противное тому мы должны признать зломъ. Такъ какъ, далѣе, благосостояніе нашей жизни вообще зависитъ отъ благосостоянія общества и народа, среди которого мы живемъ, ибо благо наше заключается, какъ часть въ цѣломъ, общемъ благѣ, то понятно что и дѣятельность наша должна быть направлена преимущественно къ достижению общаго благосостоянія, т. е. къ удовлетворенію потребностей общественныхъ. Въ какихъ именно формахъ, въ какихъ проявленіяхъ должна выразиться наша дѣятельность, направленная къ осуществленію блага, какъ индивидуального такъ и общественнаго,—это конечно зависитъ отъ условій и всего склада нашей жизни; поэтому руководителемъ нашимъ въ этомъ отношении по необходимости является *опытъ жизни*, частію собственной, въ особенности же жизненный опытъ другихъ близкихъ къ намъ людей и цѣлаго общества или народа, заключающійся въ его исторіи. Плодомъ этого исторического опыта, пережитаго цѣлымъ народомъ, является свойственный народу характеръ, извѣстный строй его жизни частной и общественной, а также мнѣнія и сужденія народа о разныхъ явленіяхъ обыденной жизни, нравы и обычай получившіе авторитетъ закона свято хранимаго въ жизни. Но какъ бы ни было могущественно влияніе всѣхъ этихъ факторовъ на нашу личную жизнь, влияніе это однакожъ не уничтожаетъ нашей свободной воли, въ силу ко-

торой мы можемъ такъ или иначе устраивать свою жизнь, по такому или иному образцу, и въ своей дѣятельности руководиться такими или иными мнѣніями. Дѣло въ томъ что какъ условія народной жизни, такъ и сама эта жизнь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и воззрѣнія, въ ней обращающіяся, могутъ измѣняться и дѣйствительно измѣняются съ теченіемъ времени. Съ другой стороны, образованіе даетъ знакомство съ жизнью другихъ народовъ, съ иными воззрѣніями и понятіями о жизни. Наконецъ наука, видоизмѣня и умножая средства къ удовлетворенію жизненныхъ потребностей, также оказываетъ сильное вліяніе на жизнь. Все это нарушаетъ спокойное и равномѣрное теченіе жизни; въ сознаніи каждого, живо чувствующаго на себѣ силу этихъ разнородныхъ вліяній, съ большею или меньшею ясностію возникаетъ вопросъ: чего держаться, чѣмъ руководствоваться въ жизни и къ чему наиболѣе должно стремиться? Говорятъ: единственное спасеніе противъ всякихъ колебаній и въ теоріи вредныхъ, но особенно пагубныхъ въ жизни практической, состоить въ томъ чтобы крѣпко держаться почвы народной жизни, стоитъ лишь отшатнуться или какъ принято выражаться,—оторваться отъ этой жизни, и мы неизбѣжно должны почувствовать отсутствіе всякой прочной опоры въ своей дѣятельности; необходимымъ послѣдствіемъ оторванности отъ родной почвы является пустота, безцвѣтность жизни, отсутствіе всякихъ плодотворныхъ и положительныхъ стремленій; вместо положительныхъ идеаловъ процвѣтаетъ и укореняется разрушительная сила отрицанія. Дѣйствительно, выше сказано что руководительнымъ началомъ въ нашей практической дѣятельности долженъ быть жизненный опытъ цѣлаго народа, ибо только такой опытъ, переходящій отъ одного поколѣнія къ другому въ видѣ преданій, и путемъ воспитанія и самообразованія,—только такой опытъ можетъ дать определенную физиognomію собственной нашей жизни, образовать крѣпкій и устойчивый характеръ личности, какъ сила несомнѣнно живая, организующая, дѣйству-

ющая на всего человѣка, а не одну какую либо сторону. Если мы отбросимъ это органическое живое начало, то неизбѣжно наша жизнь сдѣлается добычею шаткихъ колеблющихся теорій, ибо только то что органически выростаетъ, такъ сказать, изъ жизненного опыта легко и свободно укладывается въ рамки намѣченныя уже предшествующимъ ходомъ исторіи и жизненного опыта, всякая же теорія взятая со стороны естественно будетъ оказываться непригодной и не соответствующею условіямъ, созданнымъ жизнью. И это не произвольные догадки; напротивъ, все это мы видимъ на дѣлѣ, подтверждается ежедневнымъ опытомъ. Но спрашивается: кто въ состояніи опредѣлить ту черту, за которую приверженность къ обычаямъ, нравамъ и понятіямъ народнымъ была бы рабствомъ, подавленіемъ личной самобытности? И въ народной жизни не все одинаково заслуживаетъ уваженія и подражанія. Неужели станетъ кто либо требовать, чтобы каждый слѣпо и безъ разбора всему тому слѣдовалъ и былъ вѣренъ, чего придерживается народъ? Съ другой стороны, если нити, связывавшія верхній слой народа съ общенародною жизнью дѣйствительно порваны, если въ этомъ слоѣ образовался иной складъ жизни, возникли иные возврѣнія, сложились иные понятія и склонности, то всѣ усилия восстановить прерванную связь искусственнымъ образомъ въ состояніи произвести лишь пустой формализмъ и лицемѣре, одно лишь виѣшие храненіе заповѣдныхъ обычаевъ и преданій старины. Не есть ли то что называютъ оторванностью отъ родной почвы неизбѣжное послѣдствіе образованности, или такъ называемой цивилизацией; ибо не въ томъ ли состоитъ главное свойство образованія, основанаго преимущественно на наукѣ, что оно сглаживаетъ национальную исключительность, освобождаетъ отъ предразсудковъ, уничтожаетъ рабство въ отношеніи къ авторитету преданія, и жизнь, которая была прежде косною и неподвижною, дѣлаетъ удобоподвижною, воспріимчивою и дѣятельною? Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ наука не есть исклю-

чительное достояніе того или другого народа, напротивъ имѣть характеръ общечеловѣческій,—ибо одна и также для всѣхъ народовъ, то не удивительно что подъ вліяніемъ научного образованія у всѣхъ народовъ, гдѣ оно есть,—болѣе и болѣе вырабатывается одинъ общій типъ такъ называемой цивилизованной жизни, которую ведутъ разумѣется образованные классы общества. Слѣдуетъ ли замыкаться въ исключительныхъ и неподвижныхъ формахъ національного быта, и противодѣйствовать вторженію постороннихъ элементовъ? Это значило бы чуждаться общечеловѣческаго образованія и добровольно выгораживать себя изъ общей исторіи человѣчества, а съ тѣмъ вмѣстѣ осуждать себя и свой народъ на неподвижность и варварство. Но опять же возникаетъ вопросъ: въ чемъ заключается сущность того вліянія на жизнь, которое оказываетъ и можетъ оказывать научное образование и какъ далеко простирается это вліяніе? Говоримъ не вообще о вліяніи науки, а о томъ какъ оно понимается у насъ, и какъ дѣйствительно проявляется въ жизни образованныхъ классовъ.

Ощущительнѣе всего и наиболѣе доступно для такъ назыв. образованныхъ классовъ вліяніе наукъ изучающихъ въ различныхъ отношеніяхъ, съ различныхъ сторонъ міръ физический; ибо какъ самыя явленія, составляющія предметъ изслѣдованія этихъ наукъ, отличаются наибольшою очевидностію, потому что это явленія материальныя, доступныя наблюденію, равно и послѣдствія для жизни этого рода изслѣдованій наиболѣе очевидны, поелику касаются материальной стороны жизни, по преимуществу обнаруживаются въ измѣненіи виѣшнихъ условій быта. И чѣмъ ощущительнѣе вліяніе естественныхъ наукъ на материальную сторону жизни, на виѣшнія ея условія, тѣмъ больше сильѣ устремляется на разработку и усовершенствованіе этой именно стороны жизни, тѣмъ болѣе пріучается значительное большинство къ той мысли что важнѣе всего материальная потребности, что задачи относящіяся къ устроенію виѣшняго

быта должны стоять на первомъ планѣ, и даже не должно быть никакихъ иныхъ, такъ что и самое образованіе и совершенство жизни слѣдуетъ опредѣлять тѣмъ какъ много достигнуто въ решеніи этихъ задачъ,—все же прямо или косвенно препятствующее достижению этой главной цѣли—устроенію виѣшняго быта,—все отклоняющее или могущее отклонить общественное вниманіе въ другую сторону, по возможности слѣдуетъ искоренять и преслѣдоватъ.

Никто не станетъ сомнѣваться въ важности виѣшняго материальнаго благосостоянія жизни, и кто не пожелаетъ наибольшаго довольства въ этомъ отношеніи для цѣлаго народа, но все ли этимъ исчерпывается, и можно ли сказать что безразлично какою цѣною будетъ достигнуто это довольство? Кажется и безъ доказательствъ ясно что материальное довольство, пзвѣстное устроеніе быта,—это не есть еще жизнь, а только обстановка жизни, это виѣшняя, сама по себѣ пустая, форма, которую слѣдуетъ еще наполнить содержаніемъ. Точно, по виѣшнему устроенію, по своей обстановкѣ, жизнь образованныхъ классовъ, можно сказать, у всѣхъ образованныхъ народовъ одинакова, и однако же въ различныхъ странахъ люди, стоящіе на равной ступени образованія, волнуются далеко неодинаковыми интересами; содержаніе жизни не тоже самое. Содержаніе это дается національными интересами, интересами общества и государства.—Итакъ снова мы приходимъ къ необходимости стать твердою ногою на почвѣ національной жизни. А такъ какъ образованіе, измѣнивъ условія виѣшняго быта, произвело раздѣленіе высшихъ классовъ отъ остальной народной массы, возвращеніе же къ первобытнымъ, грубымъ и простымъ условіямъ и формамъ существованія, само собою понятно, для этихъ классовъ невозможно, то служеніе національнымъ интересамъ должно очевидно состоять въ томъ чтобы содѣйствовать поднятію народа во всѣхъ отношеніяхъ до уровня съ образованными классами. Въ чёмъ главнымъ образомъ обнаруживается различіе высшихъ об-

разованныхъ классовъ отъ народа? Во вѣщихъ условіяхъ быта. Значитъ и нужно всѣ усилия направлять именно въ эту сторону, заботиться объ измѣненіи условій народнаго быта соотвѣтственно научнымъ требованіямъ, практикуемымъ во всей силѣ пока только въ средѣ образованнаго общества. А для того чтобы ничто не задерживало на пути къ этой цѣли, и разрозненнымъ силамъ возможно было дать единство дѣйствія въ указанномъ направлении,—для этого лучшіе представители образованныхъ классовъ должны имѣть могущество и власть въ своихъ рукахъ управлять всѣми отраслями народной жизни.

Понидимому такое рѣшеніе задачи еще болѣе приблизило бы жизнь образованныхъ классовъ нашего народа, а чрезъ нихъ понятно и быть всего народа къ общему типу благоустроеннаго быта всѣхъ просвѣщенныхъ націй. Не по одной только формѣ, не по виѣшности, а и по содержанію, по одушевляющимъ эту жизнь интересамъ, она сходствовала бы, а сльдов. и по достоинству стояла бы на равной ногѣ съ внутреннею жизнью образованныхъ народовъ. Ибо у этихъ народовъ жизнь и дѣятельность высшихъ классовъ развѣ несостоитъ въ служеніи интересамъ общаго благосостоянія? Пусть такъ. Но главное дѣло въ томъ, что все же приходится наполнять жизнь заботами о виѣшнемъ благосостояніи хотя бы и цѣлаго государства, а какъ виѣшній быть есть только обстановка, форма жизни, то наполнять жизнь заботами исключительно объ одномъ виѣшнемъ благосостояніи значитъ форму превращать въ самое содержаніе жизни, т. е. подавлять собственно внутреннюю жизнь и ограничиваться однимъ лишь виѣшнимъ существованіемъ, какъ бы ни было оно шумно и повидимому разнообразно. Не трудно понять, къ чему это должно привести. Если и въ частномъ быту мы видимъ что виѣшнее благосостояніе достигается одними съ ущербомъ для другихъ, такъ что въ то время какъ одни благоденствуютъ, другіе бѣствуютъ, то не повторяется ли тоже са-

мое явление и въ отношенияхъ международныхъ, не видимъ ли мы что благосостояніе одного народа достигается цѣною порабощенія и угнетенія другихъ, и что интересы образованійшихъ народовъ представителями этихъ народовъ полагаются именно въ томъ чтобы стѣснять свободу другихъ народовъ и чтобы или прямо вредить имъ, или же, подъ видомъ покровительства и дружбы, обратить ихъ въ орудіе собственныхъ интересовъ. Скажутъ что несправедливость, коварство и обманъ дозволительны относительно другихъ народовъ, коль скоро требуется благомъ собственного народа. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ заботиться о благѣ всего человѣчества; для насть достаточно всѣ свои силы и помыслы употреблять на служеніе своему народу, и если столкновеніе разнородныхъ интересовъ вынуждаетъ для блага своего народа жертвовать интересами другихъ народовъ, то сама эта необходимость, не нами созданная, вполнѣ оправдываетъ такой образъ дѣйствій. Но совершенно непонятно почему несправедливость и обманъ въ одномъ случаѣ (относительно чужихъ) нетолько дозволительны, но даже составляютъ заслугу, въ другомъ же случаѣ (въ отношеніи къ своему народу) недозволительны? На самомъ дѣлѣ на этомъ и не останавливаются, ибо въ дѣйствительности мы видимъ обыкновенно слѣдующее явленіе: тѣ сословія и классы общества, которые преимущественнымъ своимъ призваніемъ считаютъ—заботиться о благѣ своего народа и служить интересамъ національнымъ, обыкновенно расходятся въ пониманіи народнаго блага и способовъ къ осуществленію его, такъ что изъ среды этихъ классовъ образуются различные партіи и кружки, большую частію столь же враждебно относящіеся другъ къ другу, какъ и тѣ народы, изъ которыхъ одинъ старается основать свое благополучіе на порабощеніи другаго. Между тѣмъ фактъ для всякаго очевидный,—что и тѣ самые, которые наиболѣе стараній прилагаютъ къ созданію подобнаго порядка вещей, не только предъ другими, но и предъ собою, не захотятъ откро-

венно признаться въ томъ что въ сущности собственные ихъ интересы, интересы ихъ ограниченного кружка, для нихъ ближе и важнѣе всего, ибо всякия личныя притязанія, радости и печали, обыкновенно прикрываются настолько же громкими, насколько лживыми рѣчами объ общемъ благѣ. Да и представители народныхъ интересовъ, если и считаютъ обманъ и несправедливость вполнѣ дозволительными средствами для достиженія своихъ цѣлей, никогда однако не заявляютъ этого открыто, но стараются прикрыть свои замыслы самими лучшими намѣреніями. А это показываетъ что въ душѣ каждого присутствуетъ хотя бы смутное, хотя бы подавленное сознаніе того, что существуютъ требованія высшей правды, предъ которыми не только должны умолкнуть личныя желанія, но и несравненно болѣе важные по своимъ размѣрамъ корыстные расчеты въ значительной степени утрачиваютъ свою силу.

V.

До сихъ порь мы крѣпко держались практической почвы; теперь мы видимъ что на этой почвѣ, какъ бы въ захолдованномъ кругѣ, нѣть выхода. Указаніемъ на этотъ выходъ служатъ для насъ упомянутыя выше требованія высшей правды, которая смутно чувствуются даже людьми нежелающими покидать практическую почву. Жизненный опытъ самъ по себѣ до такой степени поглощенъ заботами чисто материальнаго характера, что и самую науку вовлекаетъ (какъ мы видѣли) въ кругъ этихъ заботъ, а потому недостаточенъ для того чтобы привести насъ къ познанію моральныхъ истинъ. Итакъ мы снова должны обратиться къ разуму. (Мы конечно только въ теоріи, для ясности дѣла, допускаемъ раздѣленіе разума отъ жизненнаго опыта).

Выше было замѣчено, что разумъ въ древности не научилъ любви къ человѣчеству. Дѣйствительно, если въ самомъ разумѣ, подобно древнимъ мудрецамъ, мы будемъ по-

лагать высшее руководящее начало жизни, то это можетъ повести, какъ и дѣйствительно приводило, лишь къ горделивому превозношенню тѣхъ, которые считаютъ себя болѣе разумными и обладающими болѣе мудростю сравнительно съ другими. Но небудучи источникомъ, разумъ однозначно есть необходимый органъ для усвоенія высшихъ божественныхъ истинъ, отъ которыхъ зависитъ устойчивость и совершенство жизни. Мы видѣли что и тѣ, которые ограничиваютъ задачи жизни сферою материальныхъ интересовъ, придаютъ важное жизненное значение наукѣ. Конечно, достоинство науки для нихъ измѣряется, главнымъ образомъ, тою пользою, которую она приноситъ или которой можно отъ нея ожидать для жизни. Но и помимо этого указываютъ однако же на то, что научное образованіе освобождается отъ предразсудковъ и суевѣрій, а это значитъ что наука сообщаетъ намъ истинныя понятія и представлениія о природѣ и свойствахъ вещей. Истины, раскрывающія существующее устройство вещей, свойства ихъ и отношенія, такъ называемые законы, сообщаются намъ естествознаніемъ. Но этого рода истины не суть единственныя, отъ которыхъ зависитъ и счастіе и достоинство человѣка. Послѣднее, т. е. достоинство человѣка, несравненно въ большей мѣрѣ зависитъ отъ истинъ иного порядка. Это тѣ истины, которые раскрываютъ человѣку высшее его существо и предназначение и которые должны быть душою всѣхъ его помысловъ и дѣяній. Разумѣемъ истины моральныя. Перваго рода истины имѣютъ своимъ предметомъ область физической необходимости, и потому таковымы истинамъ свойственъ характеръ фактической достовѣрности; онѣ имѣютъ реальное значеніе, будучи выраженіемъ того что есть. Но кроме физической необходимости, есть еще, какъ мы видѣли, область необходимости моральной; истины относящіяся къ этой области имѣютъ значение не реальное, а идеальное, ибо въ нихъ заключаются нормы нашей дѣятельности. всякая истина, въ отличіе отъ произвольныхъ измышленій и фантазій,

должна имѣть *объективное* значеніе. Для истинъ теоретическихъ, или точнѣе реальныхъ, объектами служать вообще явленія, условія и отношенія познаваемой нами дѣйствительности. И для истинъ моральныхъ также долженъ быть соответствующей объектъ. Истина вообще состоить въ соответствии представлений съ его объектомъ. Поэтому и моральные истины должны быть выражениемъ своего объекта. Въ чём же состоится этотъ объектъ? Такой объектъ не заключается во внѣшней дѣйствительности, въ природѣ физической, а равно и въ отношеніяхъ нашихъ къ ней, ибо хотя истины, относящіяся къ этой дѣйствительности, научаютъ насъ подчиняться физической необходимости и сообразоваться съ нею, но мы однакоже не можемъ имѣть уваженія къ этой необходимости и желаемъ господства надъ нею, между тѣмъ какъ предъ необходимостю, заключающейся въ моральныхъ истинахъ, преклоняемся безусловно. Не ясно ли это показываетъ что и объектомъ этихъ истинъ должно быть вѣчно бѣзконечно высшее, превосходящее не только внѣшнюю природу, но и все человѣческое, такъ какъ безусловно совершенного, предъ чѣмъ человѣкъ преклонился бы съ сознаніемъ своего ничтожества, онъ не имѣть въ себѣ ничего. Такой объектъ моральныхъ истинъ можетъ заключаться лишь въ святѣйшей, высочайшей волѣ Божией. Непреложный и безусловный авторитетъ нравственныхъ истинъ для насъ поконится единственно на твердой уверенности въ томъ что эти истины не что иное какъ выражение высочайшей воли Божией. Потому-то и совѣсть, или такъ называемое нравственное чувство, по справедливости можно призвать голосомъ Божіимъ въ душѣ человѣка. Понятно, почему для усвоенія этихъ истинъ нуженъ умъ *полненный въ послушаніе вѣры*; необходима покорность, преданность этимъ истинамъ, ибо безъ того не возможно проникновеніе ими всей души, не возможно такое ихъ усвоеніе, чтобы они имѣли для насъ дѣйствительное практическое значеніе, т. е. были мотивами какъ внутреннихъ движений души, такъ и внѣшнихъ поступковъ.

Если справедливо, что нашъ народъ усвоилъ и неизменно хранилъ въ своемъ духѣ эту высшую правду, которая заключается въ Евангельскомъ учениі о любви и вообще въ христіанской религії, (а можно ли въ этомъ сомнѣваться?), то безспорно правы славянофилы, полагая что именно въ этой правдѣ заключается глубочайший корень народной жизни, и Ф. М. Достоевскій выразилъ глубокую истину, сказавши что „нашъ народъ просвѣтился уже давно, принявъ въ свою суть Христа и учение Его“. Скажутъ: христіанство не составляетъ исключительной принадлежности нашего народа; и другие европейскіе народы исповѣдуютъ въ сущности ту же христіанскую религію. Но можно ли утверждать, покрайней мѣрѣ въ такой же степени, и о другихъ народахъ что они восприняли въ свою суть христіанскую вѣру, можно ли утверждать что эта религія соединилась и какъ бы слилась съ духомъ этихъ народовъ? Извѣстно что исторія европейскихъ народовъ начинается съ завоеваній и порабощенія одиныхъ народностей другими. Вследствіе этого духъ властолюбія, страсть къ господству, преобладанію является болѣе или менѣе прирожденною, органическою чертою этихъ народовъ,—до того что и сама церковь западная въ самомъ началѣ прониклась и всегда по томъ отличалась тѣмъ же духомъ. Въ какой степени несроденъ этому духу духъ христіанской религії,—объ этомъ нѣть нужды говорить, а потому и неудивительно что христіанство всегда было и теперь является у западныхъ народовъ нестолько внутреннею пружиною жизни, сколько чисто внѣшнимъ придаткомъ, декорумомъ общественного быта. Доказательствомъ этого можетъ служить хотя бы то что жизнь западныхъ народовъ создала типъ *тартифа*, совершенно чуждый и непонятный для насъ; іезуитизмъ также могъ возникнуть и процвѣтать ~~одинаково~~ только на почвѣ западной религіозности, чистоты вѣры и дисциплины. Апачи изнаночнѣ отдаются своею рабою и склоняются къ извѣстному французскому глубокому

проникли въ характеръ этого народа властолюбивые и хищнические инстинкты. Наконецъ о чёмъ иномъ свидѣтельствуетъ вся политика европейскихъ народовъ? Не обнаруживаются ли въ европейской дипломатіи съ особенною яркостью какъ отличительныя ея свойства: лицемѣріе или двоедушіе, стремленіе къ преобладанію и корыстолюбіе? При этомъ никакъ нельзя считать эти свойства принадлежностю лишь представителей власти, ибо повсюду, гдѣ только укажетъ руководящій интересъ, является у нихъ множество пособниковъ, съ замѣчательною ревностію готовыхъ содѣйствовать дальневиднымъ планамъ своихъ руководителей...

Изъ предъицшаго видно что съ одной стороны познавательная, а съ другой—практическая дѣятельность, *познаніе* и *дѣйствие*—первое какъ обнаружение ума, послѣднее какъ проявление воли—составляютъ область свободы, противоположной необходимости. Отсюда—двѣ главныя цѣли, въ осуществлениі которыхъ мы обнаруживаемъ свою свободу, а соотвѣтственно этому возможно также двоякое направление и въ развитії свободы. Или мы стремимся къ познанію истины, или же имѣемъ въ виду осуществить какое либо благо. Конечно оба эти направленія свободной дѣятельности не только непреключаются одно другимъ, напротивъ то и другое одинаково необходимы и взаимно восполняются. Но дѣло въ томъ что или тотъ или другой интересъ является обыкновенно господствующимъ, и отъ этого главнымъ образомъ зависитъ моральный характеръ, достоинство личныхъ и общественныхъ стремленій. Кому представляется главнымъ и важнѣйшимъ жизненнымъ интересомъ осуществленіе какого либо блага, т. е. того что въ какомъ либо отношеніи кажется выгоднымъ, полезнымъ, и для кого такимъ образомъ полезность служитъ единственнымъ мѣриломъ при обсужденіи жизненныхъ явленій, для того и самая истина, составляющая цѣль умственной дѣятельности, имѣть важность не сама по себѣ, а по своему

практическому значенію. Наоборотъ, въ комъ стремлениѣ, любовь къ истиинѣ составляетъ преобладающій интересъ духа, для того всего важнѣе чтобы то что считается выгоднымъ, полезнымъ, по крайней мѣрѣ не противорѣчило истиинѣ, тотъ не просто будетъ искать удовлетворенія своихъ желаній и общественныхъ нуждъ, но только такого удовлетворенія, которое было бы сообразно съ требованіями истины, ибо для такого человѣка не польза а истина прежде всего. Одни хотятъ, чтобы и сама истина была полезна, и только такого рода истины цѣнятъ, другие же требуютъ чтобы и польза была истинною, а не мнимою.

Если имѣть въ виду исключительно благо какъ цѣль и предметъ нашей воли, то легко можно прийти и дѣйствительно приходить къ отрицанію свободы умственной, ибо познаніе съ этой точки зрѣнія теряетъ самостоятельное значеніе и обращается въ средство къ достижению практическихъ цѣлей. Какъ принципъ практической дѣятельности, понятіе блага, принимаемое въ смыслѣ наиболѣе широкомъ, указываетъ высшую цѣль этой дѣятельности, какъ мы видѣли, въ благосостояніи цѣлаго обширнаго общества. Достоинство и значеніе всякаго стремленія съ этой точки зрѣнія опредѣляется тѣмъ, въ какой мѣрѣ способствуетъ оно общему благосостоянію. Науки также должны служить этой цѣли. Чтобы наука была плодотворною, для того, говорятъ, она должна постоянно имѣть въ виду запросы жизни, потребности даннаго состоянія общества. Только при этомъ условіи она не будетъ мертвою, сухою, сколастикою. Но стоитъ лишь признать самостоятельность и независимость умственныхъ интересовъ, а для этого не полагать никакой иной цѣли для умственной дѣятельности кромѣ познанія.—и мы легко можемъ убѣдиться, что даже общее благо, при этомъ условіи, наилучшимъ образомъ обеспечивается.

Несомнѣнно что готовность частныхъ лицъ на всякия жертвы есть не только лучшій, но и единственный путь

къ осуществлению общаго блага. Но ничто въ такой мѣрѣ не дѣлаетъ человѣка способнымъ на самопожертвованіе какъ любовь къ истинѣ. Исторія представляетъ цѣлый рядъ мужей, которые всѣмъ жертвовали—стремясь къ открытію истины, и которые, чтобы остатся вѣрными открытой и признанной истинѣ, не щадили самой жизни. Выше было замѣчено что религіозная вѣра не только не проникла глубоко въ различные общественные классы западныхъ народовъ, напротивъ нерѣдко выраждалась въ лживую и бездушную личину наружнаго благочестія, подъ которою скрывались грубые пороки и страсти. Но только сильное развитие чисто умственныхъ или научныхъ интересовъ спасало при этомъ лучшіе умы отъ двоедушія и давало имъ возможность вырабатывать крѣпкія и искреннія убѣжденія и самую вѣру сохранять отъ искаженія. Давно известно что знаменитѣйшіе ученые отличались искреннею и глубокою религіозностію. Еще болѣе поразительный примѣръ благотворнаго вліянія чисто умственныхъ интересовъ представляютъ тѣ знаменитые мужи древности, которые во времена всеобщей нравственной испорченности, когда господствовали грубѣйшія суевѣрія и сама религія не очищала отъ пороковъ, а скорѣе покровительствовала имъ, отличались великими качествами ума и характера.—Коль скоро любовь къ истинѣ настолько развита что дѣлается вполнѣ утвержденшимся свойствомъ и настроениемъ ума, тогда это свойство изъ сферы чисто умственныхъ или теоретическихъ интересовъ переходитъ вообще въ жизнь человѣка, становится свойствомъ его личности, характера, выражаясь вообще какъ любовь къ правдѣ. А что сама по себѣ эта черта способна возвысить достоинство всякой дѣятельности общественной и частной,—этого конечно никто не станетъ отрицать.

## VI.

До сихъ поръ мы имѣли въ виду разыяснить—въ чёмъ состоить необходимость, которую обыкновенно противополагаютъ свободѣ, и какъ проявляется свобода. Мы видѣли

что необходимость въ собственномъ смыслѣ, какъ противоположность свободы, состоить въ строго определенномъ и неизмѣнномъ дѣйствованіи силъ физической природы, независимомъ отъ нашей воли. всякая физическая причина дѣйствуетъ всегда известнымъ определеннымъ образомъ, и иначе не можетъ дѣйствовать нежели какъ дѣйствуетъ, а потому всегда известныя дѣйствія производить. Свобода же состоить въ двойственномъ характерѣ проявленій нашей воли, которая можетъ хотѣть, можетъ и не хотѣть одного и того же, а потому можетъ дѣйствовать такъ и иначе, противоположнымъ образомъ.—Но прежде всего намъ нужно знать, что мы должны дѣлать и чего не дѣлать, ибо какъ иначе мы могли бы хотѣть или не хотѣть, т. е. решаться дѣйствовать известнымъ образомъ. Безъ знанія что должно и чего не должно дѣлать, безъ правилъ, наша воля была бы во власти темныхъ и бессознательныхъ побуждений и следовательно не была бы свободна. Но и въ томъ что служитъ условіемъ для свободы воли уже проявляется свобода, именно въ признаніи нравственныхъ идей. Конечно, безусловное достоинство этихъ идей вынуждаетъ въ насъ признаніе ихъ обязательности, такъ что и тѣ которые поступаютъ не согласно съ этими идеями, стараются показать видъ, что они также вполнѣ признаютъ авторитетъ этихъ идей, тѣмъ не менѣе мы всегда сознаемъ въ себѣ возможность отрицанія этихъ идей. Во всякомъ случаѣ признаніе требованій нравственного закона есть свободное дѣйствіе разума; и также свободно мы можемъ хотѣть или нехотѣть того что признаемъ для себя обязательнымъ, т. е. свободно решаемся исполнять или неисполнять требуемое. Самое же осуществленіе нравственныхъ идей уже не есть исключительное дѣло свободы, но зависитъ также отъ условій натуральной необходимости. А потому вопросъ объ отношеніи свободы и необходимости получаетъ свое разрешеніе въ томъ какъ мы должны мыслить осуществленіе требованій

нравственного закона, какимъ образомъ оно можетъ быть дѣломъ свободы и необходимости?

По учению Канта каждое наше дѣйствіе и свободно и вмѣстѣ необходимо; свободно—по своему основанію, заключающемся въ такъ называемомъ сверхчувственномъ или умопостигаемомъ характерѣ человѣка; необходимо же какъ эмпирическое явленіе, стоящее въ ряду другихъ такихъ же явленій и соединенное съ ними по закону причинности. Насколько человѣкъ познаетъ себя, всѣ свои дѣйствія онъ полагаетъ въ ряду другихъ явленій такимъ образомъ, что каждое дѣйствіе является ему необходимымъ послѣдствіемъ цѣлаго ряда другихъ предшествующихъ ему явленій. Это происходитъ оттого что законъ причинности есть необходимая форма нашей мысли, посредствомъ которой мы объединяемъ данные явленія. Итакъ нисколько неудивительно что неѣть такого дѣйствія, относительно котораго нельзѧ было бы доказать, что оно произошло необходимо какъ послѣдствіе предшествующихъ ему условій. Не смотря на то мы убѣждены, что мы свободны, хотя свобода и непознается какъ причина нашихъ дѣйствій. Необходимо поэтому допустить что свобода есть скрытое, недоступное нашему познанію, но только предполагаемое нами, внутреннее основаніе нашихъ дѣйствій, которое потому именно и непознается, что неходитъ въ рядъ эмпирическихъ явленій, она есть основаніе сверхъопытное, лежащее виѣ границъ возможнаго для насъ познанія.

Можно ли согласиться съ такимъ разграничениемъ свободы и необходимости? Такъ какъ разграничение это у Канта въ сущности совпадаетъ съ раздѣленіемъ такъ называеми въ себѣ отъ явленій, то и первое представляетъ тѣ же трудности, съ какими соединено послѣднєе. На чёмъ будетъ держаться предположеніе, что вещи сами по себѣ иначе существуютъ нежели какъ мы ихъ познаемъ, воль скоро то какъ онѣ существуютъ въ себѣ для насъ совершенно неизвѣстно? Равнымъ образомъ если мы дѣйствія свои по

знаемъ какъ *необходимыя*, то въ такомъ случаѣ никакъ нельзя уже признать ихъ свободными. Или же въ самомъ дѣлѣ мы можемъ какъ либо удостовѣриться что вещи иначе существуютъ, нежели какъ мы ихъ познаемъ? Но тогда мы должны признать все наше познаніе лживымъ, обманчива-  
мъ.—Точно также стбить лишь допустить что мы только *представляемъ* наши дѣйствія какъ необходимыя, представ-  
ляемъ такъ единственно потому, что такова именно форма  
нашой познающей мысли, въ дѣйствительности же сами  
въ себѣ, дѣйствія наши свободны, а не необходимы, суть  
произведенія свободы, а не произведенія натуральной необ-  
ходимости; тогда такой образъ представленія нашихъ дѣй-  
ствій теряетъ всякое значение; мы должны признать его  
ложнымъ, несоответствующимъ дѣйствительности.

Итакъ, чтобы избѣгнуть подобной дилеммы, по которой  
или свободу, или необходимость приходится признать не-  
дѣйствительною, слѣдуетъ остановиться на томъ предполо-  
женіи, что свободу и необходимость не должно совершенно  
раздѣлять,—полагая одну въ другой; напротивъ необходимо  
признать, что та и другая находятся постоянно во вза-  
имодѣйствіи, и притомъ такъ что свобода подчиняетъ себѣ  
и преобразуетъ по своимъ цѣлямъ дѣйствія причинъ необ-  
ходимыхъ. Когда имѣется въ виду доказать что свобода не  
существуетъ, то постоянно ссылаются на то что воля все-  
гда опредѣляется къ дѣйствію независимымъ отъ нея побуж-  
деніемъ, исходящимъ изъ натуральныхъ необходимыхъ  
свойствъ человѣка. Параллельно этому указываютъ на то  
что дѣйствія, признаваемыя обыкновенно свободными, какъ  
о томъ свидѣтельствуетъ статистика, происходятъ изъ года  
въ годъ приблизительно въ одномъ и томъ же количествѣ,  
въ зависимости отъ извѣстныхъ непрерывно дѣйствующихъ  
и независимыхъ отъ воли человѣка причинъ. Но въ первомъ  
случаѣ забываютъ что не только натуральная побужденія  
дѣйствуютъ на волю, но и на оборотъ, мы по своей сво-  
бодной волѣ нерѣдко оказываемъ имъ сопротивленіе, и мо-

жемь направлять ихъ къ извѣстнымъ цѣлямъ, упорядочивать извѣстнымъ образомъ; темпераментъ конечно опредѣляетъ характеръ человѣка, но и воля также имѣеть значеніе въ образованіи его<sup>1</sup>). Подобнымъ же образомъ, въ послѣднемъ изъ указанныхъ случаевъ отрицанія свободы, безъ вниманія оставляется то, безъ чего и самая статистика теряетъ всякий смыслъ,—именно что человѣкъ имѣеть возможность измѣнять самыя причины, отъ которыхъ зависитъ процентное отношеніе исчисляемыхъ статистикою свободныхъ дѣйствій человѣка. Замѣчательное противорѣчіе. Тѣ самые люди, которые нехотятъ знать никакой иной цѣли для науки и вообще образованія, кроме достиженія наибольшаго господства человѣка надъ природою, и главное значение науки и славу нашего вѣка видятъ именно въ расширеніи человѣческаго могущества, въ тоже время смотрятъ на человѣка какъ на существо всесѣло подвластное натуральной необходимости. Повидимому изъ одной крайности мы впадаемъ теперь въ другую. Если свобода обнаруживается въ томъ что воля наша въ состояніи противиться натуральной необходимости и измѣнять ону, и если такая способность

<sup>1</sup>) Что же касается того соображенія, что въ случаѣ сопротивленія извѣстному побужденію происходит только борьба сильнѣшаго побужденія противъ слабѣшаго, то противъ этого должно замѣтить слѣдующее: если бы всакій разъ, какъ волѣ противится извѣстному побужденію, происходило лишь столкновеніе независимыхъ отъ воли побужденій, тогда человѣкъ бы не больше какъ безучастнѣй зрителемъ этой борьбы побужденій, совершенно пассивныи. Но дѣло въ томъ, что сверхъ натуральныхъ побужденій, безспорно дѣйствующихъ на волю, она руководится также идеями разума и имъ подчиняется, а подчиненіе этимъ идеямъ не дѣлаетъ нималѣшаго ущерба нашей свободѣ, напротивъ есть дѣло свободы. Всکое сомнѣніе въ настоящемъ случаѣ устраниется тѣмъ, что если даже натуральная склонность возводится въ принципъ и настойчиво проводится въ жизни, то каждый ясно видѣтъ разницу подобнаго образа дѣйствій отъ того, когда человѣкъ уступаетъ извѣстному побужденію по слабости воли Сѣдоват. не всегда сопротивленіе извѣстному побужденію означаетъ лишь столкновеніе различныхъ побужденій, но иногда также—противодѣйствіе самой воли руководимой свободно избранными правилами.

воли предполагается самимъ понятіемъ свободы, то необходимость такимъ образомъ перестаетъ быть необходимостю, и мы приходимъ къ отрицанію ея. Но мы уже видѣли, что человѣкъ можетъ господствовать надъ природою не иначе какъ повинуясь ей. Это именно значитъ, что законовъ природы человѣкъ измѣнить не въ состояніи, но онъ можетъ видопамѣнить и направлять различнымъ образомъ ихъ дѣйствующую силу. Природа есть царство необходимости, но необходимости *условной*, а не безусловной. Власть человѣка надъ природою въ томъ и состоитъ что онъ можетъ различнымъ образомъ измѣнить условія обнаруженія силъ природы. Если бы человѣкъ могъ измѣнить самые законы природы, тогда его власть надъ природою, а вмѣстѣ съ тѣмъ и свобода, были бы безграничны. По своему достоинству моральныя идеи, которыми руководствуется человѣкъ, безусловны, но осуществленіе ихъ въ мірѣ и жизни условно; ибо при осуществленіи идей свобода встрѣчается съ натуральными условіями, причемъ частію измѣняетъ ихъ, частію же подчиняется имъ и ограничивается ими. Говоря иначе, общее правило предписываетъ одно дѣлать, другого не дѣлать, но иначе примѣняется то же правило въ одномъ случаѣ, и иначе въ другомъ, и такимъ образомъ осуществленіе одного принципа является различнымъ въ зависимости отъ различныхъ условій. Вся история человѣчества есть не что иное какъ раскрытие постоянной борьбы человѣка съ натуральными силами. Съ древнейшаго времени эта борьба была направлена противъ натуральныхъ силъ дѣйствующихъ въ самомъ человѣкѣ. Человѣкъ сознавалъ себя свободнымъ и обнаруживалъ свою свободу преимущественно въ отношеніи къ своей тѣлесной природѣ. Ограничение и даже подавленіе слѣпыхъ влечений этой природы, торжество духа надъ чувственностью—таковъ былъ идеалъ, который требовалось осуществить въ жизни. И въ этомъ отношеніи мы имѣемъ достойные удивленія примѣры, завѣщанные въ особенности первыми вѣками христіанства.

на всѣ времена, какъ образцы показывающіе до какой вы-  
сокой степени силы можетъ достигать человѣческая воля  
опираясь на непоколебимую вѣру въ Бога. Что же касается  
виѣшней природы, то, по причинѣ недостаточнаго знанія  
законовъ этой природы, люди дѣйствительно были бессиль-  
ны противъ многихъ физическихъ бѣдствій и недостаточно  
пользовались ея силами для удовлетворенія жизненныхъ  
потребностей. Въ новое время измѣнилось направлѣніе дѣя-  
тельности человѣческой. Теперь человѣчество ведетъ борь-  
бу главнымъ образомъ съ виѣшнею природою, а такъ какъ  
орудіемъ этой борьбы является знаніе, наука, то и свобода  
теперь развивается и обнаруживается преимущественно въ  
сфера умственныхъ интересовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ едва ли  
не считается излишнимъ всякое противодѣйствіе слѣпымъ  
влеченіямъ и потребностямъ природы тѣлесной; ибо, благо-  
даря изученію природы, увеличиваются средства къ удов-  
летворенію этихъ потребностей, а это способствуетъ даже  
расширенію и усиленію и самыхъ потребностей. Воля не  
только ослабляется, приходитъ въ упадокъ, но даже совер-  
шенно отрицается ея свобода, а отрицаніе свободы можно  
сказать равно отрицанію самой воли; человѣкъ готовъ при-  
зовнать себя къ животнымъ. Въ то же время и умственная  
свобода, не будучи поддерживаема и уравновѣшиваема со-  
отвѣтственнымъ развитіемъ свободы воли въ дѣятельности  
нравственно практической, терпитъ существенный ущербъ и  
ограниченіе важнѣйшихъ ея интересовъ, такъ какъ умствен-  
ная дѣятельность обращается въ орудіе служенія материаль-  
нымъ интересамъ жизни, вместо того, чтобы быть орудіемъ  
самообразованія.

Итакъ отношеніе между свободою и необходимостію  
измѣняется безпрерывно. Область свободы можетъ различ-  
нымъ образомъ расширяться на счетъ необходимости нату-  
ральной. Свобода подлежитъ развитію. Граница между сво-  
бodoю и необходимостію никогда поэтому не можетъ быть

разъ на всегда опредѣленною. Но какъ далеко простирается эта неразграниченность свободы и необходимости?

Такъ какъ свобода подлежитъ развитію и потому что сначала является несвободнымъ, имѣть характеръ нату-  
ральной необходимости, затѣмъ входить въ область свободы и дѣлается свободнымъ,—то на этомъ основаніи возникло  
ученіе, что первоначально свобода не выдѣляется изъ все-  
общей материальной и слѣпой необходимости, и раздѣленія  
между духомъ и природою не существуетъ никакого; раздѣ-  
леніе это возникаетъ лишь впослѣдствіи; иначе говори, такъ  
какъ свобода развивается на почвѣ натуральной необходи-  
мости, то изъ нея же она и возникаетъ. Сама эта необхо-  
димость дѣлается свободною. Свобода состоить въ томъ,  
что мы можемъ воздѣйствовать на натуральную необходи-  
мость. Итакъ если необходимость сама дѣлается свободною,  
то это можетъ произойти только такъ что необходимость  
обращается на саму себя, или противъ самой себя. Примѣ-  
на на низшихъ степеняхъ своего существованія дѣйствуетъ въ  
одномъ направлениі, опредѣляемомъ причинною связью ея  
проявлений, но въ человѣкѣ она становится духомъ, дѣ-  
лается сознательною, т. е. является уже действующею не  
только на другое и въ отношеніи къ другому, какъ въ низ-  
шихъ существахъ, но и противъ самой себя, въ отношеніи  
себя.

Но такое воззрѣніе о превращеніи натуральной необ-  
ходимости въ свободное существо совершенно произвольно  
и лишено всякаго твердаго основанія. Почему спрашивается  
натуральная необходимость, повсюду оставаясь кѣрною се-  
бѣ, лишь въ человѣкѣ превращается въ свою противопо-  
ложность, въ отрицаніе себя? Человѣкъ развѣ не состоить  
изъ того же материала что и другія низшія существа, или  
его тѣлесная природа имѣть не тѣ же физическія свойства  
что и другія тѣла? Если въ ряду существъ природы можно  
прослѣдить постепенный переходъ отъ чисто натурального  
и несвободного существованія къ свободной и сознатель-

чай жизни въ человѣкѣ, то это еще не доказательство превращенія необходимости натуральной въ свободное дѣйствованіе, тѣмъ болѣе что означеный переходъ опредѣляется главнымъ образомъ на основаніи аналогій всегда болѣе или менѣе произвольныхъ; въ сущности же разстояніе между высшими степенями натурального существованія и проявленіями свободной разумной жизни такъ же велико и непреодолимо, какъ между тою же свободною жизнью и низшими степенами или формами бытія природы. Противодѣйствіе природнымъ влеченіямъ въ человѣкѣ понятно, если къ тѣлесной природѣ присоединяется начало способное ей противодѣйствовать и пользоваться ею. Говорить: „природа дѣйствуетъ безсознательно и потому натурально необходимое тоже что безсознательное: но и душа наша нерѣдко переходитъ въ состояніе безсознательное, и даже въ бодрственномъ состояніи мы дѣлаемъ многое безсознательно; почему же нельзя допустить обратнаго превращенія безсознательного въ сознательное, натурально необходимаго въ свободнодѣйствующее“? Но въ самомъ ли дѣлѣ происходитъ превращеніе сознательного въ безсознательное? Какъ происходитъ это предполагаемое превращеніе? Извѣстное тѣлесное движеніе (напр. когда кто учится владѣть какимъ либо музыкальнымъ инструментомъ) совершаются сначала свободно и сознательно, но это значитъ только что сознаніе сопутствуетъ извѣстному дѣйствію и воля направляетъ его къ извѣстной цѣли; въ своемъ же совершеніи, въ процессѣ своемъ, оно происходитъ по необходимымъ законамъ; далѣе, когда, вслѣдствіе многократнаго повторенія, извѣстное движеніе сдѣлалось привычнымъ, тогда оно уже совершается безсознательно и само собою, безъ прямаго и непрерывнаго участія воли; сознаніе и воля могутъ быть обращены при этомъ на другое; слѣдовательно ни сознаніе ни воля на самомъ дѣлѣ не превращаются въ иѣчто иное: измѣняются только предметы ихъ дѣятельности и формы ихъ проявленія. Когда говорятъ, что душа переходитъ въ без-

Наука и религія.

сознательное состояніе (во время сна), то значить ли это что она дѣлается натуральною силою дѣйствующею по законамъ необходимости? Нѣтъ, и тогда она не дѣлается чѣмъ либо инымъ, а только ослабляется ея дѣятельность, т. е. воздѣйствие на тѣлесную природу утрачиваетъ свою энергию. Во всякомъ случаѣ если превращеніе сознательного въ безсознательное, свободного въ натуральное можно предполагать съ нѣкоторымъ разсчетомъ придать этому предположенію извѣстную правдоподобность, то обратное превращеніе безсознательного и необходимаго въ свободное и сознательное можно только утверждать, но доказать подобное утвержденіе не возможно. Необходимое всегда остается необходимою, но оно можетъ быть подчинено цѣлямъ свободы въ нѣкоторой степени; и въ этомъ единственно, а не въ превращеніи безсознательного въ сознательное, состоить развитіе свободы.

---

## РЕЛИГІЯ И НРАВСТВЕННОСТЬ.

*Наука и религія, Б. Чичерина. 1879 г.—Даннія науки о нравственности, Герберта Спенсера, С.П.Б. 1880 г.*

Въ предъидущей статьѣ (о свободѣ и необходимости) было сказано, что объективное основаніе нравственныхъ истинъ должно заключаться въ высочайшей, святѣйшей волѣ Божіей, иначе таковыя истинны для нашей воли не имѣли бы никакого авторитета. Но быть можетъ слѣдуетъ согласиться съ Кантомъ, что воля наша, какъ разумъ практическій, имѣть силу не только исполнительную, но и законодательную, и свобода воли въ томъ именно состоитъ что когда она повинуется требованіямъ нравственного закона, то слѣдуетъ въ этомъ случаѣ не какому либо чуждому для нея закону, а своему собственному, который она сама себѣ даетъ; свобода по Канту есть не что иное какъ *автономія* (самозаконіе) воли. Почему же однако воля не всегда дѣйствуетъ въ согласіи съ нравственнымъ закономъ, напротивъ нерѣдко противится ему и нарушаетъ его требованія? Потому, отвѣчаетъ Кантъ, что чувственныя влечения также дѣйствуютъ на волю, ибо человѣкъ есть чувственное и вмѣстѣ сверхчувственное существо, а чувственные влечения, это такие мотивы нашихъ дѣйствій, которые во всякомъ случаѣ находятся въ нравственного закона и могутъ дѣйствовать только въ ущербъ этому закону, какъ и наоборотъ,—вельнія нравственного закона направлены именемъ къ обузданію этихъ мотивовъ. Что воля, вопреки собственному своему закону, подчиняется закону совершенно для нея чуждому (гетерономія), это не-

должно казаться удивительнымъ и непонятнымъ, таъ какъ иначе воля небыла бы свободна: хотя воля имѣетъ преимущественное расположение къ добру, однако это расположение не дѣйствуетъ неизрекодимо и неисключаетъ возможности противнаго. Такимъ образомъ чувственная природа человѣка предстаетъ его волѣ оставаться вѣрной самой себѣ и дѣйствовать всегда единственно въ силу принадлежащаго ей закона. Воля наша не настолько сильна чтобы сохранять всегда свою независимость отъ чуждаго ей закона чувственности; нелегко достается ей господство надъ чувственными влечениями. Но какимъ же образомъ можетъ имѣть безусловное дѣйствие нравственный законъ, если сама воля, дающая этотъ законъ, такъ слаба что не въ состояніи его исполнить? Не должна ли воля сама быть безусловною, обладать неограниченнымъ могуществомъ и величайшимъ достоинствомъ, чтобы предписываемый ею законъ могъ имѣть такое же достоинство? Итакъ если дѣйствительно воля предписываетъ нравственный законъ, то никакъ не наша слабая и ограниченная воля, но воля божественная, высо-чайшая. Само по себѣ существование въ душѣ человѣка нравственнаго закона приводить такимъ образомъ къ вѣрѣ въ бытіе верховнаго законодателя.

Но съ другой стороны что иное мы можемъ сказать объ этомъ законодателѣ, кроме того, что онъ долженъ быть существомъ совершенѣйшимъ, т. е. обладающимъ тѣми свойствами, о которыхъ мы можемъ составить иѣкоторое понятіе лишь на основаніи требованій нравственнаго закона? Говоря иначе, есть ли какая необходимость основывать нравственный законъ на волѣ такого существа, о которомъ мы можемъ имѣть иѣкоторое понятіе лишь на основаніи требованій этого закона? Не есть ли это логическій кругъ, такъ какъ нравственный законъ мы основываемъ на волѣ Божества, а понятіе о волѣ Божества составляемъ на основаніи нравственнаго закона? »Нравственные понятія, говорится въ одномъ философскомъ сочиненіи,—сами въ себѣ,

въ своемъ совершенствѣ, имѣютъ основаніе своего существованія и своего права на осуществленіе. Справедливость, любовь представляются намъ обязательными просто потому что та и другая суть нечто доброе. Производить ихъ отъ существа отличного отъ человѣка,—какъ бы ни назвать это существо—дѣло вдвойнѣ безполезное: авторитетъ нравственныхъ понятій отъ этого нимало неувеличится, и сверхъ того въ ковцѣ концовъ не пользуются ли самыми этими понятіями дабы составить идею этого существа, отъ котораго затѣмъ намѣреваются ихъ производить?» (*La Science positive et la metaphisique*, par Louis Liard. p. 416). Не есть ли въ самомъ дѣлѣ религіозное представление о Богѣ особая форма выражения нравственного сознанія человѣка, имѣющая и въ общей исторіи человѣчества, и въ жизни отдѣльного человѣка, только временное и переходящее, а не постоянное и необходимое значеніе? Для решенія этого вопроса необходимо конечно разсмотрѣть идею о Божествѣ, выяснить по возможности ея происхожденіе и значеніе.

## I.

Г. Чичеринъ изъ доказательствъ бытія Бога выводить и самое понятіе о Богѣ. И прежде всего на основаніи понятія бытія онъ устанавливаетъ самое общее и предварительное опредѣленіе о Богѣ, какъ существѣ безусловномъ. „Бытіе, говоритъ онъ, есть опредѣленіе общее мысли и виѣшнему миру(?); обѣ сферы заключаютъ въ себѣ бытіе относительное, которое предполагаетъ бытіе безусловное<sup>а</sup>. Безусловное очевидно понимается здѣсь какъ основаніе мышенія и виѣшняго міра, общее тому и другому и вмѣстѣ отличное отъ того и другаго. Выходя изъ понятія бытія онтологическое доказательство, по мнѣнію г. Чичерина, приходитъ лишь къ тому опредѣленію Божества что оно есть бытіе самосущее, безусловно необходимое, заключающее въ себѣ всякое бытіе, — какъ основа всего сущаго. „Изъ этого опредѣленія ничего нельзѧ вывести, говорить

г. Чичеринъ, кромъ понятія о Богѣ какъ единой,—вѣчной субстанціи, все изъ себя производящей,—понятія, которое съ такимъ глубокомысліемъ было развито Спинозою” (стр. 103). Дальшее опредѣленіе о Богѣ получается посредствомъ космологического доказательства. Доказательство это приводить насъ къ признанію бытія первой причины. Такою причиною, доказываетъ г. Чичеринъ, не можетъ быть матерія, а долженъ быть разумъ. А такъ какъ на ряду съ разумомъ нельзя же отрицать и существованіе матеріи, то является вопросъ о взаимодѣйствіи между разумомъ и матеріею; вопросъ этотъ разрѣшается доказательствомъ телевологическимъ. Абсолютное какъ цѣль мірообразовательного процесса есть духъ. Какъ должно при этомъ понимать духъ,—видно изъ слѣдующихъ словъ: „разумъ соединяясь съ матеріею,—является присущимъ самимъ вещамъ, изнутри дѣйствующею силою”. Итакъ понятіе о Богѣ, извлеченнное г. Чичеринымъ изъ доказательствъ бытія Бога, таково: Богъ есть существо безусловное, т. е. само по себѣ существующее и необходимое какъ основа всякаго бытія, а какъ причина онъ все изъ себя производить и дѣйствовать при этомъ разумно, т. е. цѣлесообразно. Понятіе это добыто единственно путемъ формально логическихъ операций, и потому собственно нравственныхъ мотивовъ въ немъ еще не видно. Г. Чичеринъ утверждаетъ что такъ назыв. нравственное доказательство бытія Б. есть только частное приложение послѣднихъ двухъ, т. е. космологического и телевологического. Но изъ космологического доказательства слѣдуетъ только то понятіе о Богѣ что Онъ есть первая причина міра, а изъ доказательства телевологического слѣдуетъ что, какъ причина разумная, онъ дѣйствуетъ цѣлесообразно. Можно ли признать такое понятіе о Богѣ полнымъ и достаточнымъ? Понятіе это, хотя бы оно и было необходимо для нашего разума, можетъ имѣть развѣтъ теоретическое, но не практическое значеніе: оно нимало не возвышается надъ пантегистскимъ воззрѣніемъ, которое Творца смысливать съ

тварью, и потому дѣлаеть невозможнымъ для человѣка собственное религиозное отношеніе къ нему. Впрочемъ и самъ г. Чичеринъ даеть понятію о Богѣ, выведенному имъ, смыслъ очевидно пантегистической, какъ это само по себѣ показываетъ уже приведенное выше опредѣленіе, что разумъ есть присущая вещамъ извнутри дѣйствующая сила. Не напрасно поэтому Кантъ признавалъ нравственное доказательство бытія Бога важнѣйшимъ и даже единствено возможнымъ. Богъ есть первая причина, дѣйствующая цѣлесообразно. Но къ чѣму именно направляется дѣятельность Божества, къ добру или злу? Въ мірѣ мы видимъ много зла. Но человѣкъ во вскомъ случаѣ расположень оказывать предпочтеніе добру, хотя бы онъ самъ и не всегда избиралъ доброе. Поэтому и Бога по необходимости онъ представляетъ какъ существо благое. Коль скоро же Богъ есть такое существо которое хочетъ только добра, и одно только доброе производить, то при такомъ понятіи о немъ уже невозможно представлять его существомъ безлично и безсознательно дѣйствующимъ, ибо дѣятельность, имѣющая нравственно свободный характеръ, можетъ быть свойственна только личности. Если же человѣкъ представляетъ Бога какъ существо благое, насколько онъ Самъ расположень къ добру, то незначитъ ли это въ самомъ дѣлѣ что человѣкъ въ представлѣніи Божества лишь олицетворяетъ свойственное ему расположение къ добру, и такимъ образомъ представлѣніе это не есть ли собственное наше созданіе?—Поводъ же къ созданію такого представлѣнія заключается въ слѣдующемъ. Говорятъ, что, по незнанію истинныхъ причинъ разнообразныхъ явлений природы, человѣкъ вначалѣ рассматриваетъ эти явленія по аналогіи съ собственными дѣйствіями, и такимъ образомъ приходитъ къ мысли о бытіи живыхъ существъ производящихъ эти явленія. Затѣмъ, когда достигнуто уже познаніе истинныхъ дѣятелей въ природѣ,—остается еще необъяснимымъ самое существование и устройство міра, и потому вѣрованіе во множество боговъ

замѣняется вѣрованіемъ въ единое, верховное существо, признаваемое виновникомъ, и правителемъ міра, которое онъ надѣляетъ всѣми совершенствами. Согласимся, что точно такимъ путемъ человѣкъ приходитъ къ представлению Божества. Упраздняется ли *вѣра въ бытіе Бога* такимъ объясненіемъ происхожденія въ насть идеи Бога?

Существовало иѣогда мнѣніе что наши представлениа вещей существующихъ виѣ насть, не что иное какъ отпечатки самихъ вещей въ вашей душѣ. Теперь мы уже не признаемъ воззрительныхъ представлений просто отображеніями вещей; на самомъ дѣлѣ они суть такие психические факты, данные лишь въ нашемъ сознаніи, которыѣ главнымъ образомъ условливаются природою нашей души, и однако, не смотря на субъективный характеръ происхожденія нашихъ представлений, мы, зная это, ни мало не сомнѣваемся въ объективной значимости этихъ представлений, необходимо вѣримъ въ независимое отъ нашего сознанія во внѣшнее для насть существованіе вещей. Вѣра эта не тоже что представлениа и есть актъ отличный отъ представляющей способности, тѣмъ менѣе необходимо соединяется съ ними, коль скоро представлениа *непроизвольны*. Такимъ образомъ хотя въ представлении вещей виѣ насть существующихъ ничего такого иѣть, чего нельзя было бы такъ или иначе вывести изъ субъективныхъ условій нашего сознанія, и на этомъ основаніи, какъ известно, Берклей отрицалъ бытіе материального міра,—однако же этимъ ни мало не исключается и неуничтожается вѣра наша въ бытіе вещей виѣ насть, ибо вѣра эта для насть необходима. Подобнымъ же образомъ мы можемъ сказать, что хотя бы представление о Богѣ и было созданіемъ нашего духа, однако этимъ нимало не исключается необходимость для насть вѣры въ бытіе Бога. И прежде всего какъ необходима для насть увѣренность въ бытіи вещей виѣ насть,—такъ необходимо для насть и представление о Богѣ, какъ причинъ всѣхъ вещей. Правда, представление о Богѣ не есть, говорятъ, теоретическая мысль,

служащая къ объясненію явлений, ибо въ такомъ объясненіи происхожденія въ человѣкѣ идеи о Богѣ „заключается то нелѣпое предположеніе, что въ тѣ первобытныя времена, къ которымъ должно быть относимо происхожденіе религіозныхъ представлений, человѣкъ былъ такимъ же абстрактнымъ теоретикомъ, каковы современные ученые. Современный ученый дѣйствительно нуждается въ разныхъ теоріяхъ и гипотезахъ для объясненія естественныхъ явлений, потому что для него эти явленія представляются чѣмъ то вѣнчаннымъ и чуждымъ. Но для древняго человѣка, какъ это несомнѣнно доказывается языкомъ и миѳологіей, естественныхъ явлений, въ нашемъ смыслѣ, совсѣмъ не существовало, слѣдовательно и объяснять было нечего; для него все существующее непосредственно являлось, какъ выраженіе и дѣйствіе существа или существъ одушевленныхъ; онъ не только говорилъ, но и мыслилъ миѳологически (по справедливому замѣчанію Штейнталя)... Давно уже наука отвергла тѣ объясненія, по которымъ общія и существенные явленія человѣческой жизни считались произведеніемъ сознательного соображенія и преднамѣренного умысла“.

(Кризисъ западной философіи, Вл. Соловьева, стр. 133 и д.). Противъ этихъ замѣчаній можно спросить: былъ ли древній человѣкъ существомъ мыслящимъ? Если мышленіе въ немъ совершенно отсутствовало, то можно ли признать такое существо человѣкомъ? Коль скоро же онъ былъ существомъ мыслящимъ, то и въ немъ безъ сомнѣнія дѣйствовали законы ума, законы мысли человѣческой, ибо законы эти такъ же неизмѣнны, какъ неизмѣняемъ въ существѣ своемъ духъ человѣческій, какъ неизмѣняемъ разумъ, слѣдовательно и вопросъ о причинѣ для него существовалъ, хотя конечно такой человѣкъ и не ставилъ ясно и сознательно этого вопроса. Вѣдь мысль съ присущими ей законами дѣйствуетъ не только сознательно и не только въ ученыхъ теоретикахъ, но и въ человѣкѣ живущемъ натурально, безъискусственную жизнью. Авторъ приведенныхъ выше замѣчаній говоритъ,

что для древняго человѣка естественныхъ явленій не существовало, и объяснять было нечего, но слѣдующія за тѣмъ его же слова: „для него все существующее являлось какъ дѣйствіе существъ одушевленныхъ“—вѣдь сами по себѣ уже предполагаютъ что древній человѣкъ въ личности этихъ представляемыхъ имъ одушевленныхъ существъ мыслилъ причину всего происходящаго и существующаго въ мірѣ; вѣдь различалъ же древній человѣкъ боговъ отъ ихъ дѣйствій, т. с. явленій дѣйствительности? Итакъ несомнѣнно что въ представлениіи Божества заключается сознательная или безсознательная, смутная или ясная мысль о причинѣ существованія вещей. Не должно ли признать поэтому что какъ съ представленіемъ вещей у насъ соединяется вѣра въ ихъ дѣйствительное существованіе виѣ нась, и этою вѣрою изглаживается для насъ непроизвольное возникновеніе въ нашемъ сознаніи самихъ представленій, такъ и съ представленіемъ Бога необходимо соединяется вѣра въ бытіе Его? Въ самомъ дѣлѣ допустимъ сомнѣніе относительно существованія вещей виѣ насть, основываясь на томъ, что мы знаемъ только представлениія данныхъ въ нашемъ сознаніи, а не самыя вещи; если бы только могли мы совершенно искренно проникнуться такимъ сомнѣніемъ, то неминуемымъ послѣдствіемъ этого было бы разстройство физического нашего существованія; во въ томъ-то и дѣло, что тѣлесныя наши потребности и разнообразныя отношенія и дѣйствія, имѣющія связь съ этими потребностями, дѣлаютъ для насъ невозможнымъ искреннее сомнѣніе въ бытіи материальнаго міра. А вѣра въ бытіе Бога не такое ли значеніе имѣетъ по отношению къ жизни духовной и къ нравственнымъ интересамъ этой жизни, какое въ отношеніи къ физическому нашему существованію несомнѣнно имѣетъ увѣренность въ бытіи вещей? И потому невѣріе или сомнѣніе относительно бытія Бога не должно ли также сопровождаться разстройствомъ нравственной жизни? Это было бы несомнѣнно такъ, если бы указанная параллель была вполнѣ вѣрною. Но по-

видимому этого нельзя утверждать. Действительно усумниться въ бытіи вещей мы не можемъ, и хотя Декартъ напгель необходимымъ доказывать существование вещей въ нась, однако несомнѣнно, что увѣренность наша въ бытіи виѣшняго мѣра сильнѣе всякихъ доказательствъ и едва ли въ нихъ нуждается Сомнѣніе же и даже положительное неувѣrie относительно бытія Бога не только возможно, но и дѣйствительно нерѣдко бываетъ. Поэтому вѣра въ бытіе Бога не имѣеть очевидно такой же необходимой связи съ представлениемъ Бога, какая несомнѣнно есть между вѣрою въ бытіе вещей и воззрительнымъ представлениемъ ихъ. Если бы, какъ это утверждается въ тагъ назыв. онтологическомъ доказательствѣ, бытіе Бога доказывалось самимъ понятіемъ о Богѣ какъ существѣ высочайшемъ, или иначе, съ понятіемъ о Богѣ соединялось для нась бытіе Бога какъ необходимый его признакъ, или свойство (подобно тому какъ въ понятія треугольника, по замѣчанію Декарта, данъ тотъ его признакъ что сумма угловъ его равна двумъ прямымъ), тогда для нась вѣра въ Бога была бы необходимостью, какъ необходима вѣра въ бытіе вещей. Но, какъ это утверждалъ Кантъ, изъ понятія о Богѣ, какъ существѣ необходимомъ, не слѣдуетъ необходимо что Богъ есть, существуетъ. Г. Чичеринъ говоритъ, что логически необходимое понятіе должно быть признано необходимымъ и въ дѣйствительности. Что это значитъ? То ли что необходимое понятіе необходимо? Но этого никто и не отвергаетъ: это простое тождесловіе. Вѣроятно г. Чичеринъ хотѣлъ сказать, что существо мыслимое какъ необходимое, поэтому самому должно признать дѣйствительнымъ. Всѣ тѣ, которые старались когда либо отстоять онтологическое доказательство бытія Бога, конечно имѣли въ виду указать на то что есть нѣкоторая логическая необходимость заключающаяся въ понятіи Бога. Но въ чёмъ состоить эта необходимость? Въ томъ что для нась необходимо мыслить первую причину, а также послѣднюю или конечную цѣль всего.

Правильно развитое рациональное понятие о Богѣ есть именно таково. Божество необходимо мыслить какъ первую и конечную причину всего, т. е. такую причину, отъ которой исходитъ и въ которой направляется все отъ нея зависимое. Но религиозная вѣра въ бытіе Бога, какъ уже замѣчено выше, означаетъ нечто большее чѣмъ это рациональное понятие, именно: религиозная вѣра необходимо предполагаетъ что Божество есть существо личное, открывающееся свободнымъ образомъ человѣку, независимо отъ естественного хода вещей,—такое существо, съ которымъ человѣкъ можетъ входить въ духовное общеніе Очевидно что означенное выше рациональное понятие само по себѣ далеко еще не даетъ такой вѣры, ибо если первая и конечная причина понимается какъ сила безличная, действующая по необходимымъ законамъ, безсознательная, то какое же нравственное общеніе возможно съ такою силой? Понимаемая такимъ образомъ первая причина можетъ быть не болѣе какъ только теоретическимъ понятіемъ, безъ яркаго и энергического воздействиія на жизнь человѣка, на его поведеніе. Итакъ если и есть въ понятіи Божества логическая необходимость и насколько оно необходимо,—можетъ быть предметомъ доказательства, то неслѣдуетъ такого логически необходимаго понятія о Богѣ смѣшивать съ религиозною вѣрою, въ которой оно составляетъ общечеловѣческій, наиболѣе общий и потому никакъ не характеристической элементъ. Слѣдоватъ доказываніе бытія Бога для религиозной вѣры въ Бога не имѣть значенія; въ самомъ дѣлѣ для вѣрующаго употребительныя доказательства бытія Б. могутъ служить подкрепленіемъ его вѣры, но тѣ же доказательства для невѣрующаго могутъ служить поддержаніемъ его невѣрия<sup>1)</sup>. Да и

<sup>1)</sup> Доказательства эти, какъ показалъ Кантъ, настолько слабы, что религиозная вѣра была бы слишкомъ непрочна если бы на нихъ только опиралась. Видѣ въ нихъ тѣ пути, которыми человѣкъ пришелъ къ идеѣ о Богѣ, невѣрующій можетъ поэтому отъ слабости и перѣштѣльности ихъ дѣлать заключеніе о непрочности и неосновательности самой идеи о Богѣ.

рациональное понятие, если и можетъ быть представлено какъ необходимое, то не слѣдуетъ забывать что это только необходимость логическая, имѣющая для нась силу только когда сознается нами, слѣд. свободно признаваемая нами, необходимость эта неисключаетъ ея отрицанія, тогда какъ мы не можемъ на самомъ дѣлѣ отрицать бытія вещей, слѣдовательно необходимость вѣры въ существованіе вещей отличается болѣе принудительностію сравнительно съ признаніемъ логического понятія о божествѣ. Это необходимость физико-психическая и потому не свободная.

При всемъ этомъ указанная выше аналогия между вѣрою въ существованіе вещей виѣ нась и вѣрою въ бытіе Бога въ существенномъ не подлежитъ сомнѣнію. Истинность этой аналогіи состоить въ томъ что вѣра въ Бога такое же значеніе имѣеть для нравственной нашей жизни какое по отношенію къ физическому нашему существованію, къ жизни тѣлесной, имѣеть увѣренность въ существованіи вещей виѣ нась. И если вѣра въ бытіе Бога не такъ необходима какъ увѣренность въ бытіи вещей, то это именно потому что вѣра въ Бога есть фактъ относящейся къ нравственной жизни человѣка, отличающейся своимъ свободнымъ характеромъ, ибо свобода составляетъ условіе возможности этой жизни. Вѣра въ Бога не есть для нась необходимость въ томъ смыслѣ, что хотя она и является въ человѣкѣ невольно въ силу естественныхъ законовъ его духа, но, при дальнѣйшемъ развитіи его, вѣра эта свободно принимается, и человѣкъ утверждается тогда въ этой вѣрѣ, но также свободно можетъ быть и отвергаема. Въ другомъ же смыслѣ вѣра въ Бога точно необходима для нась. Она необходима какъ основаніе нравственной жизни человѣка. Она не такъ, а иначе необходима, нежели какъ необходима вѣра въ существованіе вещей, но столь же необходима по отношенію къ нравственному бытію человѣка, сколько эта послѣдняя необходима для бытія материального, тѣлеснаго. Необходимость для нась вѣры въ Бога есть моральная,—и этимъ вполнѣ опредѣляется значеніе

этой вѣры. Безъ нея правильная нравственная жизнь невозможна. Человѣкъ безъ этой вѣры можетъ жить только физико-психическою, натуральною жизнью, но не нравственою. Конечно, утрачивая живую вѣру въ Бога, человѣкъ не лишается чрезъ то высшихъ силъ духа, каковы умъ и воля, открывающіеся по преимуществу въ нравственно-общественной жизни человѣка, но эти силы обращаются въ орудіе служенія интересамъ материальнаго существованія человѣка. Само собою разумѣется что указанное здѣсь значеніе по отношенію къ нравственной жизни человѣка вѣра въ Бога имѣть только тогда, когда Богъ не только мыслится или представляется нами, но и ощущается какъ реальная дѣйствительность, ибо само по себѣ рациональное понятіе о Богѣ хотя и составляетъ необходимый элементъ въ религіозной вѣрѣ, такъ какъ въ ней участвуютъ равномѣрно всѣ силы человѣческаго духа, но, какъ показано выше, все же понятіе о Богѣ не есть еще вѣра, ибо и невѣрующій можетъ представлять Бога извѣстнымъ образомъ, имѣть объ Немъ такое или иное понятіе. Мысль о Богѣ только тогда можетъ быть дѣйствительною въ нашей жизни, если человѣкъ такъ проникается ею что она становится живою вѣрою не только въ дѣйствительность, но и въ откровеніе и общеніе съ нимъ Бога. Какъ совершается въ человѣкѣ возбужденіе этой живой дѣйственной вѣры, при сообщеніи ему мысли о Богѣ, извѣстнаго понятія о Немъ, это едва ли можетъ быть разъяснено вполнѣ; несомнѣнно только то что въ этой вѣрѣ заключается высочайшее благо человѣка, ибо она составляетъ необходимѣйшую опору нравственной жизни человѣка. Но точно ли религіозная вѣра имѣть для насъ такое значеніе? Почему человѣкъ не можетъ быть нравственнымъ и безъ религіозной вѣры? Развѣ мы не видимъ что не мало есть людей утратившихъ и даже прямо отрицающихъ всякую религіозную вѣру, и однако не лишенныхъ нравственного достоинства и въ этомъ отношеніи заслуживающихъ уваженія?

Дѣйствительно есть подобные примѣры, но не слѣдуетъ забывать, что пока религіозная вѣра со всѣми принадлежащими къ ней учрежденіями существуетъ въ обществахъ человѣческихъ, до тѣхъ поръ никто не можетъ быть совершенно свободнымъ отъ ея вліянія. Вліяніе это дѣйствуетъ помимо воли и сознанія человѣка, подъ этимъ вліяніемъ сложились обращающіяся въ общественной жизни понятія и привычки, которыхъ болѣе или менѣе усвоются и признаются каждымъ еще прежде чѣмъ сдѣлается возможнымъ сознательное отрицаніе вѣры. Итакъ хотя философы извѣстной школы давно уже озабочены тѣмъ, чтобы замѣнить религіозную нравственность нравственностью естественною, натуральною, но пока въ чистомъ видѣ примѣровъ подобной нравственности жизнь дѣйствительная еще не представляетъ; только некоторые черты, и при томъ въ самомъ крайнемъ своемъ выраженіи едва ли желательномъ для самыхъ философовъ натуралистовъ, предполагаемаго ими идеала нравственности дѣйствительно встрѣчаются. Въ своемъ же чистомъ видѣ такъ называемая натуральная нравственность существуетъ лишь въ теоріи; и для того чтобы видѣть какое значеніе имѣеть религіозная вѣра, и насколько человѣкъ безъ этой вѣры можетъ быть нравственнымъ существомъ ничего болѣе не остается какъ обратиться къ разсмотрѣнію натуралистической теоріи о нравственности; (принимая во вниманіе при этомъ конечно и тѣ послѣдствія, къ которымъ уже приводить въ дѣйствительной жизни подобная теорія хотя бы и вопреки ожиданіямъ самыхъ авторовъ подобныхъ теорій).

## II.

Извѣстно, что распространеніе протестантизма въ Европѣ и борьба его съ католичествомъ повсюду сопровождались кровавыми волненіями и возбудили особенно въ католическомъ мірѣ духъ самаго ожесточеннаго фанатизма,

къ которому, впрочемъ, сверхъ религіозныхъ разногласій и расприй, примѣшивались, особенно въ Англіи, и политические мотивы. Не удивительно если въ тѣ времена многимъ могло казаться что религіозная вѣра не только не способствуетъ смягченію нравовъ, напротивъ дѣлаетъ человѣка жестокимъ и потому безнравственнымъ, ибо поражаетъ фанатизмъ, который ослѣпляетъ человѣка до того что заставляетъ его поцирать всѣ нравственные законы. Припоминались при этомъ гонения, воздвигнутыя противъ христианства язычниками, при самомъ его появлениі, источникомъ которыхъ, казалось, также былъ религіозный фанатизмъ. Въ виду этихъ фактовъ изъ прошедшаго и тогдашняго настоящаго само собою являлось подобное разсужденіе: если приверженцы каждой религіозной секты, каждого вѣроисповѣданія считаютъ священнымъ своимъ долгомъ всѣми мѣрами принуждать другихъ къ принятію ихъ вѣрованій и подвергать жестокимъ преслѣдованіямъ въ случаѣ непринятія, то такая неразумная ревность по вѣрѣ есть слѣдствіе того ложнаго воззрѣнія, что виѣ известной системы вѣровавій нѣтъ для человѣка спасенія, что онъ обреченъ на погибель, есть жертва діавола и что слѣдоватъ по человѣколюбію надлежитъ спасать таковыхъ отъ погибели хотя бы вопреки ихъ собственной волѣ. Но стоитъ лишь убѣдиться что нравственное достоинство человѣка ни мало не зависитъ отъ принятія тѣхъ или иныхъ вѣрованій, что нравственные понятія и нравственная жизнь имѣютъ независимыя отъ религіозной вѣры натуральныя основанія, дабы само собою потеряло силу означенное выше неправильное воззрѣніе, порождающее фанатизмъ. Руководясь этамъ соображеніемъ англійскіе моралисты и деисты XVII столѣтія старались доказать что нравственные стремленія и понятія имѣютъ свой источникъ не въ религіозныхъ вѣрованіяхъ, а въ натуральныхъ свойствахъ человѣка, что поэтому нравственная жизнь не только независима отъ религіозной вѣры, но даже тѣмъ чище, чѣмъ свободнѣе отъ ре-

лигіозного впливія. А щоби оправдати такий поглядъ на нравственную жизнь, для этого предприняли построить теорію нравственныхъ понятій на натуральныхъ основаніяхъ, независимыхъ отъ религіозной вѣры, причемъ конечно по необходимости являлись разногласія въ опредѣлениі самихъ этихъ основаній. Справедливость требуетъ замѣтить, что религіозной вѣры при этомъ неотрицали, но выводя нравственные стремленія человѣка и нравств. понятія изъ натуральныхъ основаній, признавали однако онуу уже не основаніемъ, а только формою обнаруженія нравственныхъ понятій и стремленій человѣка, и потому старались свести все содержаніе религіозной вѣры къ нравственнымъ принципамъ, а какъ принципы эти полагались въ самой природѣ человѣка, то и основанную на ней вѣру религіозную признавали натуральною религіею, противополагая ее всѣмъ положительнымъ религіямъ и считая такую предполагаемую натуральную религію общечеловѣческимъ основаніемъ и сущностю всѣхъ положительныхъ религій (деизмъ). Впослѣдствіи же, именно французские философы—сенсуалисты и материалисты XVIII в.,—отбросили всякую мысль о Богѣ даже въ видѣ такъ называемой натуральной религії, или теологии, считая таковую мысль не только излишнею, но даже вредною для нравственной жизни человѣка; вмѣстѣ съ тѣмъ уже не обязанность, не долгъ (можетъ ли природа или человѣкъ человѣка нравственно обязывать?), а стремленіе къ счастію, эгоизмъ, самолюбіе признавали принципомъ практической дѣятельности человѣка.

И въ наше время еще слышатся толки о фанатизмѣ, будто бы неизбѣжно пораждаемомъ религіозною вѣрою. Но это уже не болѣе какъ отголоски старыхъ предразсудковъ, ибо достаточно мы имѣемъ фактovъ, свидѣтельствующихъ о томъ что и невѣrie также бываетъ фанатическимъ. И потому отрицательное направление въ отношеніи религії въ настоящее время заявляетъ себя не столько во имя гуманности, человѣколюбія, какъ прежде, сколько во имя науки, Наука и религія.

которая признаетъ авторитетнымъ для человѣка одинъ лишь голосъ натуры, но не голосъ совѣсти. Авторитетъ науки, не вообще науки, а лишь натуралистической, при чмъ подъ наукою разумѣются излюбленныя теоріи,—такъ великъ въ глазахъ просвѣщенныхъ людей нашего времени, что являются попытки создать научную систему нравственности,—причмъ такая система противопоставляется нравственности религіозной какъ пенаучной, т. е. основанной на суевѣріи и предразсудкахъ. Опытъ подобнаго рода *научной* системы нравственности представляетъ учение о нравственности Герберта Спенсера, изложенное имъ въ книгѣ: *Данныя науки о нравственности* (рус. пер. изд. редакціею журн. „Мысль“ въ 1880 г. въ С.П.Б.). Не менѣе характерною чертою этой системы нравственности садѣаетъ признать и то что самъ Г. Спенсеръ называетъ ее системою *промышленной нравственности*.

Г. Спенсеръ придаетъ важное значение названной своей книгѣ. По плану, предначертанному имъ самому себѣ, учение или изслѣдованіе о нравственности должно быть заключительной частію его философской системы. Но боязнь что онъ не въ состояніи будетъ выполнить программу своего труда, побудила его поспѣшить изложениемъ своихъ взглядовъ относительно основныхъ началь нравственности,—прежде нежели слѣдовало это сдѣлать по плану. Должно полагать что не одинъ научный, но вѣроятно и практическій интересъ этихъ взглядовъ побудилъ его съ такою поспѣшностью ихъ высказать; онъ конечно желалъ и желаетъ доставить этимъ взглядамъ торжество въ жизни, способствовать утвержденію въ обществѣ научной нравственности вместо религіозной. А потому конечно въ настоящемъ случаѣ не столько важенъ вопросъ о научной состоятельности тѣхъ гипотезъ, которыя служатъ основаніемъ предлагаемой системы нравственности, какъ вопросъ о практическихъ послѣдствіяхъ ея. Можно ли раздѣлять сть авторомъ системы питаемую имъ увѣренность въ томъ что господство ея въ

жизни должно осчастливить человѣчество<sup>1</sup>)? Не то важно, научная ли или ненаучная та система нравственности, которую отстаивает Г. Спенсеръ, о чемъ съ такимъ торжествомъ заявляетъ Спенсеръ; заслуживаетъ конечно вниманія и этотъ вопросъ, но гораздо важнѣе знать, насколько обеспечивается нравственное достоинство жизни этой системою? Можетъ ли она дѣйствительно въ большей степени морализовать общество сравнительно со всякою другою системою? Что же касается научнаго значенія системы, то вѣроятно научность ея слѣдуетъ видѣть въ томъ взглядѣ на природу и происхожденіе человѣка, который предполагается этой системою. По теоріи Спенсера истинное основаніе, по которому одни дѣйствія признаются добрыми, а другія дурными, заключается единственно въ томъ какъ относятся тѣ или другія дѣйствія къ собственному нашему благополучію, а также къ благополучію другихъ, способствуютъ ли, или же препятствуютъ достижению этой цѣли и чрезъ то причиняютъ ли удовольствие намъ, или страданіе. Тѣ дѣйствія мы признаемъ добрыми, послѣдствіемъ которыхъ является удовольствіе, а которыхъ причиняютъ страданіе называемъ дурными. Такимъ образомъ Г. Спенсеръ полагаетъ, что какъ моральные понятия, такъ равно стремленія и дѣйствія наши проис текаютъ изъ свойственныхъ нашей природѣ,—и не только нашей, но и природѣ всѣхъ живыхъ существъ, хотя и не въ равной степени развитія,— побужденій частію къ самосохраненію индивидуума, а частію къ продолженію рода, а также сохраненію общества, въ которомъ живемъ. Этими началами, полагаетъ Спенсеръ, обусловливается вся дѣятельность человѣка частная и общест-

<sup>1</sup>) Большой вредъ, говорить онъ, былъ сдѣланъ тѣмъ непривѣтствительными видомъ, который придавали правиламъ нравственности ея изыскатели, и безвѣрныхъ выгодъ можно ожидать отъ представлений нравственныхъ правилъ въ формѣ иллюзіи къ нимъ, когда они не искажены суевѣріемъ и аскетизмомъ (Предисл. стр. 11).

венная съ относящимися къ ней моральными понятіями и суждениами. „Поведение, къ которому мы примѣняемъ слово *хороший*, говоритъ Спенсеръ, есть относительно болѣе развитое поведение, а слово *дурной* мы примѣняемъ къ такому поведенію, которое относительно менѣе развито.—А въ чёмъ состоитъ большее и меньшее развитіе поведенія,—Спенсеръ такъ разъясняетъ: „развитіе, всегда стремящееся къ само-сохраненію,—достигаетъ своего предѣла тогда, когда инди-видуальная жизнь достигаетъ наибольшей величины какъ по продолжительности, такъ и по полнотѣ“. Соответственно этому „мы считаемъ хорошимъ поведеніе, содѣйствующее самосохраненію, и дурнымъ поведеніе, ведущее къ само-уничтоженію.... Но наряду съ этой способностью идеть возрастающая способность къ продолженію вида, и въ этомъ послѣднемъ направлениѣ развитіе достигаетъ своего предѣла тогда когда необходимое число потомковъ уцѣльваетъ до зрѣлости и подготовлено къ цѣльной жизни по ея полнотѣ и продолжительности... Наконецъ основаніе ассоціировав-шагося государства дѣлаетъ возможнымъ и требуетъ такой формы поведенія чтобы жизнь была полной для каждого и для его дѣтей, не только не мѣшай полнотѣ жизни другихъ, но и содѣйствуя этой полнотѣ“ (стр. 12-я). Итакъ существу-ютъ три цѣли: личное благосостояніе, поддержаніе вида и благосостояніе общества, среди которого живемъ, или иначе сохраненіе индивидуума, семьи и общества. И въ большемъ или меньшемъ приспособленіи дѣйствій къ этимъ цѣлямъ, при которомъ онѣ не мѣшали, напротивъ содѣйствовали бы одна другой, и состоять то что Спенсеръ называетъ *разви-тиемъ* поведенія. Руководящимъ мотивомъ при этомъ яв-ляется всегда желаніе наибольшаго счастія,—желаніе полу-чить наиболѣе удовольствій и избѣгнуть страданій. „Боль-шинство людей открыто или безмолвно признаетъ оконча-тельный опрощаніемъ сохраненія жизни только доставля-емый ею излишекъ пріятнаго чувства надъ чувствомъ стра-данія, а хорошими или дурными называютъ дѣйствія спо-

собствуючія или препятствуєчія життя, тільки основуваючись на цьому предположенні" (стр. 15-я). Для доказательства того, что таково дѣйствительно основное побужденіе, руководящее нашими дѣйствіями и суждѣніями о добромъ и дурномъ, Спенсеръ высказываетъ слѣд. соображеніе: если бы дѣйствія, причиняющія другимъ страданіе, которыхъ мы считаемъ поэтому дурными, были напротивъ пріятны тѣмъ, противъ кого совершаются, то конечно не стали бы тогда считать подобные дѣйствія преступными. „Предположимъ что раны и синяки причинили бы пріятное ощущеніе и влекли бы за собой возрастающую способность къ дѣятельности и наслажденію; стали бы мы смотрѣть на западенье такъ же какъ мы смотримъ на него теперь".... „Единственно потому мы называемъ подобные дѣйствія дурными что они причиняютъ страданіе непосредственное или отдаленное и мы не приписывали бы имъ этого свойства. если бы они доставляли удовольствіе" (стр. 16). Разбирая учение Аристотеля о добродѣтели, Спенсеръ находитъ что различные добродѣтели, перечисляемыя Аристотелемъ: мужество, кротость, щедрость, великодѣліе, умѣренность, дружелюбіе, правдивость, справедливость ничего не имѣютъ въ себѣ общаго, кроме свойственного всѣмъ имъ отношенія къ счастію. Поэтому онъ и имѣютъ цѣну какъ добродѣтели что одинаково ведутъ къ достиженню этой цѣли, т. е. счастія. „Ихъ соединяетъ (въ одинъ классъ или разрядъ добродѣтелей, т. е. дѣйствій заслуживающихъ одобренія) только общее отношеніе ихъ къ этому результату, тогда какъ по внутреннимъ свойствамъ ихъ нѣтъ между ними никакой связи" (стр. 19).

Итакъ по учению Спенсера есть три побужденія, которые должно признать основными свойствами нашей природы и которыми управляются всѣ наши дѣйствія. Таковы побужденія къ самосохраненію, къ сохраненію вида и наконецъ побужденіе къ поддержанію общества, среди которого мы живемъ. Побужденія эти какъ натуральные свойства

дѣйствуютъ въ насть необходимо. Но согласны ли между собою эти побуждения такъ, чтобы въ своихъ проявленіяхъ они непрепятствовали одно другому свободно развиваться? Конечно такого согласія нѣтъ: то одно, то другое побужденіе усиливается въ ущербъ остальнымъ. А такъ какъ всѣ названные побужденія одинаково необходимы, то ни одно не можетъ совершенно исчезнуть. Поэтому одно побужденіе можетъ съ успѣхомъ развиваться въ соотвѣтственномъ ему родѣ дѣйствій или поведенія (по выражению Спенсера) и находить такимъ образомъ удовлетвореніе себѣ только тогда если достигаетъ нѣкотораго приспособленія къ потребностямъ и дѣйствіямъ, которымъ условливаются другими побужденіями. Въ постепенномъ усовершеніи взаимной приспособленности взваленныхъ побужденій и состоитъ по Спенсеру задача вразумительности. Съ этой точки зренія одинаково должно признать несовершеннымъ, а потому заслуживающимъ порицанія, какъ то поведеніе въ которомъ преобладающимъ является эгоистическое побужденіе къ самосохраненію, такъ и поведеніе отличающееся господствомъ противоположныхъ склонностей дѣйствующихъ въ ущербъ самосохраненію. „Когда зреніе повреждено болѣзнью, проишедшей отъ неумѣренныхъ наслажденій, говоритъ Спенсеръ,—этотъ вредъ причисляется къ тѣмъ поврежденіямъ, которые производятся безнравственнымъ поведеніемъ, но если человѣкъ слѣпнетъ отъ того, что заставляетъ усиленно работать глаза вскорѣ послѣ офтальміи (воспаленія глазъ), не обращая вниманія на предостерегающей голосъ ощущеній, и этимъ не только дѣлаетъ несчастнымъ себѣ, но позваливаетъ обузу на плечи другихъ, то моралисты молчатъ. Переломъ ноги, случайно полученный пьяницей, причисляется къ тѣмъ несчастіямъ, которые пострадавшій наложилъ на себя и свое семейство неумѣренностью, и даетъ основаніе порицать его; но если забота объ исполненіи своего долга заставляетъ работать человѣка съ вывихнутымъ колѣннымъ суставомъ, не обращая вниманія на страданія,

съ которыми связана эта работа, и потому приводить къ хроническому увѣчью и связанной съ нимъ полною бездѣятельностію, болѣзnenностію безсиліемъ, тревогами и несчастіемъ, то полагаютъ что этика не можетъ высказывать своего приговора въ этомъ случаѣ. Студентъ не выдержавшій экзамена, вслѣдствіе того что вмѣсто занатій, онъ проводилъ свое время и тратилъ деньги на развлеченья, подвергается порицанію за то что сдѣлалъ несчастными своихъ родителей, да и себѣ приготовилъ опасную будущность; но тотъ который думалъ исключительно объ обязанности, проводилъ дни и ночи въ чтеніи книгъ, не обращая вниманія ни на жаръ въ головѣ, ни на головные боли, и затѣмъ разстроивъ свой организмъ, возвращается домой безъ диплома съ разбитымъ здоровьемъ и неспособный содержать себя, вызываетъ только выраженія сожалѣнія и неподвергается вовсе нравственнымъ порицаніямъ; напротивъ, сужденія о его нравственности окажутся даже благопріятными для него" (стр. 54). Если Спенсеръ находитъ, что человѣкъ разстрагивающій свои силы и подвергающій опасности свое здоровье и самую жизнь, по причинѣ чрезмѣрного усердія въ исполненіи своего долга, одинаково виновенъ и подлежитъ осужденію наравнѣ съ тѣмъ кто невоздержаніемъ и вообще дурными привычками и увлеченіями причиняетъ себѣ такой же вредъ, то это неизбѣжный выводъ изъ оснований его морали изложенныхъ выше. Коль скоро побужденія нашей природы въ самосохраненію, сохраненію своего рода и общества совершенно равноправны, ибо одинаково для насъ необходимы, то цѣльность нашей жизни, гармонія нашей природы въ равной мѣрѣ нарушается какъ тогда когда первое изъ названныхъ побужденій преобладаетъ, такъ и въ томъ случаѣ если преобладающимъ является другое или третье побужденіе въ ущербъ остальнымъ.—Какъ возвыщенна мораль, которая не видѣть, или по крайней мѣрѣ вынуждена не видѣть, существенной разницы въ нравственномъ достоинствѣ между человѣкомъ преданнымъ долгу до самоотверженія, хотя бы и вопреки

узкимъ расчетамъ благоразумія,—и человѣкомъ порочнымъ,—это само по себѣ ясно. Но спрашивается: вправѣ ли изрекать приговоръ, оправдывающій или порицающій, по отношенію къ какимъ бы то ни было дѣйствіямъ, моралистъ утверждающій что все поступки человѣка, все его поведеніе не что иное какъ необходимое послѣдствіе натуральныхъ свойствъ человѣка? Вѣдь въ сущности Г. Спенсеръ разсматриваетъ человѣческія дѣйствія, поступки не съ точки зре-  
нія моралиста, а съ точки зре-  
нія натуралиста. Недаромъ же Спенсеръ, изъясня человѣческое поведеніе въ различ-  
ныхъ отношеніяхъ, сопоставляетъ его съ поведеніемъ низ-  
шихъ животныхъ при чемъ подъ названіемъ поведенія ра-  
зумѣется совокупность вышнихъ движений и дѣйствій, на-  
правленныхъ къ удовлетворенію жизненныхъ потребностей организма. „Мы вступаемъ въ область поведенія, говоритъ онъ, когда начинаемъ изучать такія комбинаціи между дѣй-  
ствіями органовъ чувствъ и движения, которые проявляются ви-  
нѣніемъ образомъ“ (стр. 4-я) Различіе между поведеніемъ животного и поведеніемъ человѣка заключается единственно въ степени развитія, а большая степень развитія человѣче-  
скаго поведенія состоитъ въ большой приспособленности къ жизненнымъ цѣлямъ, опредѣляемымъ означенными выше потребностями или побужденіями нашей природы.—Поэтому задача науки о нравственности, какъ понимаетъ ее Г. Спен-  
серъ, не въ томъ чтобы опредѣлить *должное*, направляя всѣ усилия человѣка къ осуществленію этого должна и предо-  
стерегая отъ всего противнаго долгу. Въ наукѣ о нрав-  
ственности, которую хочетъ создать Г. Спенсеръ, нѣтъ мѣ-  
ста для идеи долга, обязанности, которая и въ жизни, по его мнѣнію, имѣть лишь временное значеніе. „Взглядъ, за-  
который я стою, говоритъ онъ, состоитъ въ томъ, что соб-  
ственно такъ называемая нравственность—наука о правиль-  
номъ поведеніи—имѣть своимъ предметомъ опредѣленіе какъ и почему известныя формы и способы поведенія—  
вредны, а другіе полезны. Дурные и хорошие результаты

поведенія не могутъ быть случайными, но должны быть необходимыми *следствіями устройства вещей*, и я признаю, что задача нравственной науки есть выводъ изъ законовъ жизни и условій существованія того какіе роды дѣйствія необходимо клонятся къ произведенію счастія и какіе къ произведенію несчастія". Стр. 32. И это понятно. Ибо что иное какъ не желаніе счастія является, по теоріи Спенсера, единственнымъ регулирующимъ началомъ въ столкновеніи и взаимодѣйствіи основныхъ побужденій нашей природы, а также въ приспособленіи дѣйствій къ цѣлямъ истекающимъ изъ этихъ побужденій? Само собою понятно что всѣ дѣйствія, клонящіяся къ удовлѣтворенію нашихъ потребностей, какъ содѣйствующія счастію, должны быть желательны, а всѣ дѣйствія препятствующія достиженію этой цѣли, по необходимости отвергаются. Имѣя въ виду эти необходимыя основанія нашего поведенія, мы можемъ сказать только, что вотъ это поведеніе менѣе, а такое-то другое поведеніе болѣе приспособлено къ достижению счастія, и потому одно болѣе, а другое менѣе развито. И дѣйствительно Герб. Спенсеръ, какъ мы видѣли, прямо говоритъ, что поведеніе, къ которому мы примѣняемъ слово *хорошій*, есть относительно болѣе развитое поведеніе, а слово *дурной* мы примѣняемъ къ такому поведенію, которое относительно менѣе развито. Ни для одобренія, ни для осужденія, при такомъ взглядѣ на человѣческое поведеніе, быть мѣста. Требуется лишь точное и беспристрастное констатированіе фактовъ и правильная логическая послѣдовательность выводовъ. Задача состоять въ томъ, чтобы опредѣлить и охарактеризовать различныя степени человѣческаго поведенія развивающагося по необходимому и общему для всей органической природы *закону эволюціи*. При этомъ само собою понятно, что высшая степень должна представляться по отношению къ низшей какъ идеаль, къ осуществленію котораго волею неволею направляется подборъ человѣческихъ дѣйствій. Итакъ посмотримъ какія степени различаетъ Спенсеръ въ постепенномъ

совершенствованиі человѣческаго поведенія въ какихъ чертахъ рисуется ему идеалъ будущаго счастія. Хотя Спенсеръ и говоритъ что „полное изъясненіе поведенія не можетъ быть достигнуто разсмотрѣніемъ поведенія однихъ только человѣческихъ существъ, ибо это послѣднее составляетъ только часть поведенія вообще, какъ совокупности дѣйствій приспособленныхъ къ цѣлямъ“ (стр. 3-я); но для насъ важно знать лишь то къ какимъ выводамъ пришелъ онъ относительно человѣческаго поведенія.

### III.

Такъ какъ въ природѣ нашей дѣйствуютъ и управляютъ нашими поступками три главныхъ побужденія,—къ самосохраненію, къ сохраненію вида и побужденіе къ общежитію, или сохраненію общества, то соответственно этимъ побужденіямъ Герб. Спенсеръ различаетъ и три вида человѣческаго поведенія. Развитіе поведенія состоить въ постепенномъ совершенствованіи способовъ и формъ удовлетворенія всѣхъ указанныхъ побужденій, при чмъ большее и лучшее приспособленіе къ цѣлямъ одного изъ указанныхъ видовъ поведенія содѣйствуетъ дальнѣйшему развитию другихъ. Такъ, что касается прежде всего побужденія къ самосохраненію, то у высшихъ расъ человѣчества, сравнительно съ низшими, мы находимъ и болѣе многочисленное и болѣе совершенное приспособленіе къ цѣлямъ этого побужденія. „Если мы разсмотримъ какую нибудь одну изъ достигнутыхъ высшихъ цѣлей, мы увидимъ большую сложность исполненія у цивилизованныхъ, чѣмъ у дикихъ народовъ; мы видимъ исполненіе сравнительно безчисленныхъ низшихъ цѣлей, служащихъ для высшей цѣли. Возьмемъ пищу: она приспособлена болѣе правильно для удовлетворенія аппетита; она выше качествомъ, свободна отъ нечистотъ, разнообразиѣ, лучше приготовлена. Тоже относительно согрѣванія. Стоитъ лишь вспомнить фабрики,

приготовляющія одѣжды и матеріалы для нихъ. Тоже и съ жилищами, если сравнить шалашъ дикаря съ домами цивилизованныхъ людей"... Развитіе дѣятельности въ этомъ направлениі имѣть своею конечною цѣлью—наибольшую продолжительность жизни и наибольшее ея расширеніе, т. е. разнообразіе по содержанію. „Оцѣнивая жизнь произведеніемъ изъ ея длины на ширину, мы должны сказать, что тѣ ея улучшенія, которыя сопровождаются развитіемъ поведенія, образуются путемъ увеличенія обоихъ факторовъ, т. е. и продолжительности жизни и количества жизненности“ (стр. 8-я). Важнѣйшій признакъ относительного совершенства жизни есть послѣдній: количество жизненности, т. е. разнообразіе дѣйствій. Основаніе этого признака заключается въ томъ что, по учению такъ назыв. эволюціонной теоріи (Дарвина) „при развитіи агрегата развивается не только вещества, составляющее его, но и движение этого вещества, переходящее отъ неопределеннаго несвязанаго однообразія къ определенному связанному разнообразію“. На этомъ основаніи Спенсеръ утверждаетъ что „поведеніе, которое мы называемъ нравственнымъ, отличается большей связностью составляющихъ его дѣйствій отъ поведенія, которое мы называемъ безнравственнымъ“. Подтвержденіе этого мнѣнія онъ находитъ въ томъ, что безнравственное поведеніе называютъ обыкновенно беспорядочнымъ, распущенными, между тѣмъ какъ точность и определенность во всѣхъ дѣлахъ составляетъ отличительный признакъ добросовѣстнаго человѣка; тоже самое видно изъ того что „одно изъ отличій поведенія, называемаго безнравственнымъ, есть крайность, тогда какъ умѣренность обыкновенно отличаетъ нравственное поведеніе“, откуда слѣдуетъ самъ собою тотъ выводъ, что „развитіе поведенія, рассматриваемаго съ нравственной стороны, стремится къ равновѣсію движений“: „у дикарей, какъ и у людей безнравственныхъ, ритмъ внѣшнихъ движений безпрестанно нарушается неправильностями и излишествами; и такъ какъ вслѣдствіе этого часто нарушается и ритмъ внут-

треннихъ движенийъ, то сокращается и продолжительность равновѣсія движений (стр. 38—41).

Но само собою понятно что такое состояніе жизни недостижимо было бы, если бы человѣкъ ограничивалъ свою дѣятельность потребностями индивидуального своего существованія. Поэтому рядомъ съ постепеннымъ приспособленіемъ дѣятельности къ цѣлямъ самосохраненія должно идти соотвѣтственное усовершеніе дѣятельностей направленныхъ къ сохраненію расы и общества человѣческаго.

Самосохраненіе, говоритъ Герб. Спенсеръ, въ каждомъ поколѣніи находится въ тѣсной зависимости отъ сохраненія дѣтеныша предшествующимъ поколѣніемъ. Поэтому поведеніе, которымъ обезпечивается сохраненіе расы, развивается наряду съ поведеніемъ поддерживающимъ самосохраненіе. Хотя это должно сказать обо всѣхъ низшихъ и высшихъ животныхъ, но человѣчество представляетъ великий прогрессъ въ этомъ отношеніи. „Сравнивая съ животными дикаря, мы найдемъ его выше и относительно поведенія сохраняющаго и относительно поведенія сохранившаго расу. Гораздо большее число потребностей ребенка удовлетворено, уходъ родителей продолжается дольше и состоитъ также въ передачѣ ему искусствъ и обычаяевъ, которые приспособляютъ его къ условіямъ существованія. Чтобы понять, какъ это сравнительно высокое состояніе поведенія, сохранившаго расу, развивается еще далѣе у цивилизованныхъ народовъ, достаточно упомянуть о современномъ воспитаніи со всѣми его приспособленіями: здѣсь уже цѣлая масса сложныхъ дѣйствій, приспособленныхъ къ сложнымъ цѣлямъ, стремится удовлетворить безчисленнымъ нуждамъ ребенка въ настоящемъ и будущемъ. При этомъ помочь и заботы о дѣтихъ продолжаются въ теченіи большей части ихъ жизни“.

Но приспособленіе къ цѣлямъ какъ самосохраненія, такъ и сохраненія расы „сопровождалось борьбой за существованіе, происходящей сразу и между членами того же

вида, и между членами различныхъ видовъ, такъ что по большей части успѣшное приспособленіе одного существа совпадаетъ съ неуспѣхомъ приспособленія другого того же рода или иного". Ибо многочисленныя существа всакихъ родовъ, населяющія землю, не могутъ жить вполнѣ отдельно другъ отъ друга, они всегда находятся болѣе или менѣе въ присутствіи другъ друга, сталкиваются другъ съ другомъ.

„Путемъ простаго противоположенія, говорить далѣе Г. Спенсеръ, можно отъ этой несовершенно развитой формы поведенія (которая сопровождается борьбою за существованіе) додуматься до высшей его формы. Созерцая эти приспособленія къ цѣлямъ, которымъ недостаетъ совершенства, потому что они не могутъ явиться такъ чтобы другіе не были устраниены отъ такихъ же дѣйствій, мы приходимъ къ мысли о такихъ цѣлесообразныхъ дѣйствіяхъ, которыхъ могли бы совершиться у однихъ безъ устраниенія другихъ отъ такихъ же дѣйствій. Такова высшая форма поведенія". „Столь совершенное приспособленіе дѣйствій къ цѣлямъ сохраненія индивидуальной жизни и воспитанія новыхъ индивидуумовъ, которое производится каждымъ безъ препятствія другимъ совершаютъ подобныя же приспособленія, является, по самому опредѣленію своему, такимъ родомъ поведенія, къ которому можно приблизиться только тогда, когда уменьшается и стихаетъ борьба". Но и это еще не окончательная форма усовершенствованной жизни. Недостаточно того чтобы одни другимъ не мѣшали въ достижениіи ихъ цѣлей, должно наконецъ посаждовать такое устройство общества чтобы члены его оказывали взаимную помощь въ достижениіи ими своихъ цѣлей. „А отсюда слѣдуетъ заключеніе что поведеніе достигаетъ этической санкціи въ пропорціи съ тѣмъ, насколько дѣятельности, все болѣе и болѣе теряя воинственность, становятся болѣе и болѣе промышленными, не принуждаются ко взаимному вреду или помѣхѣ, но состоять и будутъ развиваясь состоять въ кооперациіи и взаимной помощи" (стр. 8—11).

Такъ какъ, по теорії еволюції, путемъ постепеннааго приспособленія къ цѣлямъ существованія не только измѣняется характеръ и способы дѣйствій (поведеніе), но и самая организація живаго существа усовершается, то надобно полагать что вмѣстѣ съ достижениемъ означенной наивысшей формы общественной жизни измѣняются, конечно къ лучшему, и натуральныя свойства человѣка; самое достижение совершенной жизни конечно должно, по теоріи, быть въ зависимости отъ этого измѣненія природы человѣка, хотя также и наоборотъ наиболѣе устройство общежитія неминуемо будетъ способствовать, по крайней мѣрѣ, сохраненію и укрѣпленію пріобрѣтеныхъ человѣкомъ наиболѣе полезныхъ и содѣйствующихъ всеобщему счастью свойствъ. Что мѣшаетъ людямъ спокойно наслаждаться жизнью, когда они находятся въ дикомъ состояніи? Ничто другое какъ взаимная непримиримая вражда и истребительныя войны, которыя одно племя ведетъ съ другимъ. Но откуда эта вражда? Можно предположить что источникъ ея заключается въ господствѣ эгоистического побужденія къ самосохраненію надъ всѣми другими побужденіями. Такъ какъ однакоже продолжающійся непрерывно антагонизмъ является препятствиемъ для каждого къ обеспеченію даже собственного существованія, то прямой расчетъ требовалъ устроиться такимъ образомъ, чтобы не только никто не терпѣлъ ущерба своимъ интересамъ, напротивъ оказывали бы всѣ взаимное содѣйствіе другъ другу къ достижению общаго счастія. Такимъ образомъ, конечно съ крайне медленною постепенностью, должны ваконецъ благожелательныя склонности развиться въ людяхъ и сдѣлаться преобладающими, такъ что, въ противоположность первобытному состоянію человѣчества, въ которомъ господствовалъ и еще теперь господствуетъ у дикарей эгоизмъ, будущее идеальное состояніе должно таакъ понимать что тогда человѣкъ будетъ имѣть природу склонную болѣе оказывать, чѣмъ принимать услуги. Безспорно, утѣшительна такая перспектива, но къ сожалѣнію она иѣ-

сколько помрачается тѣмъ что собственно услугъ никому не придется оказывать никакихъ, ибо всѣ одинаково будутъ одушевлены желаніемъ служить другимъ, слѣдоват. никто не захочетъ ничего принимать отъ другихъ и пользоваться услугами другаго. Правда Спенсеръ въ этомъ именно и находитъ совершенство будущаго идеального счастія, которое его теорія нравственности сулитъ человѣчеству. Съ видимымъ удовольствиемъ онъ описываетъ это блаженное состояніе. „Поводы къ пожертвованію личныхъ выгодъ въ пользу другихъ, составляющему альтруизмъ въ ординарномъ пониманіи его, по мѣрѣ приближенія къ наивысшему состоянію, должны различными путями все болѣе и болѣе ограничиваться.—Обширныя требованія возлагаемыя на альтруиста предполагаютъ существованіе значительного несчастія. Для того чтобы стали возможными многочисленныя и значительныя требованія усилій со стороны однихъ въ пользу другихъ, должно существовать много такихъ индивидовъ, которые находятся въ условіяхъ требующихъ помощи,—въ сравнительно бѣдственныхъ условіяхъ. Но развитіе симпатіи къ ближнему можетъ совершаться лишь постольку быстро, на сколько происходитъ уменьшеніе бѣдствія (т. е. по мѣрѣ того какъ она менѣе нужна?). Симпатія можетъ достигнуть своей полной высоты только тогда, когда прекратится появленіе частыхъ поводовъ къ сколько нибудь серьезному самопожертвованію“ (стр. 154). Какую же цѣну можетъ имѣть въ такомъ случаѣ симпатія? Не должно ли признать страннымъ такой выводъ въ теоріи, которая основывается на предложеніи что всякое дѣйствіе и всякая склонность живаго существа условливается *необходимостію приспособленія къ условіямъ и цѣлямъ его существованія?* Какой смыслъ будетъ имѣть и чѣмъ можно оправдать господство благожелательныхъ склонностей въ обществѣ человѣческому въ томъ его состояніи, когда для этихъ склонностей будетъ наименѣе поводовъ къ ихъ примѣненію? Или быть можетъ за неимѣніемъ поводовъ къ „скольконибудь серьезному само-

пожертвованію<sup>4</sup> откроется иной способъ примѣненія названныхъ склонностей? Дѣйствительно, Г. Спенсеръ полагаетъ, что благожелательныя склонности найдутъ для себя выраженіе въ томъ что каждый не будетъ дозволить другому слишкомъ пренебрегать своими интересами. „Если бы кто нибудь порѣшилъ, говорить онъ, обойтись съ собою строже чѣмъ слѣдовало бы по указанію „безприсгастнаго зрителя“, стать отказываться отъ присвоенія себѣ должнаго, то другіе, принимая на себя заботу о немъ, когда онъ самъ не захочетъ заботиться о себѣ, по необходимости должны будутъ настаивать на томъ чтобы онъ взялъ ему принадлежащее“... „Знакомое намъ вынѣ отношеніе людей примѣтъ обратный видъ; вмѣсто того чтобы каждый поддерживалъ свои собственные требованія, другіе станутъ поддерживать его требованія за него—будутъ поддерживать конечно не при помощи актическихъ усилий (стало быть забота о другомъ ничего не будетъ стоять, говоря иначе, каждый будетъ охотно брать на себя роль благодѣтеля, такъ какъ эта роль будетъ слишкомъ легка), которыя будутъ излишни, но пассивнымъ сопротивленіемъ всякой ненадлежащей уступкѣ со стороны индивида<sup>4</sup>. Забота о ближнемъ превращается, такимъ образомъ, въ высокомѣрное отстраненіе отъ себя всякихъ услугъ со стороны другихъ.—Что это именно настроение подразумѣвается, видно изъ слѣдующаго за тѣмъ замѣчанія: „даже среди теперешнихъ людей у тѣхъ, для кого дѣлаются частыя пожертвованія, иногда возникаетъ чувство оскорблѣнія отъ предположенія, что они всегда готовы принимать пожертвованія“ (стр. 155). Но уже совершенно непонятно, какимъ образомъ при подобномъ настроении, которое должно охватить всѣхъ, возможно будетъ предлагаемое Спенсеромъ соревнованіе въ предоставленіи другъ другу случаевъ сдѣлать услугу кому либо и даже къ самопожертвованію. „Даже и теперь, говорить Спенсеръ, можно наблюдать уступки случаевъ къ самопожертвованію съ цѣллю предоставить такой случай другому“. Какое же

возможно самопожертвование тогда, когда каждый будетъ озабоченъ тѣмъ чтобы другой не вздумалъ оказать ему благодѣанія, когда каждый будетъ сопротивляться всяkimъ попыткамъ къ самопожертвованію? Крайне мудрено согласить все это; ясно только одно: по теоріи Спенсера въ будущемъ, наиболѣе совершенномъ состояніи человѣчества, симпатія будетъ выражаться въ соревнованіи о томъ чтобы заставить каждого быть эгоистомъ и ограничить, даже уничтожить, симпатическая склонности. Благожеланіе будетъ выражаться въ стремлениі къ самоограниченію и даже уничтоженію его. Конечно не въ себѣ, а въ другомъ каждый будетъ стараться ограничить благожелательные склонности, но также и самъ будетъ постоянно встрѣчать со стороны другихъ ограниченія тѣмъ же склонностямъ въ себѣ самому. Но не слѣдуетъ забывать, что, по теоріи, желаніе получить удовольствіе всегда было и будетъ единственнымъ руководителемъ нашихъ дѣйствій. Итакъ если благожелательные склонности сдѣлаются вѣкогда господствующими, то это конечно потому что въ нихъ именно каждый будетъ находить для себя наибольшій источникъ удовольствій, и слѣдоват. противодѣйствіе названнымъ склонностямъ будетъ очевидно препятствіемъ къ получению наиболѣе цѣнныхъ удовольствій. Ясно что изъ такого взаимнаго противодѣйствія къ получению удовольствій, безъ чего счастіе не возможно, должна возникнуть сильнѣйшая вражда, и миръ оказывается, такимъ образомъ, иллюзіею даже и при томъ состояніи жизни, которое, по мнѣнію Спенсера, должно привести съ собою совершенно мирное наслажденіе жизнію. И какъ же можетъ быть иначе, колѣ скоро человѣкъ долженъ остаться эгоистомъ (только утонченнымъ) и тогда, какъ, вмѣсто самолюбивыхъ, должны будутъ возобладать благожелательные склонности, ибо въ сущности это будетъ означать только перемѣну вкусовъ. Прежде люди находили удовольствіе въ томъ, чтобы преслѣдовать и истреблять другъ друга (такъ думаетъ Спенсеръ), впослѣдствіи же времени они будутъ на-  
Наука и религія.

ходить удовольствие въ томъ чтобы благодѣтельствовать другъ другу; какъ прежде каждый старался обеспечить себя противъ хищническихъ нападеній другаго, такъ впослѣдствіи каждый будетъ озабоченъ тѣмъ чтобы избѣгнуть всякихъ благожелательныхъ покушеній со стороны другихъ. И дѣйствительно, Спенсеръ прямо говоритъ: „этика должна признать, ужъ признанную въ неэтической сферѣ мысли истину, что эгоизмъ стоитъ *переди альтруизма* (т. е. самолюбие выше человѣколюбія). Если каждый не будетъ надлежащимъ образомъ заботиться о самомъ себѣ, то его заботы о всѣхъ другихъ окончатся смертію, и если каждый умретъ такимъ образомъ, то не останется другихъ о комъ должно заботиться“.— Спенсеръ увѣряетъ даже, что недостаточный эгоизмъ вредитъ счастію другихъ, и наоборотъ, заботясь о себѣ, человѣкъ чрезъ то увеличиваетъ общее счастіе. Руководясь этой мыслію, онъ даетъ намъ слѣдующій образъ счастливаго, или что тоже по Спенсеру,—совершенного человѣка: „Бодро вскакивая съ постели, послѣ непрерывавшагося сна, валивая или насвистывая во время одѣванія, выходя съ сияющимъ лицомъ, готовымъ засмѣяться по малѣшему поводу (*sic*), здоровый человѣкъ, съ сильными способностями, полный сознанія прошлыхъ успѣховъ, и вслѣдствіе своей энергіи, проворства, находчивости (*resourcse*), увѣренный въ будущемъ, приступаетъ къ своей дневной работѣ не съ отвращеніемъ, но съ радостію и т. д. (стр. 115). Спенсеръ полагаетъ даже что „обнаружениемъ своего полнаго счастія человѣкъ (заботящійся о себѣ) можетъ увеличить счастіе другихъ болѣе чѣмъ положительными усилиями сдѣлать для нихъ доброе дѣло“... „Всѣ всегда рады человѣку полному живости. Для жены у него всегда есть улыбки и шутливыя рѣчи; для дѣтей неистощимый запасъ смѣшнаго и всякихъ игръ; для друзей пріятная бесѣда“ (стр. 118). Мало того: отсутствіе эгоизма даже приноситъ вредъ,—порождаетъ эгоизмъ (!?!). Какимъ образомъ? очень просто. Доставляя другимъ удовольствія, мы чрезъ то под-

держиваемъ и развиваемъ въ пихъ эгоистическую склонность. „Въ настоящее время большинство мыслящихъ людей признаетъ деморализацию, причиняемую безразборчивою подачею милостыни“. А сколько вреда происходит для общества, по мнѣнію Спенсера, отъ того что некоторые, будучи слишкомъ преданы заботамъ о благѣ другихъ, разстраиваютъ свои силы и вымираютъ не оставивъ потомства (стр. 120)? Чичиковъ былъ правъ, что такъ бытъ озабоченъ тѣмъ какъ бы не умереть не оставивъ потомства.

Итакъ хотя Спенсеръ и утверждаетъ, что по закону эволюціи природа человѣческая безпрерывно измѣняется къ лучшему, и это утвержденіе составляетъ даже основаніе его теоріи, но по самой этой теоріи оказывается что человѣкъ на самомъ дѣлѣ на всегда долженъ остатися эгоистомъ, какимъ онъ былъ и въ первобытныя времена, по теоріи Спенсера выходитъ, что не природа человѣка измѣняется и усовершается, а измѣняются и усовершаются лишь формы и способы обнаруженія эгоизма; вместо грубаго и откровенаго эгоизму дѣлается болѣе и болѣе утонченнымъ и замаскированнымъ, или что тоже, болѣе приспособленнымъ къ условіямъ благоустроенаго общежитія. Если же природа человѣка навсегда должна остатися въ сущности тою же какою, по мнѣнію Спенсера, она была лишь въ первобытныя времена грубою,—то какое же основаніе имѣть Спенсеръ мечтать о томъ, что настанетъ когда-то безмятежное господство мира и спокойное наслажденіе достигнутымъ общимъ счастіемъ? Идеалъ Спенсера, представленный выше, не только бессиленъ упрочить миръ между людьми, напротивъ если бы дѣйствительно былъ принятъ въ значеніи цѣли, на осуществленіе которой надлежитъ употребить всѣ силы, оказался быгоднымъ лишь на то чтобы возбуждать и поддерживать въ обществѣ смуту и доводить людей до отчаянія. Конечно, по теоріи, человѣчество хотя медленно, но неизбѣжно должно придти къ осуществленію представленного выше совершеннаго состоянія. Но такъ какъ сча-

стіє есть не только единственная, но и необходимая цѣль жизни для каждого, и какъ полное счастіе невозможнo пока оно не сдѣлается общимъ состояніемъ всѣхъ, то не должно ли явиться желаніе во что бы ни стало приблизить человѣчество, хотя бы насильственно, къ желаемому совершенному состоянію? Ибо какое же утѣшеніе можетъ быть въ томъ что когда-то всѣ будуть счастливы, не естественно ли желать и домогаться чтобы уже теперь счастіе было общимъ удѣломъ всѣхъ? И это тѣмъ болѣе что ничто не можетъ препятствовать употребленію *всякихъ* средствъ къ достижению этой цѣли для тѣхъ, кто захотѣлъ бы серьозно держаться теоріи Спенсера: никакого долга, никакихъ обязанностей непризнаетъ эта теорія за исключеніемъ лишь одной обязанности—искать счастія. „Нравственный человѣкъ, говоритъ Спенсеръ, есть такой, всѣ функціи котораго, столь многочисленныя и разнообразныя, совершаются въ тѣхъ размѣрахъ, которые надлежащимъ образомъ приспособлены къ условіямъ существованія“ (стр. 43). А надлежащимъ образомъ приспособлены будуть они лишь когда будетъ достигнуто совершенное состояніе жизни. Итакъ не только никакой задержки не представляетъ теорія Спенсера, напротивъ побуждаегъ усиленно стремиться къ тому чтобы осчастливить человѣчество, хотя бы даже насильственнымъ образомъ. Но конечно развѣ недальновидные и мелкие умы готовы были бы пойти по этому пути. Ибо по основному предположенію системы только законъ подбора или такъ назыв. эволюціи приведеть человѣчество къ совершеаному состоянію жизни. Теперь же по необходимости жизнь должна быть несовершенною и бѣдственною. Но можно ли ею довольствоваться въ такомъ случаѣ, можетъ ли быть она желательна и слѣдуетъ ли заботиться о продолженіи ее? И вотъ мы имѣемъ пессимизмъ, недовольство жизнью и при томъ безъ всякой метафизической основы. Теорія нравственности, полагающая идеалъ жизни въ счастіи, неизбѣжно ведеть либо къ необузданной погонѣ за удовольствіями и bla-

гами жизни, при чём никакими средствами непренебрегаютъ, либо къ пессимизму. Что первое есть прямое отрицаніе всякой нравственности, нѣть нужды говорить; во и пессимизмъ безъ всякой метафизической основы есть безсмысленное, чудовищное явленіе. Ибо когда, смотря на настоящую жизнь какъ на явленіе само по себѣ ничтожное, призрачное и обманчивое, въ тоже время за предѣлами ея предполагаютъ высшую дѣйствительность, и въ ней—цѣль существованія на землѣ, то при этомъ хотя и возникаетъ требование освобожденія отъ узъ настоящаго призрачнаго существованія, однажъ не всякий способъ отрѣшенія отъ настоящей жизни признается соотвѣтствующимъ цѣли, а только такой, который способствуетъ очищенію духа отъ всего приковывающаго къ землѣ. Когда же за предѣлами настоящаго существованія ничего не полагается, а между тѣмъ и самая жизнь представляется сплошнымъ бѣдствіемъ, несчастіемъ, пустою игрою случая, тогда уженичѣмъ не можетъ быть оправдана разборчивость въ средствахъ къ преодолѣнію естественной склонности къ жизни; въ этомъ случаѣ кратчайший путь къ цѣли есть наилучшій.

Но можно ли еще признать представленное выше состояніе человѣчества, какъ наиболѣе совершенное по Спенсеру, выводомъ, хотя бы и ложной въ своемъ основавіи, теоріи,—и состояніе это дѣйствительно ли представляетъ дальнѣйшую и высшую, по сравненію съ настоящимъ состояніемъ жизни, степень ея развитія, хотя бы и неправильно односторонне понятаго? Спенсеръ, какъ мы видѣли, дѣйствительно говоритъ о развитіи поведенія и даже указываетъ степени этого развитія. Но какое же развитіе возможно съ точки зрѣнія теоріи, изъясняющей всѣ явленія жизни *необходимостью приспособляться къ измѣнчивымъ, случайнымъ условіямъ?* Начало это достаточно для того чтобы произвести рядъ перемѣнъ во виѣшнемъ положеніи, но не внутреннее развитіе. И дѣйствительно Спенсеръ самъ постоянно говоритъ о компромиссахъ. Да и самая его теорія нравственности въ сущности есть не что иное какъ компромиссъ

грубыхъ влечений животной природы человѣка съ понятіями и взглядами, получившими свое начало въ религіозномъ ученіи, такой компромиссъ, въ которомъ реальное значеніе придается однімъ лишь низшимъ побужденіямъ, требованія же высшаго порядка употребляются на то чтобы сообщить первымъ благообразную смягченную форму. Непризнавая никакихъ иныхъ основаній для своихъ положеній кромѣ данныхъ опыта, могла ли эта теорія идти далѣе того что представляетъ дѣйствительная жизнь въ данномъ ея состояніи? „Всегда и вездѣ, говоритъ Г. Спенсеръ, возникающая у людей теорія сообразуется съ тѣмъ что у нихъ существуетъ на практикѣ. Природа дикаря, давшая начало его дикому понятію о божествѣ, создала и теорію о сверхъестественномъ контролѣ... Тамъ гдѣ война, вызываемая сосѣдствомъ воинственныхъ народовъ, становится главнымъ дѣломъ жизни, высшими добродѣтелями считаются тѣ, которые требуются для войны; напротивъ того тамъ гдѣ получаетъ преобладаніе индустріализмъ (т. е. промышленное состояніе общества), насилие и обманъ, которыми гордятся воины, возводятся на степень преступлений“. Теорію самаго Спенсера мы очевидно должны признать системою индустріальной нравственности: не даромъ же онъ такъ любить приводить въ примѣръ совершиеннаго человѣка купцовъ, банкировъ, вообще людей, привыкшихъ къ точности и порядку въ дѣлахъ, нетерпящихъ ничего нарушающаго правильный и неумолимый какъ машина порядокъ жизни. Не очевидно ли что система, имѣющая смѣлость утверждать, „что ведение тѣла путями, уменьшающими полноту и силу жизненности, беззрвственno“ (стр. 44 я), система эта возводить въ норму и на степень идеала то съ чѣмъ мы уже давно знакомы по ежедневному опыту? Не трудно представить образъ того человѣка (средняго), съ которого заимствованы черты предлагаемой Спенсеромъ системы нравственности. Человѣкъ этотъ пользуется всѣми благами жизни; не любить ни въ чёмъ себѣ отказывать и болѣе всего дорожить спо-

кожествіемъ, ибо только при спокойствіи можно наслаждаться жизнью. Отъ такого человѣка нельзя ожидать великодушныхъ порывовъ; для него противень самый видъ страданія и нищеты; вотъ почему онъ не любить непосредственно подавать кому либо руку помощи, хотя и неотказывается поддерживать благотворительныя и общеполезныя учрежденія, ибо этого требуетъ долгъ порядочнаго человѣка. Онъ не прочь и отъ самоограниченій, но эти самоограниченія большою частію не простираются далѣе разнообразныхъ формъ вѣжливости и вѣшнихъ приличій, на то и существующихъ, чтобы ограждать личность отъ вскихъ слишкомъ грубыхъ и назойливыхъ къ ней прикосновеній. Таковъ идеалъ совершенного человѣка по кодексу *свѣтской нравственности*. Къ сожалѣнію идеаль этотъ слишкомъ не новъ: еще древніе эпикурейцы начертали его; и теперь онъ остается и практикуется въ жизни безъ существенной перемѣны.

Не смотря на такія слишкомъ знакомыя всякому черты идеала, предлагаемаго Спенсеромъ, онъ береть на себя роль реформатора. „Теперь, говорить онъ въ предисловіи, когда требования нравственности утратили тотъ авторитетъ, который имъ придавался предполагавшимся священнымъ происхожденіемъ, является настоятельная необходимость секуляризировать ихъ, т. е. установить *на свѣтскихъ началахъ*. Не многія вещи могутъ повлечь за собою больше гибели чѣмъ упадокъ и смерть регулятивной системы, переставшей дѣйствовать, пока не выростетъ на ея мѣсто другая, болѣе приспособленная къ новымъ условіямъ регулятивная система“. Такую-то систему и поспѣшилъ намъ дать Герб. Спенсеръ. Неудивительно, что нравственные понятія, основанныя на религіозной вѣрѣ, онъ трактуетъ какъ уже отжившія свое время, но въ своихъ нападкахъ на такъ называемую, имъ религіозную систему нравственности онъ обнаруживаетъ крайне грубое непониманіе истиннаго существа религіозной вѣры. Такъ, доказывая что ощущенія пріятнаго и непріятнаго должны быть единственными руководителями нашихъ

дѣйствій, Спенсеръ замѣчаетъ, что это можетъ непризнать только „та теорія, которая говоритъ что люди созданы съ тою цѣлью, чтобы быть источниками несчастія для самихъ себя и что они обязаны продолжать жить для того чтобы ихъ создатель могъ удовлетворяться созерцаніемъ ихъ страданія“... „Низшія вѣрованія (?)“, продолжаетъ онъ, „преписаны тѣмъ убѣжденіемъ что зрелище страданій угодно богамъ. Происходя отъ кровожадныхъ предковъ, такіе боги естественно представляются намъ существами счастливыми чужимъ страданіемъ. Во время своей жизни они наслаждались, мучая другихъ, и предполагается что созерцаніе мученій продолжаетъ доставлять имъ наслажденіе. Упомянутыя понятія долговѣчны. Стоитъ только назвать индійскихъ факировъ, висящихъ на крючкахъ, и восточныхъ дервишъ, покрывающихъ себя ранами, чтобы ясно показать, что въ обществахъ, достигшихъ значительной степени развитія, все еще встрѣчается много такихъ людей, которые думаютъ что, подвергая себя мученьямъ, они заслуживаютъ божественную милость“. (стр. 14-я). Спенсеръ очевидно не понимаетъ той простой вещи, что не потому послѣдователи иѣкоторыхъ религіозныхъ ученій добровольно подвергали себя истязаніямъ, что боги будто бы, по представлению ихъ, усаждаются страданіями людей, но потому что въ своей тѣлесной природѣ видѣли зло, требующее истребленія,— слѣдоват. поступали такъ изъ любви къ добру и въ уверенности, что эта именно любовь къ добру, дающая человѣку силы переносить страданія, и доказываемая добровольнымъ мученичествомъ, угодна богамъ. Въ другомъ мѣстѣ Спенсеръ говоритъ: „руководимые безмолвнымъ предположеніемъ, общимъ одинаково и язычникамъ стоикамъ и христіанскимъ аскетамъ, будто мы таѣмъ дьявольски организованы, что для насъ полезны страданія, а вредны удовольствія, люди повсюду представляютъ примѣры порчи жизни, заставляя себя дѣйствовать наперекоръ своимъ ощущеніямъ“ (стр. 55). Съ точки зреянія теоріи, признающей единственнымъ принци-

помъ дѣйствія удовольствіе, страданіе конечно должно казаться безсмысленнымъ, ибо теорія эта недопускаетъ чтобы человѣкъ могъ быть виновенъ; онъ можетъ быть неразчетливъ, неблагоразуменъ, но не виновенъ; для кого же нарушение нравственныхъ правилъ есть вина, грѣхъ, а не просто ошибка, непредусмотрительность, тотъ лишь въ страданіи можетъ найти успокоеніе своей встревоженной совѣсти, ибо за вину человѣкъ долженъ понести наказаніе. Потому, то человѣка, который еще не утратилъ чувства долга, страданіе смягчаетъ и дѣлаетъ сострадательнымъ, тѣхъ же, которые единственнымъ благомъ признаютъ удовольствіе, на-противъ ожесточаетъ и повергаетъ въ состояніе отчаянія.— Для такихъ людей простое воздержаніе уже кажется мученіемъ. Но замѣчательно, что, вопреки выше приведенному собственному мнѣнію о христіанскихъ аскетахъ, Спенсеръ въ другомъ случаѣ утверждаетъ, что и тѣ люди которые руководятся религіозными правилами въ сущности также подлагаются цѣлью своей дѣятельности въ удовольствіи или счастіи, ибо имѣютъ надежду на получение вѣчнаго блаженства. „Они перестали бы считать обязанностію то что они считаютъ теперь, если бы эта обязанность обѣщала вѣчныя мученія вместо вѣчнаго счастья“ (стр. 25). Но блаженство ожидаемое въ будущей жизни вѣрующими не есть цѣль, а награда. Цѣль составляеть то, за что получается награда, которая есть нечто иное какъ свидѣтельство, признаніе заслуги и достоинства. Не сама по себѣ награда имѣеть цѣли, а лишь то даетъ ей цѣль, за что она получается, между тѣмъ какъ для человѣка ищущаго удовольствія безразлично—какою цѣною оно получается. Смѣшиватъ нравственное удовлетвореніе съ удовольствіемъ, всегда имѣющимъ эгоистической характеръ, значитъ неразличать животныхъ побужденій отъ высшихъ требованій и законовъ духа человѣческаго. Дѣйствительно, задача теоріи Спенсера въ томъ именно и состоитъ, чтобы высшія проявленія и законы духа человѣческаго низвести на степень простыхъ привычекъ,

имѣющихъ всегда временное и условное значеніе. Что такое напр. чувство, или идея долга? Чувство это есть отвлеченное, отвѣчаетъ Спенсеръ, и произошло тѣмъ же путемъ какъ и другія отвлеченные чувства. Происхожденіе же отвлеченныхъ чувствъ изъясняется слѣдующимъ образомъ. „Проходя мысленно всю скалу существъ, говоритъ Спенсеръ, начиная отъ самыхъ низшихъ вплоть до человѣка и отъ низшихъ типовъ человѣка до его высшихъ типовъ, мы увидимъ что самосохраненіе совершенствуется вмѣстѣ съ подчиненіемъ простыхъ возбужденій—возбужденіямъ сложнымъ, непосредственныхъ ощущеній идеальнымъ представлѣніямъ объ ощущеніяхъ грядущихъ, непосредственныхъ чувствъ—воспроизведеніемъ чувствамъ“<sup>4</sup>. „Отсюда слѣдуетъ что чувства становятся тѣмъ болѣе авторитетными руководителями чѣмъ въ большей степени они удалились отъ простыхъ ощущеній и страстей по своей сложности и идеальности (т. е. отвлеченностіи)<sup>4</sup>. Стр. 63. Итакъ отвлеченные чувства—это наиболѣе сложные, наиболѣе удаленные отъ непосредственныхъ ощущеній, но существенно иерархически отличаются отъ послѣднихъ, ибо цѣль ихъ также—обеспечение нашего счастія; но только при руководствѣ сложными или отвлечеными чувствами, цѣль эта лучше достигается. Отсюда обязательность, авторитетность таковыхъ чувствъ; не ближайшее и мимолетное, а дальнѣйшее и важнѣйшее служить предметомъ этихъ чувствъ,—въ этомъ состоить ихъ идеальность, а также въ томъ что они образуются чрезъ воспроизведеніе многихъ частныхъ чувствъ, испытанныхъ нами въ отдельныхъ случаяхъ. Такъ напр. дикарь самаго низшаго типа пожираетъ всю пищу, которую ему удалось добыть на охотѣ въ теченіи дня; но голодный на утро, онъ быть можетъ долженъ будетъ выносить цѣлые дни муки голода. Дикарь, болѣе развитой, представляющій себѣ болѣе ясно ожидающія его страданія, если не найдется дичи, удерживается этимъ сложнымъ чувствомъ отъ того чтобы отдаваться всецѣло своему простому чувству (стр. 62-я). Однимъ сло-

вомъ совокупность отвлеченныхъ или идеальныхъ чувствъ составляетъ то что называютъ обыкновенно благоразуміемъ, опытностію, предусмотрительностію. Спенсеръ находитъ даже у высшихъ животныхъ борьбу между чувствами и подчинение простѣйшихъ чувствъ болѣе сложнымъ, но только это подчинение не сознательно, тогда какъ у людей, по крайней мѣрѣ болѣе развитыхъ, оно является сознательнымъ, а въ этомъ-то сознаніи необходимости подчинять низшія и болѣе простыя ощущенія болѣе сложнымъ чувствамъ и состоять идея долга. Итакъ повидимому то что человѣкъ считаетъ для себя обязательнымъ имѣть своимъ предметомъ собственное благополучіе человѣка, ибо внушиается ему благоразуміемъ и предусмотрительностію, основанную на многочисленныхъ опытахъ, или иначе, долгъ указываетъ человѣку то именно что наиболѣе для него выгодно, и чего онъ долженъ бы желать безъ всякаго понужденія. Но съ этимъ заключеніемъ изъ собственной его теоріи Спенсеръ не согласенъ. Онъ находитъ, напротивъ, что „авторитетность низшихъ чувствъ, какъ руководителей, далеко не всегда ниже авторитетности высшихъ чувствъ, но часто даже выше ея (почему жъ въ такомъ случаѣ не называть эти чувства высшими?). Въ случаяхъ обыденной жизни скорѣе должно повиноваться ощущеніямъ, чѣмъ чувствамъ“ (стр. 64). Почему же это? Очевидно потому что не всегда выгодно и приятно руководство высшихъ чувствъ. Итакъ, хотя, говоря вообще, благоразуміе требуетъ исполнить должное, но иногда было бы и не благоразумно слѣдовать указаніямъ долга. Вотъ какова обязательность долга понимаемаго въ смыслѣ Г. Спенсера. Не удивительно поэтому что, по мнѣнию Спенсера, „чувство долга и нравственной обязанности есть чувство переходное и будетъ ослабляться по мѣрѣ того какъ будетъ возвышаться нравственность“ (стр. 75).

Нѣтъ, Г. Спенсеръ ничего нового не сказалъ. Напрасно онъ спѣшилъ высказаться, полагая что открылъ новую, и

притомъ научную—и это главное—систему нравственности. Не новую систему нравственности, а на самомъ дѣлѣ безнравственность онъ хочетъ противопоставить нравственности религіозной, только разумѣется замаскированную, какъ любить выражаться Спенсеръ, приспособленную къ условіямъ современной жизни. Это также борьба чувственности противъ духа, которая непрерывно продолжается въ исторіи человѣчества, измѣняя только формы своего выраженія. Не подлежитъ сомнѣнію, что Спенсеръ руководился самыми благими намѣреніями, и конечно убѣжденъ въ истинности своей системы; но это показываетъ только, какъ велико въ наше время обаяніе разнаго рода научныхъ теорій, хотя бы и ложныхъ, и какъ великъ страхъ внушаемый суевѣріями, къ числу которыхъ давно уже привыкли относить религіозные вѣрованія, не смотря на то что некоторые понятія и мнѣнія, пріурочиваемыя обыкновенно къ наукѣ, давно уже сдѣлались суевѣріями, между тѣмъ какъ наоборотъ,—дѣйствительно суевѣрныя народныя повѣствованія, по существенному своему содержанію, не лишены истины, такъ какъ въ нихъ выражается лишь вѣра въ существование враждебной всему добруму демонической силы: новѣйшие приверженцы научныхъ теорій конечно не имѣютъ такой вѣры, за то сами въ себѣ нерѣдко воплощаютъ это демоническое начало.

#### IV.

Изъ всѣхъ религій христіанство совершилъшимъ образомъ обеспечиваетъ (если можно такъ выразиться) и воспитываетъ нравственную жизнь въ человѣчествѣ. Ибо и самая эта религія отличается высочайшимъ и чистейшимъ нравственнымъ достоинствомъ. Въ лицѣ Богочеловѣка на всегда данъ величайшій первообразъ духовной чистоты и святости. Но этотъ первообразъ имѣетъ для насъ не одно только нравственное значеніе; съ этимъ значеніемъ нерѣдѣльно связано другое,—таинственно религіозное, ибо Спа-

ситель явилъ себя міру не только какъ праведникъ, но и какъ Испупитель человѣчества, какъ Сынъ Божій. Поэтому и нравственное учение христіанства, преподанное первона-чально самимъ Спасителемъ и переданное въ Евангеліи, имѣеть необходимую и веразрывную связь съ учениемъ догма-тическимъ. Обыкновенно существенное значеніе христіанства полагаютъ въ христіанскомъ нравоученіи, считая догматиче-ское учение христіанской Вѣры несущественною временною частію. Такой взглядъ на христіанство установили еще деисты XVII и XVIII в.; впослѣдствіи же этотъ взглядъ сдѣлался если не общепринятымъ, то по крайней мѣрѣ довольно распространеннымъ, ибо когда говорятъ о христіанствѣ, то обыкновенно указываютъ на нравоученіе, дабы представить важность и высокое достоинство этой религіи, совершенно оставляя безъ вниманія догматическую его часть. Существуетъ даже мнѣніе, которое объясняетъ происхожденіе христіанского догматического учения склонностю грековъ къ отвлечен-нымъ умствованіямъ и діалектическимъ спорамъ. Говорить что христіанство вначалѣ было не столько умозрительной доктриною, сколько известнымъ направлениемъ самой жизни, имѣло характеръ не теоретической, по практической по пре-имуществу. Другіе же, вполаѣ понимая что безъ теорети-ческой умозрительной основы невозможно никакое нраво-ученіе и никакое опредѣленное направление практической жизни, хотятъ раціонализировать христіанское Вѣроученіе, чтобы представить его въ видѣ философской доктрины, но чрезъ то лишаютъ его религіознаго характера и значенія. Религіозное значеніе можетъ имѣть лишь такое учение, съ которымъ соединяется вѣра въ божественное его происхож-деніе. Поэтому всякаго рода попытки приспособить христі-анское Вѣроученіе къ какимъ либо философскимъ воззрѣні-ямъ мы должны признать далекими отъ разумѣнія истин-ной силы его и значенія. Въ прежней статьѣ было показано, что невозможно вывести нравственные истины, подобно истинамъ научнымъ, изъ разума путемъ умозаключеній,

ибо истины эти суть божественные повелінія, хотя и не чужды человѣческому разуму, насколько человѣку свойственно вообще нѣкоторое расположение къ добру и истинѣ, и потому усвояются чрезъ разумъ, такъ какъ безъ живаго разумѣнія ихъ невозможно было бы руководительство ими въ жизни.—Но и догматическая истина имѣютъ то общее съ нравственными что имъ должно принадлежать также значеніе руководственное; содержаніемъ ихъ служитъ то что выше познанія, поэтому цѣль ихъ не въ томъ чтобы обогатить умъ человѣческій познаніями, и недолжно слѣдовательно относиться къ нимъ такъ какъ мы относимся къ познаніямъ, т. е. подвергать ихъ критическому испытанію или же стараться доказать ихъ достовѣрность; въ нихъ по-жалуй заключается вѣдѣніе, но особаго рода,—требующее довѣрчиваго принятія и усвоенія, сопутствующаго твердою рѣшимостію хранить его въ неизмѣнномъ видѣ какъ ученіе основанное на Откровеніи, а не изобрѣтенное какимъ либо частнымъ умомъ. Однако съ цѣлію облегчить разумѣніе этихъ истинъ, безъ чего невозможно правильное и полное ихъ усвоеніе, всегда были дѣлаемы попытки къ выясненію точнаго ихъ смысла и значенія. Нужно лишь остерегаться чтобы въ истолкованіе и изложеніе догматическихъ положений не внести что либо чуждое ихъ действительному значенію. Но потому именно что это возможно, тѣмъ болѣе необходимо иногда разъясненіе точнаго смысла Вѣроученія. Г. Чичеринъ представилъ въ своей книгѣ опытъ изъясненія важнѣйшихъ христіанскихъ доктринаў. Въ этомъ изъясненіи весьма важно то что онъ повсюду указываетъ связь христіанского доктринального ученія съ правоученіемъ, но его объясненія не вездѣ можно признать точными; иногда они несомнѣнно требуютъ исправленій и дополненій.

Въ связи съ доказательствами бытія Бога, которыхъ уже выше указаны, г. Чичеринъ слѣдующимъ образомъ излагаетъ выведенное имъ изъ этихъ доказательствъ понятіе о Богѣ. Онъ говоритъ, что совокупность доказательствъ

бытія Бога выражаетъ собою развитіе философскаго понятія обѣ абсолютномъ бытіи, или о Богѣ. „Абсолютное является какъ причина производящая (къ этому опредѣленію приводить онтологическое доказательство), какъ причина формальная, какъ причина материальная (космологическое доказательство приводить къ заключенію о первой причинѣ, а такою причиною должно признать частію разумъ какъ начало формирующее матерію,—частію же самую матерію) и какъ причина конечная (сообразноteleологическому доказательству). Изъ этихъ четырехъ опредѣленій, третья причина материальная составляетъ сущность видимаго нами міра (?); остальные же три суть божественные начала, окружающія этотъ міръ и составляющія для него начало, средину и конецъ... „Для мысли, постигающей самыя основы бытія, вся эта видимая вселенная представляется освненною Божественною сущностью, которая проникаетъ ее со всѣхъ сторонъ и связываетъ ее высшими невидимыми узами. А такъ какъ эти начала представляютъ развитіе одной и той же божественной сущности, то всѣ они понимаются какъ опредѣленія единаго Божества. Но каждое изъ нихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ будучи явленіемъ абсолютнаго, само составляетъ абсолютное начало, вслѣдствіе чего единое Божество представляется въ различныхъ формахъ. Огсюда понятіе глубокой философской смыслъ (?) христіанскаго ученія, признающаго единаго Бога въ троичности лицъ, какъ Силу, какъ Слово и какъ Духъ. Непосвященнымъ въ философію умамъ это ученіе кажется непостижимою тайною... Но изъ предыдущаго ясно (!) что въ немъ выражаются высшія и необходимыя начала разумнаго богоознанія, начала составляющія приложеніе и развитіе самыхъ основныхъ законовъ разума“ (стр. 113—114).

Итакъ, по мнѣнію г. Чичерина въ христіанскомъ ученіи о Троичности заключается глубокий философский смыслъ: оно есть выраженіе основныхъ опредѣленій абсолютнаго начала, которое разумъ нашъ познаетъ какъ основосущее

или производительную силу (Отець)—точка зрения натурализма,—какъ Слово, т. е. разумъ действующій въ матеріи и образующій ону (Сынъ),--точка зрения спиритуализма и материализма, изъ которыхъ первый полагая разумъ отрицаетъ матерію, а послѣдній наоборотъ, признавая безусловнымъ началомъ матерію, отрицаетъ разумъ,—и наконецъ какъ Духъ, т. е. конечную причину или цѣль всего—точка зрения идеализма примиряющаго спиритуализмъ съ материализмомъ, ибо конечною причиной оба противоположныя начала, разумъ и матерія, сводятся къ высшему единству, какъ верховной цѣли всего.

Такое толкованіе христіанскаго ученія о Троичности очевидно превращаетъ религіозный догматъ въ философскую доктрину и можетъ быть оправдано только тѣмъ взглядомъ на отношеніе между религіею и философіей, по которому религія есть низшая, сравнительно съ философіею, и потому временная, форма представлениія того что болѣе совершеннымъ образомъ познаетъ философія и выражаетъ въ болѣе соответствованной формѣ; съ этой точки зрѣнія философія признаетъ въ формѣ понятій то что для религіознаго сознанія дано въ формѣ представлениія и чувства, именно—*абсолютное*. А такой взглядъ на отношеніе религіи и философіи необходимо ведеть къ тому заключенію, что философія должна замѣнить собою религію для того кто возвысился до философскаго сознанія.

Но г. Чичеринъ съ этимъ не соглашается и оспариваетъ изложенный взглядъ на отношеніе между собою религіи и философіи, какъ принадлежащей Гегелю, на основаніи его же діалектики. „Пониманіе религіи, какъ низшей ступени философскаго сознанія, имѣть за себя авторитетъ, говоритъ онъ, такого великаго мыслителя какъ Гегель; но собственная діалектика Гегеля обнаруживаетъ несостоятельность этого взгляда. Философія относится къ религіи какъ чистая мысль къ живому единенію (?), то есть, какъ отвлечено общее начало къ конкретному единству. Послѣднее,

въ силу діалектическаго закона, съ одной стороны предшествуетъ отвлечению, но съ другой стороны оно слѣдуетъ за отвлечениемъ. Въ отношеніи къ первоначальному единству отвлеченнаго познаніе будетъ отчасти составлять высшую ступень развитія; но это—ступень одностороння, на которой нельзя остановиться: отвлеченно общее начало все таки должно снова возвратиться къ конкретному единству, которое представляя высшее сочетаніе противоположностей, является вѣнцомъ развитія. Гегель началъ съ отвлеченно общаго начала, съ чистой логики, а потому долженъ былъ кончить тѣмъ же: въ этомъ состоить самая существенная его ошибка. Но по внутреннему смыслу его системы, конкретное должно быть поставлено выше абстрактнаго, слѣд. религія выше философіи, а не наоборотъ" (стр. 227).

Едва ли Гегеля можно оспаривать на основаніи самого же Гегеля въ настоящемъ случаѣ,—какъ это дѣлаетъ г. Чичеринъ. Если конкретное должно быть поставлено выше абстрактнаго, то изъ этого не слѣдуетъ, по Гегелю, что религія выше философіи; вѣдь діалектическое движение мысли философской и состоитъ именно въ томъ что, переходя отъ одного абстрактнаго начала, вслѣдствіе сознанія его односторонности, къ другому, столь же односторонне абстрактному, она постепенно такимъ образомъ расширяетъ свой кругозоръ и дѣлается многостороннѣе по содержанию, пока наконецъ небудетъ достигнуто познаніе дѣйствительности столь полное что всякое раздѣленіе между субъективнымъ мышленіемъ и объективнымъ его содержаніемъ при этомъ совершенно исчезаетъ. Достигши такого воззрѣнія на дѣйствительность, путемъ діалектическаго развитія понятій, мышленіе уже перестаетъ быть отвлеченнымъ, но дѣлается вполнѣ конкретнымъ, тожественнымъ съ тѣмъ что чрезъ него познается, т. е. съ Абсолютнымъ. Гегель полагалъ что такой именно характеръ не абстрактнаго, а конкретнаго мышленія составляетъ отличительную черту и превосходство его философской системы. Другія философскія ученія, отли-

чающіяся абстрактнымъ характеромъ мышленія, съ точки зре́нія Гегеля, дѣйствительно могутъ быть поставлены ниже религіозныхъ созерцаній, какъ выражающихъ съ большею полнотою сознаніе абсолютнаго начала, но нельзя того же утверждать о философіи Гегеля,—какъ философіи спекулятивной, т. е. конкретно, а не абстрактно мыслящей, выражавшей Абсолютное во всей цѣлости его моментовъ, а не со стороны отдельнаго какого либо изъ этихъ моментовъ. Философія Гегеля (съ точки зре́нія самаго Гегеля) имѣеть такимъ образомъ то общее съ религіознымъ міросозерцаніемъ, что одинаково съ религіею стоитъ на точкѣ зре́нія конкретной, а не абстрактной, но выше религіи въ томъ отношеніи, что съ большею точностю и ясностю выражаетъ въ себѣ Абсолютное, ибо органомъ для нея служитъ отчетливое мышление, а не темное и неопределеннное чувство какъ въ религии.

Итакъ, напрасный трудъ оспаривать взглядъ Гегеля на отношеніе религіи и философіи между собою,—вооружившись для этого философіею самаго Гегеля. Не только религія не выше философіи, напротивъ она прямо невозможна притомъ пониманіи абсолютнаго начала какое, слѣдя Гегелю, даетъ намъ г. Чичеринъ. Онъ утверждаетъ что чисто философское развитіе понятія, независимо, отъ какихъ бы то нибыло религіозныхъ опредѣленій, приводить насъ къ признавію трехъ Лицъ Божества (стр. 115). Какимъ же образомъ? Мы видѣли что г. Чичеринъ изъ разсмотрѣнія доказательствъ бытія Бога вывелъ слѣдующ. три опредѣленія: Божества: оно есть производительная сила, разумъ и духъ. Посмотримъ же что означаютъ эти опредѣленія. Какъ сила все изъ себѣ производящая, Богъ есть бытіе самосущее, и все въ себѣ заключающее. „Бытіе самосущее, бытіе безусловно необходимое и бытіе заключающее въ себѣ всякое бытіе,—все это понятія тождественныя, относящіяся къ абсолютному началу всего сущаго“ (стр. 102). Но будучи самосущимъ и все въ себѣ заключая, Абсолютное производить

изъ себя частное бытие; „производя же изъ себя частное бытие, Абсолютное тѣмъ самымъ отличаетъ себя отъ этого бытія, притомъ не только логически, но и реально“<sup>4</sup>. Значить первоначально Абсолютное находится въ состояніи простаго безразличія въ отношеніи ко всему частному бытію, которое въ немъ заключается. „Каждое частное явленіе происходитъ отъ другаго, тоже частнаго явленія, другое отъ третьаго и т. д. Абсолютная же основа представляется только первоначальнойю причиной, отъ которой исходитъ эта преемственная цѣль“<sup>5</sup>. Итакъ вотъ какимъ образомъ происходитъ реальное различеніе частнаго отъ Абсолютнаго: оно условливается тѣмъ, что отъ Абсолютнаго исходить только первый толчокъ въ процессѣ происхожденія частнаго бытія, и затѣмъ уже одно частное происходитъ отъ другаго частнаго, но не отъ Абсолютнаго. Какимъ же образомъ можно сказать послѣ этого, что Абсолютное все въ себѣ заключаетъ? Вопрощь этотъ разрѣшается тѣмъ что „безусловное и условное составляютъ двѣ стороны одного и того же бытія“: „условное никогда не могло бы существовать, если бы оно не имѣло безусловнаго начала. Это безусловное начало, будучи отлично отъ условнаго, не принадлежитъ къ числу явленій, а потому и не начинаетъ дѣйствовать во времени, но вѣчно пребываетъ и дѣйствуетъ, проявляясь въ бесконечномъ рядѣ конечныхъ опредѣленій, связанныхъ закономъ причинности“<sup>6</sup>. Стр. 105. Это уже не совсѣмъ понятно. Абсолютное не начинаетъ дѣйствовать во времени, однако же дѣйствуетъ и очевидно во времени; ибо дѣйствіе Абсолютнаго состоить въ томъ что оно производить бесконечный рядъ явленій, а такъ какъ при этомъ Абсолютное само проявляется въ этомъ рядѣ, то хотя прежде и было сказано, что одно частное бытие происходитъ отъ другаго частнаго, не смотря на то Абсолютное открывается въ каждомъ частномъ бытіи, производя его, только не прямо изъ себя, а чрезъ посредство другаго частнаго бытія. Яснѣе выражается это отношеніе Абсолютнаго къ частному въ дальнѣйшемъ

определений. Какъ причина всего происходящаго, Абсолютное должно заключать въ себѣ все что есть въ самихъ вѣщахъ". Есть явленія материальныя и есть явленія духовныя. Этимъ предполагается бытіе двухъ началъ: материальнаго, или частнаго и начала формальнаго, общаго. Послѣднее есть разумъ, дѣйствующій въ матеріи какъ общий законъ (разумъ есть сознаніе общаго), господствующій надъ всѣмъ частнымъ, какъ формулирующее начало образующее матерію. Итакъ мы имѣемъ теперь второе опредѣление Божества: Божество есть не только самосущее бытіе, сила все изъ себя производящая, но и разумъ, однако разумъ дѣйствующій въ матеріи. При совмѣстномъ существованіи и взаимодѣйствіи этихъ противоположныхъ началъ необходимо требуется ихъ соглашеніе и соединеніе, которое и есть цѣль ихъ взаимодѣйствія. Въ значеніи же цѣли непрерывно совершающагося въ мірѣ процесса образованія вещей,—это единство или соглашеніе разума и матеріи есть духъ, „ибо жизнь и неразлучное съ нею развитіе выражаются именно въ стремленіи къ высшей цѣли". Цѣлесообразность есть свойство принадлежащее всему живому, и притомъ не вышенн, а внутренняя цѣлесообразность. „Разумъ соединяясь съ матеріею является... изнутри дѣйствующею силою. Такимъ онъ представляется на первый разъ въ непосредственной или безсознательной формѣ, въ органическомъ мірѣ, который составляетъ переходъ отъ механическихъ законовъ матеріи къ высшему духовному міру; это первое проявленіе духовнаго начала въ царствѣ природы. Но истинное явленіе духа мы видимъ въ человѣкѣ, въ которомъ съ безсознательнымъ началомъ сочется сознаніе, бесконечное съ конечнымъ... Царство человѣка, воздвигаясь надъ природою, образуетъ цѣлый духовный міръ, который развивается на основаніи внутреннихъ своихъ законовъ, въ силу присущаго ему абсолютнаго начала, или что тоже, руководится духомъ Божіимъ къ высшему возможному для него совершенству". (стр. 112).

Кажется ясно само собою что изложенное понятие объ абсолютномъ началѣ не можетъ имѣть никакого религіознаго значенія. Ибо религія, какъ союзъ человѣка съ Богомъ, необходимо предполагаетъ вѣру въ бытіе Бога,—какъ такого существа личнаго, которое и хочетъ и можетъ сказати къ человѣку и войти съ нимъ въ извѣстное духовное и моральное отношеніе, непосредственное или же чрезъ какое либо посредство. Но какое же общеніе человѣка съ Божествомъ возможно коль скоро Божество есть причина дѣйствующая въ мірѣ, хотя и разумная, но безличная и являющаяся какъ личность только въ самомъ человѣкѣ, если т. е. духъ самаго же человѣка и есть Божество,—и притомъ въ самомъ высшемъ его проявленіи, такъ что отношеніе человѣка къ Божеству, при такомъ понятіи о Богѣ, было бы отношеніемъ къ самому себѣ. Потому-то и нуждается человѣкъ въ общеніи съ существомъ высочайшимъ и совершеннымъ, что себя онъ сознаетъ слабымъ, немощнымъ, недостаточнымъ для самаго себя. А ему говорить что нечего искать, что онъ уже имѣеть Бога въ себѣ самомъ, что самъ же онъ и есть Богъ, насколько онъ живетъ духовною жизнью. Нужно ли говорить что изложенное философское изъясненіе христіанскаго ученія о Троичности ничего неимѣеть общаго съ этимъ ученіемъ?

Такъ какъ по христіанскому ученію Богъ сотворилъ человѣка по образу своему и по подобію, то кажется мы будемъ ближе къ цѣли, если попытаемся найти въ человѣкѣ вѣкоторую аналогію для опредѣленія и приблизительного, по крайней мѣрѣ, изъясненія основаннаго на Откровеніи ученія о Троичности.

Душа человѣческая проявляетъ себя троакимъ образомъ: какъ воля, какъ разумъ и наконецъ какъ чувство. Не представляютъ ли эти силы вѣкоторое подобіе трехъ божественныхъ Лицъ, исповѣдуемыхъ христіанскою церковью какъ единое Существо? Въ самомъ дѣлѣ, Богъ Отецъ, какъ Творецъ міра и Промыслитель, именуется по преимуществу

вседержителемъ, что указываетъ на то что могущество и власть —преимущественные его свойства (не говоримъ отличительныя), а таکъ какъ Богъ—существо совершенное и высочайшее, то и могущество и власть божественная направлены ко благу, или иначе—воля Божественная есть не только всемогущая, во и благая. Второе лицо Тройцы, какъ известно, именуется Словомъ Божімъ (логосомъ), т. е. разумомъ, и потому главные свойства этого Лица—всевѣденіе и истина; наконецъ Духъ преимущественно называется святымъ, ибо онъ освящаетъ человѣческія души и вдохновляетъ ихъ на все доброе и святое. Какъ Слово Божіе „просвѣщаетъ всякаго человѣка грядущаго въ міръ“, такъ Духъ Святой подаетъ ему силу необходимую для совершенія всего доброго, возбуждаетъ, движетъ и направляетъ его волю ко всякимъ благимъ цѣлямъ. Весьма знаменательно что Духъ Св. явился въ видѣ языковъ: „отъ избытка сердца уста глаголять“.

Изъясняемое такимъ образомъ христіанское учение о Троичности приводить насъ къ понятию о Богѣ, какъ та комъ существъ, которое заключаетъ въ себѣ всю полноту силъ и свойствъ духовной жизни. Никогда, ни прежде ни послѣ происхожденія христіанства религіозное созерцаніе недостигало такой высоты и полносодержательности. Евреи знали Бога только какъ властителя міра, законодателя и грозного судію. Древніе греки, въ лицѣ лучшихъ своихъ философовъ, дошли до понятія о высочайшемъ божественномъ разумѣ, но эготъ разумъ они понимали какъ начало безличное, безучастное ко всему происходящему въ мірѣ, вся дѣятельность котораго заключается въ неподвижномъ созерцаніи (понятіе это особенно ясно выражено Аристотелемъ). Такъ какъ боги Греціи были созданіемъ человѣка, то и неудивительно что они не были чужды человѣческихъ страстей; философы же, находя человѣческія страсти недостойными Божества, вмѣстѣ съ отрицаніемъ ихъ, вообще отвергли возможность въ Божествѣ какихъ бы то нибыло

чувствованій, такъ какъ для нихъ были понятны и вѣдомы лишь чувствованія имѣющія чувственный, страстный характеръ, но не духовныя. Отсюда видно, что христіанство не могло заимствовать характеристическія черты для своего ученія о Богѣ просто изъ жизни, дабы представить Бога по подобію человѣка въ различныхъ проявленіяхъ его духа. Напротивъ, въ христіанскомъ ученіи о Богѣ данъ былъ первообразъ для послѣдующаго духовнаго развитія жизни, которая дѣйствительно подъ благотворнымъ вліяніемъ новой вѣры получаетъ иной характеръ, приобрѣтаетъ новые черты, несуществовавшия прежде. А самое это ученіе могло быть построено только на основаніи жизни Спасителя и всего того что было имъ возвѣщено человѣчеству. Посему личность Спасителя, слова Его и дѣла дѣйствительно были новымъ Откровеніемъ для человѣчества. Если греческіе философы возвысились до понятія о высочайшемъ божественномъ разумѣ, то самый этотъ разумъ быть для нихъ не болѣе какъ только понятіемъ отвлеченнымъ, а равно и истина, составляющая необходимую принадлежность разума, была только цѣлью ихъ стремленій, а не обладаніемъ; греческіе философы, какъ справедливо указывали на то Церковные писатели и какъ заявляли о себѣ и сами философы, были только искателями, любителями истины, но не обладателями. Въ лицѣ же Спасителя Слово Божіе воплотилось и стало человѣкомъ, слѣд. открылось какъ личность. А такъ какъ это Слово было послано Богомъ не только для того чтобы людямъ возвѣстить истину<sup>1)</sup>, но также дабы принести себя въ жертву за грѣхи человѣчества и чрезъ то даровать ему оправданіе предъ Богомъ, то понятно что церковь, смотря на Спасителя какъ на воплотившееся Слово Божіе, въ то же

<sup>1)</sup> Спаситель говорить уѣровавшимъ въ Него: если пребудете въ словѣ Мое, то вы истинно Мои ученики. *И познаете истину, и истинна сильна будетъ васъ свободными.* Ев. Иоанна VIII, 31. 32. Срани. ib. 1, 17. Я нато родился, и на то пришелъ въ міръ, чтобы свидѣтельствовать о истинѣ. ibid. XVIII, 37.

время не могла не признать Его Личностю отличную отъ Бога Отца, хотя и совѣчно Ему и единою съ Нимъ по существу, ибо какимъ бы образомъ одно и то же лицо могло быть и пославшимъ и посланнымъ? Такоже точно Духу святому усвоется особое участіе въ искупленіи и потому также необходимо было признать Духа, обѣтованного своимъ ученикамъ Спасителемъ, Личностю отличную отъ личности Отца и Сына<sup>1</sup>). Но съ другой стороны церковь немогла допустить и того что названныя три Лица не что иное какъ посредствительные проявленія и откровенія Бога, ибо это означало бы что Богъ измѣняемъ (такъ сказать развивается) и следоват. небезусловно совершиенъ. Вотъ почему нельзя признать выражающимъ смыслъ христіанского ученія о Богѣ

<sup>1</sup>) Вообще искупление и спасеніе человѣчества, по вѣрованію христіанской церкви, есть дѣло всѣхъ Лицъ божества. Тройцы, не такъ однакоже, чтобы вмѣстѣ съ Сыномъ воплотились и сдѣлались человѣкомъ, дабы подвергнуться страданію и смерти, Отецъ и Духъ, но каждочу Лицу усвоется особое участіе въ дѣлѣ искупленія, а таъль въсѣ три Лица суть едино по существу, то признавалъ это особое участіе каждого Лица, въ тоже время должно смотрѣть на искупленіе человѣчества какъ на дѣло единой и нераздѣльной любви Божіей къ человѣку. У нѣмецкихъ писателей въ большомъ ходу та мысль, что древній міръ оказался такъ сказать уже изжившимъ, и потому мало способнымъ къ воспріятію и усвоенію христіанства. Для новой религіи нуженъ былъ новый міръ, необходимы были новые народы, и таковы были преимущественно Германцы. Особое такъ сказать призваніе Германцевъ къ воспріятію христ. религіи и со-зданію новой цивилизації въ ея духѣ видѣть въ томъ, что Германцамъ въ высокой степени было свойственно сознаніе личности. Западная цивилизациѣ дѣйствительно можетъ гордиться развитіемъ этого сознанія. Но должно замѣтить, что сознаніе это выражалось въ формѣ неполной соответственной духу христіанской религії, которая хотя дѣйствительно усвояетъ высочайшее достоинство личности человѣка, однако же требуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ общеміи и союза любви между всѣми, а не вѣнчанаго разграничениемъ и обезпечеваніемъ правъ каждого съ цѣллю охраненія свободы и независимости каждого члена общества. Сознаніе личности, которое внушается христіанствомъ, болѣе свойственно выражаться въ заботливомъ исполненіи обязанностей, чѣмъ въ стремлении къ обезпечению своихъ правъ, въ желаніи быть всѣми слушомъ болѣе чѣмъ въ требованіи всеобщаго равенства, во взаимномъ довѣріи и любви, а не въ антагонизмѣ...

съдѣющее толкованіе г. Чичерина. „Мы неизбѣжно должны признать, говоритъ онъ, господство въ мірѣ верховнаго разума, слѣдоват. личнаго Бога. Если разуму предшествуетъ сила, то и эта сила должна быть не слѣпая, а разумная, ибо иначе она не могла бы произвести разумъ. Послѣдній составляетъ необходимый ея *аттрибутъ*, который затѣмъ, выдѣляясь (?), становится самостоятельнымъ началомъ. Съ своей стороны духъ, какъ высшее единство противоположностей, необходимо предполагаетъ чистый разумъ, какъ *предшествующий моментъ*, и самъ содержить его въ себѣ“. Къ сему присоединяется затѣмъ слѣдующее замѣчаніе: „Мы видимъ что чисто философское развитіе понятія, независимо отъ какихъ бы то нибыло религіозныхъ опредѣленій, приводить настъ къ признанію трехъ лицъ Божества“. (!?)

стр. 115.

Разматривая взаимное отношеніе религіи и нравственности г. Чичеринъ приходитъ къ выводамъ, съ которыми также трудно согласиться. Такъ, выходя изъ той мысли что хотя совѣсть и указываетъ человѣку на добро и зло, однако посилу можетъ заглохнуть и даже извратиться,—сама она нуждается въ опорѣ, г. Чичеринъ находитъ что такою опорою должны быть философія и религія. Какимъ же образомъ философія можетъ служить опорою для нравственности? „Философія, говоритъ Чичеринъ, объясняетъ нравственный законъ, выводя его изъ разумной природы человѣка“. А если философія должно изъяснять нравственный законъ и даже совершенно его отрицаєтъ? Существуютъ вѣдь разныя направления и ученія философскія, дающія далеко неравные взгляды на нравственную жизнь человѣка. „Она, т. е. философія доказываетъ что разумъ связываетъ всѣ разумныя существа между собою, дѣля ихъ членами единаго нравственнаго міра, и что въ исполненіи этого закона (?) заключается достоинство человѣка“ (стр. 245). Если дѣйствительно разумъ связываетъ всѣ разумныя существа между собою, то зачѣмъ же это доказывать? А если философія береть на

себя это доказывать, то значит существование связи сомнительно. Не понятно также, какимъ образомъ философія можетъ доказывать, что въ исполненіи нравственного закона заключается достоинство человѣка, когда въ самомъ пониманіи нравственного достоинства философы не согласны между собою. Нѣтъ, философія не беретъ на себя задачи—руководить людей въ исполненіи ихъ нравственного долга, управлять ихъ жизнью. Дѣло свойственное философіи состоять въ изслѣдованіи, а не въ руководствѣ. Было время, когда философія считалась наставницею въ добродѣтели, въ разрѣшении и осуществленіи предназначенней человѣку цѣли. Это было въ древности, когда религіозная вѣра была утрачена: тогда философія дѣйствительно полагала главную свою задачу въ томъ чтобы опредѣлить и выяснить цѣль жизни, или какъ тогда выражались высшее благо, а также указать путь къ осуществленію его, но тогда же обнаружилось вполнѣ безсиліе философіи разрѣшить эту задачу. Слѣдствіемъ ея усиливъ въ этомъ направлениі были только разногласія и споры между послѣдователями различныхъ школъ, а наконецъ абсолютный скептицизмъ „Если мы взглянемъ, говорить г. Чичеринъ, на тѣ нравственные идеалы, которые встрѣчаются у языческихъ философовъ, неозаренныхъ свѣтомъ христіанства, у Сократа, у Платона, у Стоиковъ, мы не можемъ не прийти къ убѣжденію, что философія сама по себѣ способна не только привести человѣка въ сознанію высшаго нравственного совершенства, но и руководить ею жизнью. Читая напр. *Мысли* Марка Аврелія, нельзя неумилиться передъ тою невозмутимою кротостью, тою неиз不可缺少омъ любовью къ человѣчеству (?), тѣмъ глубокимъ смиренiemъ и сознанiemъ своего долга, которыми дышегъ въ нихъ каждая строка. Всѣ высшія правила христіанства, братство всѣхъ людей, прощеніе обидъ, любовь ко врагамъ, все это находится у стоического мудреца, облеченнаго императорскою порфирою. И это глубоко нравственное настроеніе производить на насъ тѣмъ болѣе впечатлѣнія, что тутъ нѣтъ ожиданія будущей

награды. Все ограничивается сознаниемъ долга и жизнью во имя этого долга. Оттого (?) на всѣхъ этихъ размышленияхъ лежитъ печать какой то поэтической грусти, которая дѣлаетъ ихъ еще больше привлекательными". Стр 245—246. Не въ этомъ ли г. Чичеринъ видѣтъ доказательство того что философія способна руководить жизнью человѣка? Но сами по себѣ размышленія, какъ бы ни были возвышенны, этого не доказываютъ. Напротивъ чѣмъ благороднѣе и чище настроеніе мыслей, тѣмъ съ большою горечью чувствуется при этомъ безсиліе провести ихъ въ жизни, сообщить имъ господство надъ умами и дѣлами людей. Отъ этого именно сознанія своей духовной немощи происходитъ печать грусти, свойственная философскимъ размышленіямъ древнихъ, а не отъ другой какой либо причины. Дѣйствительно, въ то время когда человѣкъ, имѣвшій въ своихъ рукахъ неограниченную власть, и сознавая разложение нравственного духа въ обществѣ, ограничивался по необходимости одними лишь размышленіями благочестивыми, не въ состояніи будучи сдѣлать что либо для осуществленія ихъ въ жизни,—въ то время люди, не только безъ всякой власти но и преслѣдуемые, совершали великое дѣло обновленія жизни человѣческой,—и это потому что они дѣйствовали въ силу авторитета безконечно превышающаго всякую человѣческую власть. Не что другое какъ тоже сознаніе своего безсилія выразилось и въ требованіи покорности волѣ провидѣнія, которое, какъ известно, стоики понимали въ смыслѣ судьбы или непреложного натурального закона, такъ что означенное требованіе было просто фатализмъ. Что же касается того, что стоики требовали повиновенія долгу безъ всякаго ожиданія будущей награды, то нужно знать еще какъ разумѣли они самый долгъ. Конечно они долгъ полагали въ добродѣтели, но добродѣтель понимали какъ источникъ счастія, внутренняго довольства и спокойствія, и съ этой стороны главнымъ образомъ оцѣнивали ее, видя въ ней высшее блаю, наиболѣе желательное для человѣка, потому одному,

что только добродѣтель составляетъ неотъемлемую собственность, обладаніе которымъ даетъ силу къ перенесенію внѣшнихъ бѣдствій и превратностей судьбы, а съ другой стороны даетъ право относиться съ пренебреженіемъ ко всяkimъ внѣшимъ преимуществамъ и благамъ жизни. Но только сознаніе непрочности внѣшнаго благополучія, при тогдашихъ условіяхъ жизни, а съ другой стороны потребность наполнить внутреннюю пустоту, которая была естественнымъ послѣдствиемъ упадка общественныхъ интересовъ,—побуждали искать прибѣжища въ философіи, въ разсужденіяхъ о добродѣтельной жизни. Притомъ же не слѣдуетъ забывать, что разсужденія не всегда соотвѣтствовали дѣлу, а съ другой стороны какъ мало находили успокоенія въ добродѣтели, объ этомъ достаточно свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что единственнымъ исходомъ изъ всѣхъ жизненныхъ затрудненій считалось добровольное лишеніе себя жизни. Впрочемъ и самъ г. Чичеринъ замѣчаетъ: „углубляясь въ себя и подкрѣпляясь сознаніемъ духовной своей природы, стоический философъ чувствовалъ однако свое безсиліе противодѣйствовать внѣшнему теченію событий. Христіанство, явившись въ мірѣ не какъ новая философская теорія, а какъ новая религія, измѣнило весь ликъ земли и сдѣлалось поворотною точкою въ исторіи человѣчества“. Стр. 247. Значеніе христіанства и существенное его содержаніе г. Чичеринъ полагаетъ въ разрѣшении нравственного противорѣчія между сознаніемъ обязательности нравственного закона, за нарушение которого правосудіе божественное требуетъ возмездія, и безсиліемъ исполнить этотъ законъ, которое человѣкъ побуждаетъ искать утѣшения въ надеждѣ на милосердіе и благость Божію. Христіанство примиряетъ божественное правосудіе съ милосердіемъ и чрезъ то разрѣшаетъ указанное противорѣчіе. Въ чемъ же состоить это разрѣшеніе? „Религіозный инстанктъ народовъ всегда видѣлъ въ жертвѣ искупляющее начало человѣческихъ грѣховъ. Посредствомъ жертвоприношений языч-

ники старались умилостивить своихъ боговъ<sup>4</sup>. А по причинѣ нравственной солидарности всѣхъ людей, еще въ языческой древности существовало вѣрованіе что грѣхи человѣческіе искупаются и правосудіе примиряется съ милосердіемъ тѣмъ что одинъ человѣкъ добровольно приносить себя въ жертву за другихъ. Даже въ юридической области, хотя правосудіе и требуетъ чтобы каждый несъ наказаніе за свою вину, но этимъ неисключается и право помилованія не только за прежнія заслуги виноваго, но и заслуги его отца, матери. „Нравственная же отвѣтственность не только за себя, но и за другихъ инстинктивно сознается нами, когда мы чувствуемъ себя внутренно униженными или возвышенными вслѣдствіе вины или заслугъ близкихъ къ намъ людей или свойствъ и дѣяній того народа, къ которому мы принадлежимъ“<sup>5</sup>. Въ силу этого именно закона нравственной взаимности заслуги однихъ искупаютъ грѣхи другихъ. Но для искупленія всего человѣческаго рода не могутъ быть достаточны заслуги какого бы то нибыто человѣка. Конечно искупитель долженъ быть человѣкомъ, ибо только причастный человѣческому естеству можетъ взять на себя грѣхи людей и прінести себя добровольно въ жертву за братьевъ, но съ другой стороны онъ долженъ стоять выше человѣческаго естества; онъ долженъ быть непричастнымъ грѣху, однимъ словомъ долженъ быть Богочеловѣкомъ. „Вѣрою въ воплощеніе Слово всѣ люди дѣлаются причастниками искупленія. Этю абсолютную жертвою разрѣшается нравственный вопросъ: актомъ милосердія Божія примиряется правосудіе съ милосердіемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ осуществляется нравственная солидарность всего нравственнаго міра, котораго Слово есть законъ и средоточіе. Таково разрѣшеніе нравственнаго вопроса, данное христіанствомъ“<sup>6</sup>. Стр. 249—253.

Это изъясненіе важнѣйшаго христіанскаго догматы объ искупленіи нельзя не признать остроумнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ никакъ нельзя сказать что оно вполнѣ вѣрно. Справедливо г. Чичеринъ указываетъ на нравственную солидар-

ность; но христіанское учение не простираетъ эту солидарность, этотъ нравственный союзъ всѣхъ людей такъ далеко какъ полагаетъ г. Чичеринъ. Если нельзя не скорбѣть при видѣ преступныхъ дѣлъ, совершаемыхъ другими, то это не доказательство того что каждый считается, или долженъ считать, себя отвѣтственнымъ за вины всѣхъ другихъ, ибо когда всѣ виновны, то это значитъ что никто не виновенъ въ особенности. Такая общность всѣхъ людей относительно заслугъ и виновности, простирающаяся въ равной мѣрѣ на всѣ человѣческія дѣянія, мыслима только при томъ условіи, если каждая отдельная человѣческая личность есть неболѣе какъ не самостоятельное проявление одного общаго духа, или однай субстанціи действующей во всѣхъ. Связь очевидно есть между людьми, но связь эта не такова, чтобы дѣлаемое однимъ другой считалъ своимъ, т. е. принадлежащимъ не одному, но всѣмъ вмѣстѣ. Отсюда ссли, по учению христіанскому, Спаситель совершилъ искупленіе человѣчества отъ грѣха, то не отъ всякаго грѣха; такое пониманіе тайны искупленія ведетъ къ квітизму. Выше приведенные слова г. Чичерина, что вѣрою въ воплощеніе Слово всѣ люди дѣлаются причастниками искупленія, если понимать дѣло искупленія въ смыслѣ толкованія г. Чичерина, выражаютъ прямое отрицаніе дѣятельной стороны христіанства, ограничивая весь подвигъ христіанской жизни простымъ принятіемъ и храненіемъ вѣры въ искупительное значеніе заслугъ Спасителя; ибо если всѣ грѣхи человѣческие искуплены, тогда ничего болѣе и не остается дѣлать для своего спасенія какъ только имѣть вѣру въ Искупителя. Не всѣ грѣхи, а только первородный грѣхъ подлежалъ искупленію, о другихъ грѣхахъ можно сказать что они также взяты на себя и искуплены Спасителемъ, лишь насколько они были послѣдствиемъ первородного грѣха, слѣдовательно о грѣхахъ совершенныхъ лишь когда былъ въ силѣ первородный грѣхъ. Первородный грѣхъ, по учению христіанской церкви, разстроилъ, но не уничтожилъ въ человѣкѣ образъ Божій; это

значитъ что расположенність къ добру и стыдъ содѣянаго зла сохранились въ человѣкѣ, но онъ лишился силы къ совершенію добра, извилась въ его природѣ противоборствующая добру наклонность къ дурному и злому. Отсюда искупленіе состояло въ томъ что Спаситель снялъ это бремя грѣха, эту человѣческую немочь, это безсиліе, которое живо чувствовалось и было выражаемо и въ мірѣ языческомъ, какъ сказано выше, и исходатайствовалъ у Бога благодать св. Духа, которая воодушевляетъ человѣка къ совершенію добра и такимъ образомъ вспомоществуетъ ему и исцѣляетъ его отъ душевной немощи, но самая благодать снискивается только чрезъ вѣру. Итакъ вѣра съ нашей стороны необходима прежде всего, но вѣра не есть еще спасеніе, а только первый хотя и важнѣйшій шагъ ко спасенію, безъ котораго не возможно избавленіе отъ главнаго зла, отъ безсилія душевнаго.

V.

Христіанство послужило основаніемъ для новой цивилизациіи, для нового образованія. Европейская образованность несомнѣнно, по крайней мѣрѣ въ лучшихъ своихъ проявленіяхъ, имѣеть на себѣ печать христіанскаго духа. Въ христіанскомъ ученіи о Богѣ былъ данъ залогъ всестороннаго развитія духовныхъ силъ человѣка. Но у разныхъ европейскихъ народовъ христіанство исповѣдуется не въ одинаковомъ видѣ, а съ болѣе или менѣе существенными различіями и особенностями. Наше православіе напр. многое различается отъ католичества и протестантства. Отсюда является важный вопросъ: въ чёмъ заключается характерная особенность православія сравнительно съ католичествомъ и протестантствомъ? На это можно отвѣтить такъ: особенность православія въ томъ, что оно неимѣеть и нежелаетъ имѣть никакихъ особенностей; оно не питаетъ ни малѣйшаго стремленія обособиться въ вѣкоторую отдельную секту, признавая себя вселенскимъ исповѣданіемъ Вѣры.

Задача православія, если можно такъ выразиться, состоитъ просто въ неизмѣнномъ храненіи вѣковѣчныхъ истинъ, преподанныхъ человѣчеству самимъ Основателемъ христіанства. И это понятно. Если Вѣра христіанская дана отъ Бога, то всякое ея измѣненіе было бы нарушеніемъ авторитета Божественнаго. Вотъ почему католичество, допустивъ иѣкоторыя измѣненія, нарушавшія первоначальную чистоту и неприкословенность Вѣры, какъ бы въ замѣнъ нарушенаго божественнаго авторитета, должно было возвести на равную съ нимъ степень авторитетъ своего главы, признавъ его непогрѣшимымъ. И протестантство справедливо отвергло этотъ авторитетъ, но въ то же время оно не въстановило нарушенный католичествомъ авторитетъ самой Вѣры, неизмѣнно хранимый церковью, и такимъ образомъ осталось безъ всякаго авторитета. Но это не только не казалось ненормальнымъ, напротивъ съ теченіемъ времени отрицаніе авторитета было возведено въ принципъ, ибо свобода мысли, признанная кореннымъ условіемъ новаго образованія, прежде всего была понята какъ независимость отъ всякаго авторитета. Однакожъ необходимо признать (этого требуетъ основной законъ нашего мышленія) что должно быть иѣчто имѣющее значеніе безусловное; должно быть такое начало, въ которомъ заключается условіе всякаго бытія, и которымъ слѣдоват. должны опредѣляться какъ наше познаніе, такъ и всякая наша дѣятельность. Отсюда въ философіи снова явилось стремленіе, которое господствовало и въ древней языческой философіи—найти и опредѣлить такое безусловное начало. Но наряду съ этимъ стремленіемъ постоянно вновь возникало сомнѣніе въ возможности рѣшенія такой задачи, а наконецъ явилось направление, господствующее въ наше время, которое или признаетъ все относительнымъ, условнымъ, безусловнаго же ничего недопускаетъ, или же покрайней мѣрѣ отвергаетъ познаваемость для насъ такого начала, слѣдоват. вообще отрицаютъ самое стремленіе къ отысканію абсолютнаго на-

чала. Но стремление это не можетъ быть уничтожено, ибо какъ сказано мышленію нашему необходимо присуща идея о безусловномъ началѣ, и самые отрицатели безусловнаго на самомъ дѣлѣ возводятъ иѣчто (напр. матерію) въ безусловный принципъ. Итакъ остается одно изъ двухъ: или продолжать попытки въ отысканію безусловнаго начала, безъ надежды когда либо порѣшить эту задачу, или же признать что такое безусловное начало мы уже имѣемъ въ христіанскомъ учениі о Богѣ. Но признать авторитетъ христіанского ученія о Богѣ, или что тоже, усвоить значеніе безусловнаго принципа этому учению незначитъ ли ограничить и стѣснить свободу мысли и изслѣдованія, которая была завоевана съ такими усилиями? На это иѣтъ нужды придумывать отвѣтъ; онъ уже данъ, на него ясно указываютъ признаки времени для всякаго кто способенъ ихъ понимать. А признаки эти слѣдующіе. Мы видимъ что въ наукѣ нашего времени принято правило—не полагать никакихъ абсолютовъ; признается напротивъ все условнымъ и относительнымъ и это до такой степени, что ничего и никогда не допускается неизмѣнного и непрѣходящаго, напротивъ все и во всемъ признается продуктомъ непрерывно продолжающихся перемѣнъ. „Все течетъ“—это изреченіе древняго мудреца вполнѣ выражаетъ господствующую нынѣ точку зрѣнія на вещи. Поэтому для тѣхъ, которые отвергаютъ авторитетъ христіанского ученія о Богѣ, мѣсто, занимаемое въ нашемъ міровоззрѣніи этимъ учениемъ, по необходимости, должно остаться пустымъ. Скажутъ: кто ничего не признаетъ безусловнымъ, у того не можетъ быть пустаго мѣста, ибо міровоззрѣніе такого человѣка сплошь наполнено условнымъ и относительнымъ. Но уже Платонъ въ древности показалъ съ полною ясностью и убѣдительностью невозможность удержаться на точкѣ зрѣнія выраженной въ упомянутомъ изреченіи. Мысль неизбѣжно приводить насъ къ предположенію безусловнаго; среди потока измѣнености должно быть иѣчто неизмѣнное и необходимое. (Остановиться

Наука и религія.

ли на какомъ либо изъ началъ, указываемыхъ философию? Но чѣмъ же выше и достойнѣе, сравнительно съ христ. ученіемъ о Богѣ, напр. слѣпая воля Шопенгауера, которая и сама не знаетъ чего хочетъ, или абсолютная идея Гегеля со своимъ неумолимо однообразнымъ, тоску наводящимъ, діалектическимъ закономъ. Впрочемъ и сама философиа уже пришла къ сознанію односторонности и несостоятельности подобныхъ началъ, и въ настоящее время существуетъ не маловажная по значенію и вліянію своему школа стремящаяся къ философскому обоснованію христіанскаго теизма. Говорятъ еще, что всякий авторитетъ, а тѣмъ болѣе авторитетъ религіознаго ученія тѣмъ опасенъ по отношению къ свободѣ научнаго изслѣдованія и мысли, что какъ бы обязываетъ довольствоваться готовымъ объясненіемъ для многихъ представляющихъ наблюденію явленій въ природѣ и жизни человѣческой, вместо того чтобы изыскивать изъясненіе путемъ изученія и изслѣдованія самикъ явлевій. Но вѣдь наука всегда ищетъ основаній для изслѣдуемыхъ ею явленій на почвѣ фактовъ и силъ имѣющихъ лишь относительное значеніе. Религіозная точка зрѣнія нимало не стѣсняетъ свободы изслѣдованія въ этой именно области, которую и сама наука отмежевываетъ для себя, признавая всякія предположенія идущія далѣе этихъ границъ не имѣющими научнаго значенія, а только такого рода предположенія и могутъ приходить въ столкновеніе съ религіозными возарѣніями. Когда изученіе природы было въ состояніи несовершенномъ, тогда по необходимости религіозныя возарѣнія замѣняли нѣкоторымъ образомъ недостатокъ научныхъ знаній, и потому всякое частное явленіе разматривалось съ точки зрѣнія религіозной. Теперь мы видимъ обратное явленіе; разнаго рода научные теоріи стремятся къ тому чтобы вытѣснить авторитетъ религіозныхъ вѣрованій и замѣнить его собою даже тамъ, где этотъ авторитетъ долженъ оставаться неприкосновеннымъ; но подобные попытки не могутъ несопровождаться вредомъ для науки, подрывая

уваженіе къ ней. подобно тому какъ въ свое время упадокъ вѣры, или покрайней мѣрѣ некоторое охлажденіе въ отношеніи къ религіозному авторитету, (разумѣется въ Европѣ, гдѣ была борьба между религіею и наукой) несомнѣнно было слѣдствіемъ того, что представители его стремились всѣми мѣрами удержать свой голосъ и въ области чисто научныхъ вопросовъ, навсегда отстоять въ этой области свое прежнее значеніе, которое по существу дѣла могло быть только временнымъ.

---

Въ заключеніе, нѣсколько словъ о цѣлѣ нашихъ статей по поводу книги г. Чичерина *Наука и религія*. Г. Чичеринъ имѣлъ въ виду отстоять идеализмъ противъ эмпирізма. Эмпирізмъ основывается въ своихъ сужденіяхъ и заключеніяхъ исключительно на опытѣ; по крайней мѣрѣ ставить это главнымъ правиломъ для себя, а потому относится отрицательно ко всему, чего невозможно прямо вывести изъ данныхъ опыта. Идеализмъ же на раду съ опытомъ важнѣйшее значеніе придаетъ умозрѣнію, признавая умозрѣніе источникомъ такого рода понятій, которыхъ не могутъ быть выведены прямо изъ опыта, и тѣмъ не менѣе столь для насъ необходимы что входятъ во всякое міровоззрѣніе какъ существенные, основные его элементы. Дѣйствительно, въ решеніи важнѣйшихъ вопросовъ, касающихся основныхъ принциповъ познанія и бытія, опытъ не можетъ служить дая насть руководствомъ, хотя и необходимо его содѣйствіе и ни въ какомъ случаѣ не должно пренебрегать данными опыта. Къ сожалѣнію г. Чичеринъ не выяснилъ надлежащимъ образомъ въ своей обширной книжѣ—что должно разумѣть подъ именемъ умозрѣнія, не показавъ какія именно понятія должно отнести къ области умозрительного познанія, или по крайней мѣрѣ не сдѣлавъ вывода этихъ понятій, неопредѣлилъ точно границъ умозрительного познанія; напротивъ онъ слишкомъ далеко раздвигаетъ границы умозрѣнія.

нія, ибо относить къ области умозрительного познанія даже принципы религіозно-нравственной жизни, включая такимъ образомъ въ область умозрѣнія и религіозно-нравственное сознаніе, которое хотя и заключаетъ въ себѣ иѣ-которые умозрительные общечеловѣческие элементы, однако далеко не изъясняется изъ одного умозрѣнія, а съ другой стороны причисляетъ къ умозрительнымъ понятіямъ и такія представлениа (напр. пред. пространства), которая несомнѣнно имѣютъ связь съ опытомъ и образуются въ зависимости отъ опыта. Посему задача наша состояла прежде всего въ томъ, чтобы по возможности выяснить, въ чёмъ состоитъ умозрѣніе. Относительно этого вопроса главный выводъ, найденный нами, тотъ что мышленіе, какъ органъ умозрительного познанія, имѣетъ способность познавать собственную дѣятельность, доходить до сознанія присущихъ этой дѣятельности законовъ и формъ. Нерѣдко смышливъ такое самосознаніе, обращенное къ дѣятельности мышленія, или тотъ способъ, какимъ познается нами мыслящая дѣятельность, съ самонаблюдениемъ. Но самонаблюдение, также какъ и виѣшнее наблюдение, даетъ намъ знать лишь обѣ отдѣльныхъ фактахъ, т. е. о различныхъ состояніяхъ, испытываемыхъ нами. Если бы и дѣятельность мышленія также была познаваема нами чрезъ самонаблюдение, то и она представлялась бы намъ не болѣе какъ совокупностю отдѣльныхъ фактовъ или явлений просто данныхъ въ нашемъ сознаніи. Между тѣмъ различные формы и способы мыслящей дѣятельности, коль скоро познаются нами, имѣютъ значеніе для насъ общаго закона, которому мы придаємъ силу равную для всѣхъ мыслящихъ существъ, и потому познаніе, выработанное при посредствѣ мыслящей дѣятельности, имѣетъ для насъ объективное значеніе. Предположимъ что мышленіе не что иное какъ совокупность такихъ умственныхъ привычекъ и приемовъ, которые выработались постепенно (по теоріи Дарвина) путемъ длиннаго ряда приспособлений нашей нервной организації къ виѣшнимъ отношеніямъ.

вещей. При такомъ взглѣдѣ на мышленіе само собою яв-  
ляется то заключеніе, что всѣ наши познанія и теоріи объ  
устройствѣ вещей имѣютъ для насъ достовѣрность только  
пока остаются въ силѣ нажитыя человѣчествомъ умствен-  
ныя привычки; съ теченіемъ времени привычки эти должны  
измѣниться, а потому должны будутъ возникнуть совершен-  
но иные взгляды, иные теоріи, которыхъ ничего общаго не  
будутъ имѣть съ господствующими нынѣ, ибо люди будутъ  
мыслить иначе, приемы мышленія ихъ будутъ отличные отъ  
нашихъ, слѣдоват. и дѣйствительность будетъ представлять-  
ся имъ въ иномъ видѣ. Съ другой стороны, слѣдя озна-  
ченному взглѣду на мышленіе, мы должны признать что мы  
вправѣ дѣлать предположенія и заключенія лишь относи-  
тельно того порядка вещей, который послужилъ источникомъ  
существующихъ теперь умственныхъ привычекъ, ибо умъ  
нашъ приспособленъ только къ существующимъ отноше-  
ніямъ вещей, слѣд. о тѣхъ временахъ, когда были иные от-  
ношения, мы не можемъ судить, не можемъ слѣдоват. знать  
и того какъ ли именно, какъ полагаетъ теорія, образовался  
умъ человѣка. Однимъ словомъ--если не признать что на-  
шему мышленію присущи *необходимые и неизмѣнныя законы*,  
которыми управляетъ его дѣятельность, тогда мы должны  
также отвергнуть и всякие другіе законы познаваемой дѣй-  
ствительности; повсюду мы должны видѣть въ такомъ слу-  
чаѣ однѣ лишь случайности и обнаруженія или послѣдствія  
измѣнчивыхъ отношеній; ни въ чёмъ тогда не можетъ быть  
для насъ чего либо необходимаго и неизмѣннаго. Въ этомъ  
смыслаѣ нельзя не согласиться съ Кантомъ въ томъ что раз-  
судокъ нашъ предписываетъ законы природы, т. е. ни въ  
чёмъ и нигдѣ для насъ не существовало бы никакихъ за-  
коновъ, если бы дѣятельность мышленія неуправлялась  
определенными законами, но конечно было ошибкою сдѣ-  
ланное на этомъ основаніи заключеніе, что законы дѣйстви-  
тельности могутъ быть выведены a priori изъ нашего мыш-  
ленія; только познаваемость, но не бытіе законовъ дѣйстви-  
тельности условливается законами мышленія, да и позна-  
ваемость условливается для насъ не однимъ только мышле-  
ніемъ, ибо и само мышленіе можетъ быть дѣятельнымъ и

достигать достовѣрного познанія только при содѣйствіи данныхъ чувственнаго опыта. Даѣе, когда было установлено правильное понятіе объ умозрѣніи и выведены нѣкоторыя основныя умозрительные понятія, необходимо было разграничитъ умозрѣніе отъ опыта (см. статьи: *Опытъ и умозрѣніе*, особенно же: *Дialectika и логика*). При изслѣдованіи этого вопроса оказалось, что хотя и не слѣдуетъ смѣшивать умозрѣніе и опытъ, однако не должно также и раздѣлять, какъ это дѣлаютъ тѣ, которые, подобно г. Чичерину, видятъ въ діалектизѣ, (созданной Гегелемъ) особую умозрительную науку, въ которой умозрѣніе является будто бы вполнѣ свободнымъ и независимымъ отъ опыта, развивающимся изъ себя самаго. Но если не должно раздѣлять умозрѣніе и опытъ, то отсюда возникаетъ даѣе вопросъ объ отношеніи между умозрѣніемъ и опытомъ (статья: *Познаніе и бытіе*). Существуетъ двоякій опытъ: вѣшній и внутренній. Направленіе умозрѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ умозрительное изъясненіе бытія вещей, и прежде всего опредѣленіе отношенія между познаніемъ и бытіемъ,—становится существенно инымъ смотря по тому, что преимущественнымъ опорнымъ пунктомъ для умозрѣнія избирается либо вѣшній опытъ предпочтительно предъ внутреннимъ, либо внутренній преимущественно предъ вѣшнимъ. При этомъ самая эта двойственность опыта остается неизъяснимою, если психическая явленія, о которыхъ мы знаемъ по внутреннему опыту, признать лишь внутреннею стороною тѣлесныхъ процессовъ познаваемыхъ чрезъ вѣшній опытъ. Если умозрѣніе имѣеть связь съ опытомъ, то съ другой стороны оно соприкасается съ высшею областью духовной жизни, съ нравственно-религіознымъ сознаніемъ, и хотя входитъ въ область этого сознанія, какъ существенный элементъ, но оказывается невполнѣ достаточнымъ для изъясненія ея; эта недостаточность умозрѣнія восполняется признаніемъ высшаго авторитета безконечно превосходящаго слабый умъ человѣка и его немощную волю (статьи: *Свобода и необходимость*, *Религія и нравственность*).

## ОПЕЧАТКИ.

Напечатано:

страница, стр.

81 9 св. только

186 7 сн. невозможнымъ

204 16 св. общемъ благъ

207 10 сн. равно

214 5 тартиюфа

Слѣдуетъ:

только

возможнымъ

въ общемъ благъ

такъ равно

Тартиюфа

